ЧЕЛОВЕК ПРЕСТУПНЫЙ
КЛАССИКА КРИМИНАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
ГАБРИЭЛЬ ТАРД
ПРЕСТУПНИК И ТОЛПА

ГАБРИЭЛЬ ТАРД

ПРЕСТУПНИК И ТОЛПА

Москва
алгоритм
2016

УДК 159.9
ББК 88.4
Т19

Тард, Габриэль.

Т19 Преступник и толпа : [перевод с французского] / Габриэль Тард. — Москва : Алгоритм, 2016. — 432 с. — (Человек преступный. Классика криминальной психологии).

ISBN 978-5-906880-43-7

Криминологические труды выдающегося французского психолога и социолога Габриэля Тарда (1843—1904) во многом определили развитие юридической психологии в XX веке.

В сборник включены самые известные работы ученого: «Преступник и преступление», «Сравнительная преступность», «Преступная толпа».

Как устроен мозг злодея? Как влияет на его поведение окружающая действительность? Как люди реагируют на происходящее на их глазах злодеяние? На какие преступления никогда не пойдет один человек, но с легкостью согласится толпа? Тард дает исчерпывающие ответы на эти вопросы.

УДК 159.9
ББК 88.4

ISBN 978-5-906880-43-7

ПРЕСТУПНИК И ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Предисловие к русскому переводу

В одной из своих речей, произнесенной на местном торжестве в небольшом провинциальном городе Сарлат, в котором Тард провел значительную часть своей жизни, он говорил о свободе. Заметив, что есть люди, которые полагают свободу в силе и считают порабощением умаление престижа власти или военное поражение, и что для таких людей существует выбор только между тиранией и рабством, Тард закончил свою речь следующими фразами: «Я вам дам верное определение свободы... Видите ли вы из-за окутавшей вас тьмы, там, вдали, в тумане прошлого, этот тусклый светоч, этот мерцающий огонек, эту маленькую восходящую звезду? Когда-то она уже светила земле. Придет время — она загорится с новой силой, когда мир устанет в погоне за счастьем на всех путях, кроме пути сердца, истомится в поисках социального мира посреди ожесточенной борьбы эгоизма и разнузданности интересов и потеряет веру в нечестивый парадокс, будто без любви можно достигнуть мира, счастья, равенства и свободы!.. Не считайте иллюзией и не принимайте за падающий метеор эту звездочку, эту маленькую небесную лампаду. Не гасите ее, вы — пастухи, рабочие, все обездоленные сего мира! Поверьте мне, свобода — это братство, свобода — это любовь!». Вот слова, которые, быть может, было бы достаточно привести вместо предисловия для того, чтобы дать читателям представление о духовном облике автора, часть сочинения которого предлагается их вниманию. В них, в этих словах, сказался весь Тард: как человек, обладавший большой нравственной чуткостью, подкупающей добротой и необыкновенно привлекатель-

ной душевной мягкостью; как поэт, умевший писать только красиво, переплетая свое изложение то лирическими отступлениями, то смелыми, но всегда удачными и художественными образами, и как оригинальный истолкователь той общественной философии, в основе которой лежит оптимистическая вера, что основной социальный закон есть «ассоциация для жизни», а не борьба за жизнь, и что солидарность, а не социальные противоречия, составляет залог прогресса человечества. Тонко чувствующим, гуманным человеком, социологом-оптимистом, поэтом, умеющим каждой мысли придать картинную форму, Тард остается и тогда, когда разрабатывает вопросы, составляющие предмет науки уголовного права.

Среди криминалистов-социологов Тарду принадлежит такое же крупное место, как Ломброзо среди криминалистов-антропологов.

В то время как Ломброзо, который признает Тарда за самого остроумного и самого блестящего критика своих теорий, создал взгляд на преступника как на роковое порождение природы и на этом взгляде построил свое учение о прирожденном типе преступника, Тард видит в преступнике прежде всего профессиональный тип, который находит себе объяснение главным образом в общих законах подражания и приспособления. Человек не рождается преступником, а делается им, сначала поддаваясь заразительной силе примера и затем приспособляясь к тому новому положению, которое создается для него фактом совершенного преступления.

Если Ломброзо обрекает криминалиста на почти безнадежную борьбу с органическими силами природы, то, напротив, у Тарда читатель найдет глубоко оптимистическое убеждение, что цивилизация как «цельная совокупность веры и знания, всех форм труда и власти, всех различных видов инициативы» представляет собой могущественную коалицию против армии преступников.

Обаятельная нравственная личность Тарда выступает в характере тех аргументов, которыми он нередко подкре-

пляет свои уголовно-правовые теории; эти аргументы — голос сердца, моральное чувство. По взгляду Тарда, необходимым условием ответственности нарушителя закона является его социальное сходство с окружающей средой, потому что нравственный императив требует для применения наказания установления солидарности в желаниях и убеждениях между преступником и тем обществом, на законы которого он посягнул. Человек, по своеобразному воззрению Тарда, только тогда вполне виновен, когда в глубине души, в силу тех понятий о добре и зле, которые воспитала в нем окружающая среда, он сам осуждает содеянное им. Тард энергично восстает против утилитарных учений о целях наказания. Он думает, что видеть в наказании только процесс элиминации преступника или восстановление нарушенного правопорядка — это значит хотеть, чтобы отношение криминалистов и вместе с ними всего общества к совершенному преступлению имело чисто интеллектуальный характер и было лишено всякой эмоции. По его мнению, криминалисты утилитарного направления забывают, что разум сам по себе инертен, и что только чувство представляет собой двигательную силу человеческой мысли и человеческого общества. Он осуждает смертную казнь, потому что «сердце протестует и восстает против нее». Самым сильным доводом против смертной казни Тард считает не соображение ее бесполезности для общества, а то моральное и эстетическое отвращение, которое она вызывает. «Я долго, — признается Тард, — пытался преодолеть в себе чувство ужаса перед смертной казнью и не мог».

«Преступник» и «Преступление» — две главы из знаменитой книги Тарда «La philosophie pénale». Как и все, что вышло из-под пера Тарда, она написана изящным стилем, богата смелыми образами и переполнена примерами из самых различных областей знания. Словом, ее изложение отличается теми же чертами, которые свойственны всем трудам Тарда, и которые настолько выделяют их из произведений других криминалистов и социологов, что

имя их автора нетрудно узнать, не справляясь с подписью. В этом отношении Тард похож на своего славившегося энциклопедическими познаниями предка — каноника Жана Тарда, который однажды, будучи принят вместе с другими духовными лицами римским папой, так удивил последнего своими ответами, что тот, не зная его, воскликнул: «Tu es Tardus aut Diabolus!» («Ты — Тард или сатана!»).

Н. Полянский

ПРЕСТУПНИК

Часть I

1. Что такое преступник?

Что такое преступник? После смерти великого Ламы тибетские жрецы принимаются за поиски новорожденного, в которого переселилась бессмертная душа Ламы. Они узнают его по некоторым чертам, по верному антропологическому признаку, который, как они уверяют, никогда их не обманывает. Так же поступали и египетские жрецы, чтобы отличить быка Аписа среди всех быков Нильской долины. Для них существовал, как и теперь еще существует для тибетского народа и духовенства, божественный тип.

Таким же образом, на взгляд Ломброзо, существует преступный тип, позволяющий распознать прирожденного преступника. Такова была, по крайней мере, первая мысль Ломброзо, но мы знаем, что, развиваясь, она должна была усложниться, чтобы примениться к противоречащим ей фактам. Что же от нее теперь осталось? По-видимому, немногое, но нечто существенное; мы увидим это ниже. Если бы даже эта мысль послужила лишь для выяснения с большей определенностью, чего нет в преступнике, и не дала никаких указаний на то, что же именно он представляет, то и в этом случае она не была бы бесполезна. Но она сделала больше; она собрала любопытные наблюдения, позднее, без сомнения, принесшие пользу; неизгладимыми штрихами она обрисовала психологию преступного типа и подготовила путь к его социологическому объяснению.

Прежде всего благодаря частичной удаче своей попытки школа Ломброзо окончательно доказала нам, что пре-

ступника, как естественной разновидности человеческого рода, не существует; иными словами, он не соответствует никакой естественной идее в платоновском или научном смысле слова. Китаец, негр, монгол отвечают реальным схемам этого рода: соедините по способу Гальтона 10 или 12 фотографий китайцев и вы получите родовой портрет, где за стушевавшимися особенностями отдельных физиономий проявляются только их общие черты, с удивительной рельефностью, так сказать, в живой абстракции, в индивидуальном воплощении идеального типа, от которого отдельные субъекты в большей или меньшей степени уклоняются. Этот портрет-тип имеет одну особенность: он улучшает то, что комбинирует, и объясняет то, что резюмирует. Проделайте то же самое с 20, 30 другими китайцами — новый синтетический портрет будет походить на предыдущий еще больше, чем собранные фотографии походят одна на другую.

Попробуйте теперь фотографически «интегрировать» тем же способом несколько сотен фотографий преступников, наполняющих альбом, приложенный к французскому переводу «Преступный человек». Это, разумеется, возможно; способ Гальтона всегда должен дать известный результат на том же основании, на каком повторяющееся созерцание внешних предметов и скопление воспоминаний всегда должны приводить человеческий разум к общим идеям. Только между искусственным и насильственным соединением разнородных портретов, которое мы можем произвести в последнем случае, и взаимным слиянием портретов однородных, которое мы производили раньше, существует такое же различие, как между обобщением чисто словесным и обобщением, построенным на природе вещей. Мы заметили бы то же самое, оперируя над различными группами этого альбома отдельно; сколько групп, столько и результатов, которые глубоко различались бы между собой и отдельными портретами, насильственно собранными и искусственно скомбинированными в них. Можно ли, по крайней мере, надеяться, что,

фотографируя отдельно группы преступников, принадлежащих к одной и той же категории, — ворующих при помощи подобранных ключей (caroubleurs), опустошающих чужие квартиры (cambrio-leurs), убийц (escarpes), мошенников, насильников — мы будем иметь больший успех? Отнюдь нет. Всякая нация, всякая раса имеет своих мошенников, своих воров, своих убийц с характеризующими ее антропологическими чертами. Известные социальные условия, через посредство некоторых мозговых особенностей, слишком глубоко скрытых, чтобы проявиться анатомически извне, создают преступников всякого рода с одним и тем же физическим типом. Существуют не типы, а один только преступный тип в ломброзовском смысле слова; и Марро (Marro), когда он пробует заместить здесь единственное число множественным, обнаруживает не меньшую склонность к гаданиям и не более основателен, чем его учитель. Одно из двух: или преступник физически, если не психологически, нормален, и в этом случае он обладает типом своей страны, или он ненормален, но тогда у него вовсе нет типа, и он характеризуется преимущественно отсутствием типичности. Но говорить, что преступник — аномалия, и что он в то же время соответствует естественному типу, — это значит противоречить самому себе. Есть и другое скрытое противоречие в этом взгляде: он считает общественную жизнь до такой степени присущей человеку, что антисоциальным может быть лишь субъект, утративший человеческий образ, и вместе с тем допускает, что природа тратит часть своего материала на создание существа, столь ей противного.

По Топинарду (Topinard), преступник, если только он не больной, является индивидуумом совершенно нормальным, по крайней мере в физическом отношении. Он находит, что коллекция портретов, собранных Ломброзо, напоминает ему фотографические альбомы его друзей. «За исключением грязи, неряшливости, усталости, — говорит он, — и зачастую отпечатка лишений на лице, голова мошенника в общем походит на голову честного чело-

века». Я не пойду так далеко. Видок (Vidocq) тоже совсем не придерживался этого взгляда, как и большая часть ловких полицейских сыщиков. Правда, Максим де Камп передает отчасти те же свои впечатления. «Когда видишь этих людей вблизи, — говорит он о преступниках, — разговариваешь с ними и знаешь их прошлое, то поражаешься, видя, как их лица похожи на лица других людей». Но через несколько страниц дальше, по поводу одного разбойника самого худшего сорта, грабившего по большим дорогам, он пишет: «Я имел случай его видеть; он очень высок, и его сила, должно быть, была колоссальна; его могучая нижняя челюсть, широкий рот, почти без губ, покатый лоб и чрезвычайно подвижные глаза придают ему сходство с огромным шимпанзе, сходство, которое усиливается еще более несоразмерной длиной его рук». Ломброзо не мог бы выразиться лучше. Это одна из тех встреч, далеко, впрочем, не редких, которые дают, по-видимому, некоторую опору для атавистического объяснения преступника. Их, однако, далеко не достаточно для ее прочного обоснования. Ведь тот же обезьянообразный тип, так скомпрометированный в данном случае, служил иногда оболочкой для замечательных личностей высокой нравственности. Роберт Брюс (Bruce), освободитель Шотландии[1], обладал, как известно, черепом неандертальского человека, наиболее близкого к обезьянам из людей доисторического периода[2].

Преступление может быть чудовищностью с социальной, но не с индивидуальной, органической точки зрения,

---

[1] De Quatrefages в «Hommes fossiles Hommes sauvages» приводит много других фактов в том же роде.

[2] В полной глубокого содержания книге (Les criminels. Doin, 1889) доктор Корр (Corre), как мне кажется, благоразумно избежал двух противоположных крайностей, только что указанных мной. С одной стороны, полемизируя с преувеличениями итальянской школы, он вместе с французской школой признает перевес социальных причин преступления; но, с другой стороны, он умеет отдавать должное предполагаемому преступному типу, разумея под этим выражением профессиональный тип преступника. В общем он присоединяется к точке зрения Лакассаня (Lacassagne).

потому что оно есть полный триумф эгоизма, освобождение организма от узды, налагаемой на него обществом. Настоящий прирожденный преступник мог бы быть только великолепным животным, видным образчиком своей расы. Разве тираны и артисты эпохи Возрождения в Италии, столь же склонные совершать убийства, как и славные деяния и величайшие произведения искусства, были чудовищами? Они, наверное, не были чудовищами в физическом смысле и едва ли были ими в смысле социальном. Если социальный характер этой исторической фазы заключался, как доказывает Буркгардт (Burckardt), в расцвете индивидуализма, то для нее неизбежно было стать богатой проявлениями преступности. Борджиа вовсе не были исключениями для своей эпохи. Та же бессовестность и отсутствие нравственного чувства характеризовали всех итальянских принцев XIV и XV столетий, родившихся от преступления, живущих преступлением и умиравших, как только они переставали быть преступниками. Преступление скрывали они под маской наказания, они убивали из мести, ради устрашения. Преступление, кроме того, было для них правительственной необходимостью, как правительство для их народа было необходимым условием порядка и существования.

В этом великолепном праздничном расцвете искусств преступление имело свое место, и притом почетное. Искусство и преступление были связаны одно с другим, как жемчуг, вделанный в кинжал.

Вот что и должно было убить в самом расцвете эту прекрасную эстетическую цивилизацию. Потому что цивилизация, прославляющая преступника, не более жизнеспособна, чем та, которая бросает в ряды преступников честнейших людей, — зрелище, столь частое во времена революции. Преступник — это человек, которого общество, если оно жизнеспособно и правильно организовано, вынуждено бывает удалять из своей среды. Преступник, правду говоря, — продукт столько же социальный, сколько и естественный; он, если мне позволят так выразиться,

социальный экскремент. И вот почему в высшей степени интересно изучить ближе, по отношению к каждой эпохе и стране, какого рода люди отправляются на каторгу и в тюрьмы, работают на галерах и подымаются на эшафот. Когда состав этого разряда людей начинает изменяться, то это всегда бывает очень важным симптомом. Если общество отбрасывает превосходные элементы, которых оно не умеет использовать, — протестанты при Людовике XIV, «аристократы» в эпоху террора — оно страдает опасной болезнью, подобно диабетику, и по аналогичным, в сущности, причинам. В каком обществе нельзя найти в различной степени этого ослабевания? В идеале, общество должно было бы выбрасывать из своей среды лишь отъявленных негодяев, индивидуумов, абсолютно не поддающихся ни ассимиляции, ни дисциплине. Нужно отдать справедливость нашей современной Европе в том, что она делает крупные шаги к этой цели; население ее тюрем составляют действительно все более и более отвратительные отбросы ее сел и городов. Но до совершенства еще далеко. Если бы даже существовал преступный тип, то он, будучи подвержен изменениям и метаморфозам в зависимости от эпохи и места, был бы далеко не тождественным самому себе. Несколько черепов, несколько мозгов убийц, взвешенных и измеренных в течение нашей эпохи, — все это прекрасно; но подвергали ли тому же антропологическому исследованию тысячи воров, которых вешали ежегодно на английских виселицах еще только полвека тому назад; казненных на площади Montfaucon трупы, качавшиеся по ветру против ворот феодальных замков, на всех вершинах, перед входами во все средневековые города; 20 000 еретиков и колдунов, сожженных в течение восьми лет Торквемадой; римлян, приговоренных к растерзанию зверями или к играм в цирке; египтян, приговоренных к работам в рудниках или пирамидах? Все эти бесчеловечные пираты, разорявшие все на пространстве Средиземного моря до конца последнего столетия; все эти пройдохи, приводившие в отчаяние Францию во время и после

Столетней войны, — кто сообщит нам о форме их черепов и об их мозговых и телесных аномалиях, если эти аномалии были? Кто проверит на них несомненность существующих или предполагаемых типов, присущих, говорят нам, злодеям всякой расы и всякой эпохи?

2. «Естественные» и прирожденные преступники

Только что сделанное мною замечание содержит в себе признание, что действительно существует известное количество преступников, в преступности которых нет ничего условного.

Следует ли подразумевать под настоящими преступниками тех, которые были бы таковыми во всяком обществе, какое мы можем себе представить? Нет, таких, наверное, не существует. В таком случае не следует ли подразумевать здесь таких, которые остались бы преступниками во всяком прочно устроенном обществе? Может быть. Но объяснимся яснее. Я соглашаюсь, что существуют формы преступности, несовместимые с устоями жизни какого-нибудь народа, таковы убийство и воровство, совершенные без считающихся законными оснований, в ущерб общественному или считающемуся таковым благу. Но я положительно отрицаю, что существуют люди, которые во всяких социальных условиях какой бы то ни было нации и в какую бы то ни было эпоху были бы убийцами или ворами. Будем считать, если угодно, преступлениями абсолютными или, по выражению Гарофало, естественными только убийство и воровство, оставив в стороне не только преступления против нравственности, адюльтер и даже насилие, допускавшиеся у первобытных народов, но и аборт и детоубийство, которые некоторые нации причисляли к разряду похвальных поступков. Следует ли из этого, что все наши убийцы и неисправимые воры отмечены печатью абсолютной преступности, и что только они одни ею отмечены? Ничуть. Ни то, ни другое из этих двух положений нам не кажется верным. С одной сто-

роны, многие из наших негодяев и мошенников никогда не убили бы и не украли, если бы они родились богатыми, если бы не выпал им на долю печальный жребий родиться и воспитаться в грязном предместье и подвергаться там влиянию развращенных товарищей. И здесь вовсе не требуется строить какие-нибудь иллюзии насчет жестокости преступления. Когда представляешь себе какого-нибудь Пранцини, задушившего женщину, с которой он только что провел ночь, затем служанку и ее ребенка, то кажется, что имеешь дело с существом, по преимуществу склонным к разрушению, рожденным для убийства, как Моцарт для музыки. Но многочисленные казаки и пруссаки, в 1814 году насиловавшие женщин и затем резавшие их перед их связанными мужьями, были честными гражданами в своих деревнях, где они никогда не совершали ни малейшего проступка, и не один из них заслужил на войне медаль за отличие[1].

Возможно, что в известных социальных условиях даже Пранцини мог бы стать полезным или, по крайней мере, не совершил бы ни воровства, ни убийства, хотя его развращенная натура, несомненно, толкала бы его на другого рода преступления, но на преступления все же относительные, каковы адюльтер и насилие. С другой стороны, как следует из этого последнего предположения, можно допустить, что среди индивидуумов, преследуемых нашими судами даже за самые относительные преступления, за браконьерство или за контрабанду, есть действительно очень опасные люди, иногда более опасные, чем многие разбойники Сицилии и Корсики.

Отсюда следует, что «естественное преступление» и прирожденная преступность — две вещи разные, и что первое не может служить объяснением для второй. Если

---

[1] Я совсем не хочу ставить их на одну доску с Пранцини. Огромная разница заключается в том, что Пранцини действовал один, а они взаимно заражали друг друга примером. Следующая глава покажет, насколько глубоко это различие.

существуют — как мы думаем, не будучи в состоянии этого доказать, — натуры от природы антисоциальные, то есть основания предполагать, что их прирожденная преступность в другие времена, в другой среде и при других условиях их жизни могла проявиться в формах, очень резко отличающих ее от тех, в которых она проявилась перед нашими глазами. Таков диффаматор наших дней, который в Средние века был бы богохульником, таков расстрелянный за мятеж и казнь заложников при коммуне, который был бы сожжен как еретик во времена инквизиции. И в то же время есть ли преступление более относительное, более условное, чем богохульство и ересь? В них столько же преступного, сколько болезненности и невроза, этих патологических протеев, видоизменения которых бесконечны.

Существует лишь очень немного людей, которые всегда и везде совершали бы преступления, естественные или нет, как лишь очень немногие никогда и нигде не поддались бы искушению согрешить. Огромное большинство состоит из лиц, остающихся честными по милости судьбы, или из таких, кого толкнуло на преступление несчастное стечение обстоятельств. Не менее справедливо и то, что преступность свойственна одним совершенно так же, как честность другим, потому что и та, и другая вытекают из природы человека, которая обусловливает или не обусловливает преступление, смотря по тому, при каких условиях она развивается и проявляется вовне, постепенно выясняясь для самого индивидуума и для окружающих его.

Теперь, когда место расчищено, спросим себя снова, существуют ли внешние признаки, позволяющие распознать и определить абсолютную преступность? Я отвечаю, что не открыто еще ни одного сколько-нибудь определенного признака, как не удалось еще открыть внешних признаков непоколебимой честности. Если первая узнается по тяжелой нижней челюсти, покатому лбу, редкой бороде, способности владеть обеими руками одинаково, длине руки, пониженной чувствительности, то вторая долж-

на бы выразиться в небольшом объеме челюстей, прямом лбе, густой бороде, в заметном и определенном превосходстве развития правой стороны над левой, в коротких руках, повышенной чувствительности при осязании... Так ли это? Пытался ли кто это проверить?

Я не хочу отрицать этим возможной связи наклонностей характера с известными анатомическими или, скорее, гистологическими особенностями мозга и всего «нервного ствола», ни даже более сомнительной связи этих особенностей с взаимоотношением костей и мускулов, которую возможно было бы точно определить. Но я a priori оспариваю, что наклонности характера, которые ведут к преступлению и даже необходимо должны к нему привести, могли бы быть связаны с одним и тем же анатомическим признаком. Потому что преступление есть результат скрещивания внутренних путей, идущих от самых противоположных точек; глубокая антисоциальность, отличающая прирожденного преступника, происходит часто от безмерной гордости, которая делает его жестоко мстительным, как на Корсике, Сицилии, Испании и среди большей части благородных первобытных рас, частью от неизлечимой лени, которая, в связи с самыми разнообразными пороками: распутством, честолюбием, страстью к игре, — толкает на убийство из корысти деклассированных или дегенератов одряхлевших рас. Здесь должно быть не незначительное, но, наоборот, очень большое количество телесных признаков, часто совершенно противоположных один другому, которые для проницательного взгляда обнаружили бы наличность преступных наклонностей. Опыт подтверждает это рассуждение. Сколько антропологов, столько и различных преступных типов. Марро не соглашается с Ломброзо, Ломброзо — сам с собой.

Например, «объем черепа по Бордье (Bordier), Гегеру (Heger) и Даллеманю (Dallemagne) выше нормы у убийц, оказался наоборот ниже нормы по Ферри и Бенедикту», он был равным нормальному по Мануврие, а по мнению Топинарда, случайно совпадающему в этом случае с мне-

нием Ломброзо, он был одновременно и ниже, и выше нормы. «У преступников, — говорит он, — нет других отличий в черепе от нормальных людей (после поверки многих ошибочных измерений и сравнений), кроме известного количества черепов чрезмерной величины (что могло бы быть объяснено гипертрофией мозга, этим источником безумия, преступности или гениальности), а также некоторого количества черепов, слишком небольших по объему».

«Вследствие этого, — прибавляет он, — существуют, по крайней мере, два преступных типа с этой точки зрения, но никак не один».

В общем, мозговая локализация преступных наклонностей предполагается теперь там, где несколько ранее Брока предполагал мозговую локализацию всех умственных способностей. Анатомы хорошо выяснили связь тех или других недочетов мозга с известными болезнями, и число таких наблюдений все возрастало, не внося сюда никакого определенного освещения до тех пор, пока Брока не открыл совершенно ясную и точную связь между изменениями третьей лобной левой извилины и недостатками произношения. С тех пор все исследователи подтверждали эту связь; с того же времени краеугольный камень изучения мозга был заложен, и этот частичный, но блестящий успех вдохновил всякие надежды. Если бы открытие, которое один ученый счел сделанным относительно известного деления на четыре части лобной доли (оно стало бы служить мозговым признаком убийцы), было действительно сделано, то криминальная антропология нашла бы своего Брока. Но несчастье в том, что это была чистейшая иллюзия. Тем не менее, верно, что даже до Брока достаточно было быть в курсе науки, чтобы удостоверить мозговую локализацию умственных способностей, не будучи в состоянии ее точно указать. Прибавим, что успехи или неудачи поисков зависят от руководящей ими идеи. Если бы наш знаменитый антрополог вместо того, чтобы искать местонахождение способности речи, то есть просто-

го повседневного явления, тесно связанного с умственной жизнью человека и долженствующего поэтому иметь свое заметное место в мозгу, стал бы искать источник наглости, богохульства и всякого другого столь же случайного, сколь и сложного акта, произошедшего вследствие чрезмерного или недостаточного развития известных примитивных, скомбинированных вместе способностей, то, возможно, что он так и умер бы, ничего не отыскав. Это значит, что, несомненно, тщетно желание локализировать в мозгу преступление — деяние или способность очень сложную, в то время как гордость, эгоизм, симпатия, справедливость, жажда мщения и проч. — наклонности относительно простые, изобилие или атрофия которых объясняет склонность к преступлению, не локализированы еще в мозгу. Но оставим психиатров.

Когда они начнут разбираться в области мозга, труд криминалистов значительно подвинется вперед. Все, что можно сказать пока определенного, это то, что в общем черепа и мозги преступников дают пропорцию аномалий и асимметрий, значительно превосходящую среднюю, и, как говорит доктор Корр, «указывают на преобладание затылочной деятельности, в возможном соотношении с импульсивной чувствительностью над деятельностью лобной, признанной теперь вполне интеллектуальной и уравновешивающей». Мало рефлексии и много активности — к этому сводится природа преступников, по мнению Бордье.

По отношению к росту и к весу согласия между антропологами не больше, чем по отношению к черепу. Ломброзо нашел преступников в среднем более тяжелыми и крупными, чем честных людей; Thompson, Virgilio и Lacassagne констатировали как раз обратное.

Ломброзо нашел, что длина обеих рук, распростертых в обе стороны, как при распятии, и измеренных от одной кисти до другой, чаще преобладает над ростом у преступников, чем у обыкновенных людей. Топинард оспаривает этот факт. Когда авторы берут те же данные, они расхо-

дятся в толковании их. Где один видит симптом безумия, другой замечает проявление атавизма; некоторые, среди которых я могу назвать Мануврие, Гопинарда, Ферри, отвергают и то, и другое объяснение, и я признаюсь, что присоединяюсь к мнению этих последних.

3. Всякий ли совершающий преступление сумасшедший?

Прежде чем идти дальше, остановимся ненадолго на критике обеих гипотез, о которых идет речь. Есть сумасшедшие, совершающие преступления. Но всякий ли совершающий преступление сумасшедший? Нет. В предыдущей главе мы это уже мельком, как нам кажется, доказали. Если есть между ними аналогии, даже анатомические, то последних далеко не достаточно, чтобы позволительно было их смешивать. Например, из измерений, сделанных над 132 черепами убийц Гегером и Даллеманом, следует как будто бы, что у этих злодеев затылочная часть мозга заметно более развита, чем у честных людей, и я был очень изумлен, увидав, что Rodriges de la Torre[1], предприняв подобные же измерения над 532 сумасшедшими в его лечебнице, констатировал чрезвычайное развитие их заднебоковых долей. Но в этом соотношении между преступлением и безумием нет ничего, что могло бы нас поразить, потому что и то, и другое представляет собой упадок человеческого типа; в нем нет тем более ничего такого, что должно было бы нас остановить.

Войдите в дом сумасшедших, что вы увидите?.. Возбужденных и меланхоликов, каждый из которых преследует свою мечту, праздных и не способных ни к какому труду, чуждых друг другу. Посетите тюрьму — вы увидите, что заключенные работают, гуляют группами, шепчутся

---

[1] El craneo i locura (Череп и безумие). Буэнос-Айрес, 1888. Другая черта, кажется, гораздо более заметная у сумасшедших, нежели у преступников, если судить по атласу этого автора, это — асимметрия. Все 550 черепов, которые он начертил, асимметричны.

между собой, признают авторитет какого-нибудь из товарищей — словом, здесь есть признаки человеческой массы, где начинает ферментироваться зерно общественности. Среди арестантов, говорит Достоевский, перебирая воспоминания своего заключения в Сибири, наиболее интеллигентные, наиболее энергичные имели нравственное влияние на своих товарищей. Заговоры затеваются и восстания вспыхивают в тюрьмах, но никогда не в убежищах для умалишенных. Сумасшедший непоследователен, преступник логичен.

Газин, один из товарищей Достоевского по несчастью, был, кажется, чем-то вроде Тропмана. «Он любил прежде резать маленьких детей единственно из удовольствия; заведет ребенка куда-нибудь в удобное место, сначала напугает его, измучит и, уже вполне насладившись ужасом и трепетом бедной маленькой жертвы, зарежет ее тихо, медленно, с наслаждением».

Вот, скажут на это, характерный случай помешательства. Но Достоевский, наблюдатель и психолог величайшей проницательности, говорит, что никогда не замечал ничего ненормального в Газине, кроме тех случаев, когда он находился в состоянии опьянения. «В остроге он вел себя, не пьяный, в обыкновенное время, очень благоразумно. Был всегда тих, ни с кем никогда не ссорился, говорил очень мало... По глазам его было видно, что он неглуп и чрезвычайно хитер; но что-то высокомерно-насмешливое было всегда в лице его и в улыбке». Орлов, другой важный преступник, «был злодей, резавший хладнокровно стариков и детей; человек со страшной силой воли и с гордым сознанием своей силы. Этот человек мог повелевать собой безгранично, презирал всякие муки и наказания и не боялся ничего на свете. В нем мы видим одну бесконечную энергию, жажду деятельности, жажду мщения, жажду достичь предполагаемой цели».

Другими словами, Орлов воплощал в себе полную противоположность сумасшествия и вырождения, высочайшую степень устойчивого и оригинального тождества.

«После 18-летнего пребывания в тюрьмах и изучения преступников, — говорит Bruce Thomson, — я нахожу, что девять десятых среди них стоят ниже среднего уровня в отношении умственного развития, но что все они крайне хитры». Вот замечание, для которого посещения сумасшедших никогда не давали повода. Другое замечание того же автора: он заявляет, что никогда не знал ни одного преступника (что, впрочем, несколько преувеличено), одаренного хотя бы малейшим эстетическим талантом, способного набросать какой-нибудь эскиз, написать стихотворение или сделать искусно какую-нибудь вещь. Отличаются ли тем же сумасшедшие? Нет. «Известно, — говорит Maudsley, — что они зачастую обнаруживают замечательно тонкое чувство прекрасного, и что они обладают совершенно исключительными артистическими талантами и способностями».

4. Не дикарь ли преступник?

Если преступник не сумасшедший, если он не всегда дегенерат, то не дикарь ли он? Ни в каком случае[1].

Правда, что черепа убийц часто, но не всегда носят отпечаток заметной грубости, в которой извинительно ви-

---

[1] Ломброзо всегда настаивает на утверждении этого положения. В одном письме, адресованном Молешоту (см. Revue scientifique, 9 Juin 1888), он приводит для поддержки своей излюбленной идеи результат, добытый при помощи составных фотографий шести черепов убийц и шести черепов грабителей с больших дорог.

«Эти две фотографии, — говорит он, — замечательно сходны между собой и показывают с очевидным подчеркиваньем черты преступного человека и отчасти дикаря; лобные впадины очень значительны, скуловые и челюстные кости массивны, орбиты очень велики и очень отдалены друг от друга, асимметрия лица, птелеевидный тип носового отверстия». Очень хорошо; но эти черепа, говорят нам затем, были соединены потому, что составляли однородную группу. Нужно заметить, что шесть черепов мошенников и воров дали тип менее ярко выраженный, и что общая фотография, полученная от соединения в одно 19 черепов, представляет аномалии еще более неясные. Что было бы, если бы сфотографировать 100, 200 черепов за раз?

деть иногда возвращение к гипотетической зверообразности наших отдаленных предков. Их особенности, по Мануврие, могут резюмироваться так: «Относительно слабое развитие лобной кости, слабое развитие верха черепа по сравнению с его основанием, чрезмерное развитие нижней челюсти по отношению к развитию черепа». Только в этом пункте и совпадают наблюдения. В 1841 году Lauvergne, ревностный последователь Галля, дал следующее объяснение хладнокровных убийц, редкого, по его словам, вида преступников, встречающегося обыкновенно в горных или глухих местностях. Они являются обладателями предательских выпуклостей и, в общем, на них лежит отпечаток преобладания животных и грубых инстинктов. Их головы велики и сверху сплюснуты. Они замечательны по своим боковым выступам[1], вместе с ними заодно выдаются и широкие, массивные нижние челюсти, огромные жевательные мышцы, образующие выпуклости под кожей и находящиеся в постоянном движении. Но зачем для объяснения такого несложного результата понадобилось впутывать сюда атавизм и придумывать чудесное возрождение какого-то доисторического предка, отделенного от нас неизвестно каким количеством смешавшихся и скрестившихся рас, по очереди берущих верх друг над другом?

Неразвитый лоб, массивные челюсти — это значит просто, говорит Бордье, «мало рефлексии и много активности»; этот грубый тип часто встречается среди самого мирного, но отсталого и погруженного в тяжелые полевые работы населения, и естественно, что убийцы вербуются среди индивидуумов, отмеченных этим клеймом. Свидетельство Бордье тем более драгоценно, что ему первому пришла в голову идея, если верить его другу Топинарду, объяснить преступность атавизмом. «Он сравнил, — говорит последний, — черепа каеннских убийц с черепами

[1] Ломброзо часто отмечал брахицефалию у убийц; но особенность эта спорная и изменяется в зависимости от расы.

из пещеры Мертвого человека, исследованными Брока, и нашел в них сходные черты».

Но что касается меня, то, ознакомившись с этими черепами, я должен признаться, что как по общему виду, так и при ближайшем изучении их трудно найти более несходные черепные кости.

Я хорошо знаю, что сторонники атавизма основывают предыдущие данные и на некоторых других соображениях, выведенных из таких явлений, как асимметрия черепа, более частая у преступников, чем в массе честных людей, бесформенное или оттопыренное ухо, известная форма носа, кое-какие особенности, свойственные каторжникам, каковы: татуировка, особый разговорный язык. «Но асимметрия, — отвечает Топинард, — правило, а не исключение даже для обыкновенных черепов».

Доктор Lannois в поучительной монографии о «человеческом ухе» утверждает, что у 43 исследованных им молодых преступников он констатировал не большее количество аномалий этого органа, «чем можно было бы найти их у такого же количества людей безупречной нравственности». И сам Марро соглашается, что оттопыренное ухо чаще встречается у турок, греков и мальтийцев, чем у варваров и суданских негров.

Нужно прибавить, что, добросовестно сравнивая между собой 529 преступников и сотню честных людей, Марро не был особенно удивлен, когда констатировал, что у этих последних аномалии атавистического или предполагаемого таковым происхождения, по крайней мере, настолько же часты, а иногда и чаще, чем у первых. Для покатого лба, признак, которому Ломброзо придает столько значения, «найденная пропорция составляла 4% у честных людей, 3,1% у преступников; для уха с Дарвиновским бугорком (выпуклость, служившая кончиком первобытного уха у животных) пропорция у первых составляла 7%, у вторых около 1%». Для лобных впадин пропорция у преступников выше, но очень немного; разница от 18 до 23; но для torus occipitalis нормальные вновь получают их ориги-

нальное преимущество, которое выражается в отношении 9 к 4,7; то есть больше вдвое или около того.

Правда, что, по тому же автору, способность владеть обеими руками одинаково или владеть хорошо только левой (левши) — признаки, скорее, впрочем, атипические, чем атавистические — вдвое чаще встречаются у преступников, чем у «нормальных». Но эта разница может зависеть в большинстве случаев, по крайней мере, от разницы в воспитании. Гораздо чаще, чем вторые, первые были покинуты, предоставлены в детском возрасте самим себе и своим дурным привычкам. А известно, насколько бдительность внимательных родителей исправляет у детей природную склонность пользоваться левой рукой.

Носы преступников, по сравнению с носами честных людей и сумасшедших, были, правда, предметом специального и тщательного изучения в лаборатории Ломброзо. Отсюда вышла любопытная монография одного из его учеников, из содержания которой как будто вытекает, что многие анатомические аномалии (заметные лишь на скелетах) носового отверстия гораздо чаще встречаются у преступников, чем у честных людей той же страны и расы.

Следовательно, эти аномалии носили животный характер, по мнению автора, который, впрочем, в этом пункте, мне кажется, расходится с Топинардом. Но если допустить объяснение этого атавизмом, то следует, и в этом заключается немалое затруднение, отнести происхождение аномалий, о которых идет речь, гораздо выше, чем к низшим человеческим расам, выше даже, чем к обезьянам, и, как это настойчиво делает наш ученый, признать несправедливым мнение доктора Альбрехта, поставившего в своем забавном докладе на Римском конгрессе человека ниже обезьянообразных, в разряд насекомоядных. Прибавим еще, что если мертвый, отрубленный нос злодея ставит его так низко на лестнице животных, то его живой и целый нос ставит его в некоторых отношениях во главе человеческих рас: гораздо чаще, чем честные люди, по Ог-

голенги, преступники обладают прямыми и длинными носами, что является выгодным признаком. Эти результаты слишком трудно согласовать, чтобы найти их достойными внимания. Что же касается наречия преступников, то оно ни в чем не напоминает того немногого, что мы знаем о первобытных наречиях. Последние, по Тейлору, по преимуществу характеризуются обилием звукоподражательных слов и частым удваиванием при построении слова одних и тех же слогов — свойство совсем детское.

Слова papa, bébé, nono, nounou — обычные в устах наших детей и редкие в устах культурных людей, изобилуют в речи океанийцев и американских туземцев. Хотя некоторые воровские термины (ty-ty-typographie, bibi-bicètre, coco-ami, etc.; fric-frac — освобождение из тюрьмы, выражающееся щелканьем замка etc.) подходят как будто к этому типу удвоения; но эти люди, свыкшиеся с преступлением, лишь ради насмешки, из потребности все уничижать и позорить говорят таким образом по примеру детей, но вовсе не по примеру краснокожих или неокаледонийцев.

Впрочем, каламбуры, скверные шутки, грязные уподобления, унижающие человека до животного (cuir-peau, aileron-bras, bec-bouche), составляют основу их словаря вместе с массой слов, заимствованных из иностранных языков, из цыганского calo, арабского, итальянского, — признак, обнаруживающий наличность космополитизма без отечества. Но язык первобытных людей строг в своей детской простоте, поэтичен в своей живописности; у него свой собственный словарь, патриотический и оригинальный, и, кроме того, своя собственная грамматика. Он не меньше отличается от воровского жаргона, этого нароста наших наречий, чем дикая яблоня от ядовитого гриба.

Что же касается татуировки преступников, то я предлагаю сравнить гравюры атласа Ломброзо, где фигурируют несколько образчиков этих непристойных и бестолковых рисунков — забав преступников, рядом с прекрасными гравюрами, представляющими в «Hommes fossiles et Hommes sauvages» Quatrefages татуированных маори.

С одной стороны, странные, но выразительные арабески, которые не маскируют, а оттеняют лицо и имеют целью дополнить его устрашающее действие на женщину и врага; украшение и оружие в одно и то же время, печать религии или племени на лбу дикаря, принадлежащего ему душой и телом и считающего за великую честь к нему принадлежать. У преступника — ничего подобного; чаще всего на предплечье, но никогда па лице, воспроизводятся девизы, циничные символы, женские профили, всевозможные вещи, предназначенные оставаться спрятанными и напоминающие карикатуры в ученической тетрадке школьника. Если бы эта постыдная татуировка была остатком или возвратом к обычаям первобытной дикости, она встречалась бы у преступных женщин чаще, чем у мужчин; потому что, как известно, именно среди женского пола предрассудки, обряды и украшения древних времен — серьги, например, — сохраняются еще долгое время после того, как их уже бросили носить мужчины. Но, наоборот, почти только мужчины-преступники пристрастны к татуировке. Древние жрецы разрубали когда-то на части трупы пленников или животных, предназначенных в жертву богам, чтобы поделить их, согласно требованиям обрядов; точно так же наши современные убийцы, зараженные одной из эпидемий преступления, составляющих далеко не самый ничтожный из аргументов в пользу социального происхождения преступления и преступника, решаются разрезать на куски свои жертвы, чтобы вернее спастись от розысков полиции. Можно ли сказать, что это преступное разрубание на куски ведет свое начало от ритуального разрубания трупов в древности, с которым оно имеет кажущееся сходство? Допускать такое происхождение нет ни большего, ни меньшего основания, чем приводить в связь татуировку преступников с воинственной татуировкой дикарей. Тэн пролил свет на некоторые черты каннибализма, проявившиеся в течение великих дней французской революции. Объясняются ли также атавизмом такие минутные заблуждения как антропофагия, царившая несколько дней

на плоту «Медузы»[1]. Легко может быть, что какой-нибудь увлекшийся дарвинист дойдет и до этого. Fridgerio, один из самых знаменитых приверженцев новой итальянской школы, сообщал на Римском конгрессе о своем наблюдении над «нравственно помешанном, у которого в периодически повторяющемся припадке экзальтации внезапно изменялся характер, он становился спорщиком, надменным, сварливым, и в то же время его неудержимо влекло к лепке из глины массы оригинальных, особенной формы фигур, странность и неправдоподобие которых напоминали символические барельефы или другие бесформенные изваяния эпохи упадка». По мнению Бурнэ (Bournet), там есть формы, «до того напоминающие опыты первых христиан, что можно смешать их». Правда, Фриджерио, кажется, недалек от мысли, что наследственность на далеком расстоянии могла бы сыграть здесь некоторую роль. Если делаются такие предположения, то я вполне понимаю, что можно склониться и к принятию гипотезы Ломброзо по поводу занимающего нас вопроса. Но мне кажется бесконечно более простым и правдоподобным видеть в надписях и плохой живописи, которыми преступники покрывают себе кожу, лишь следствие случайного соприкосновения с первобытным населением, потому что этот обычай наблюдается по преимуществу у преступников-матросов. Во всяком случае, может быть и обратное явление, и многие отсталые народы обязаны удовольствию воспроизводить эти нарезки на своей коже своим сношением с нашими цивилизованными моряками. «Татуировка — редкость у кохинхинских туземцев, — говорит доктор Lorion, — те, кто носит эти рисунки, сделанные посредством впрыскивания всевозможных красок под кожу, жили среди европейцев. Чаще всего это были матросы, ко-

---

[1] «Медуза» — французский военный фрегат, потерпевший крушение у берегов Африки в начале XIX столетия. Спасшиеся люди несколько недель носились по волнам на сколоченном ими плоту, и голод вынудил их употреблять в пищу трупы умерших товарищей (Прим. пер.).

чегары или домашняя прислуга на военных или коммерческих пароходах». Араб, гораздо более цивилизованный, чем кохинхинец, но имеющий больше сношений с европейцами, татуируется чаще, и часто характер воспроизведенного им рисунка ясно показывает, что он копирует наших соотечественников. Но мы слишком долго останавливаемся на этом второстепенном пункте.

Закончим последним соображением: если предположить, что уподобление преступника дикарю могло когда-нибудь иметь хотя бы малейшее основание, то оно каждый день теряет часть своего правдоподобия, по мере того как ряды преступников все меньше и меньше пополняются из отсталого населения деревень и все больше и больше вербуются из развращенной и рафинированной среды больших городов[1].

5. Дегенерация и преступник

Если сумасшествие и атавизм (я не говорю наследственность) не играют роли в склонности к преступлению, то что же такое преступник? Скажем ли мы вместе с Ферри, что он дегенерат? Или с Ломброзо, в его последнем труде, что он эпилептик? Нескольких слов будет достаточно по отношению к первому из этих положений, хотя и наиболее солидному. Второе задержит нас несколько дольше[2].

---

[1] Колаяни в первом томе своей «Sociologia criminale», посвятив первую часть этого тома разрешению теории физического атавизма преступника и других теорий Ломброзо, с величайшей энергией, впрочем, посвящает вторую часть попытке доказать нравственный атавизм преступника. В этом заключается, очевидно, противоречие. Я подверг критике это положение в моем труде о нравственном атавизме (Atavisme moral. Archives d'Anthr. crim., mai, 1889), к которому я позволяю себе отослать читателя.

[2] Доктор Эмиль Лоран служил два года в центральной лечебнице парижских тюрем; он видел и исследовал там более 2000 заключенных, с которыми он находился в непрестанном общении. И в своей книге о завсегдатаях тюрем (Habitues des prisons. Strock, 1890) он утверждает, что антропометрические измерения чаще всего приводили его лишь к

Известно, что существует сходство между аномалиями, известными под названием стигматов вырождения: прогнатизм, косоглазие, асимметрия лица, деформация ушей и т.д., и чертами, по которым создавался предполагаемый преступный тип. Но предрасполагают ли эти стигматы, встречающиеся часто, но не непременно у дегенератов, к дурным поступкам тех, кто ими обладает? Ничуть[1]. Многие из слабоумных с такими симптомами вполне заслуживают названия «невинных» за их обычную безвредность. Наоборот, как признает это и сам Ферри, многие прирожденные преступники «замечательны по правильности своего физического строения», и доктор Magnan на последнем конгрессе криминальной антропологии указал на многих из них, которые могли бы служить великолепными моделями в ателье художников. Если же дегенерация, то есть общая неуравновешенность, вид физического расстройства, часто бывает связана с преступностью, по крайней мере, с преступностью по природной слабости, то причины этого неизвестны; что же касается преступности как следствия избытка энергии и смелости, то

«противоречивым результатам». Он не заметил ничего, что подходило бы к какому-нибудь преступному типу. Но он заметил часто встречающиеся физические недостатки всех видов. Так же как и лечебницы, «тюрьмы изобилуют остроконечными и сплющенными черепами, приплюснутыми носами, вытянутыми челюстями», заиками, косоглазыми, хромоногими и т.д. «Нельзя сказать, что одна и та же деформация встречается неизменно, как мокрота при воспалении легких или альбумин при Брайтовой болезни. Все деформации всех органов могут встретиться у всех преступников — вот истина». Одна аномалия, очень редкая вообще, встречается у них относительно часто: «это преувеличенное и постоянное развитие грудных желез в период возмужалости». Это согласуется с мнением Ломброзо и других исследователей о большем сходстве обоих полов в преступном мире, выражается ли оно в том, что мужчины становятся женоподобными, или в том, что женщины начинают походить с виду на мужчин.

[1] Эти «стигматы», как указал Лакассань, тем не менее не означают «действительного или предполагаемого расстройства умственных способностей».

дегенерация так чужда ей, что является для нее, так сказать, противодействием. В настоящих и безусловных преступниках — Пранцини, Прадо, Лебиз — так мало признаков вырождения, как только это возможно. Можно ли сказать даже, что если к известному данному нравственному характеру, не склонному к преступлению, присоединяется предполагаемая дегенерация, то она склонит его к преступлению? Насколько позволительно рассуждать о недоступной для проверки, но допустимой гипотезе, следовало бы, кажется, ответить отрицательно. Не придавая общей статистике подобных явлений большего значения, чем она заслуживает, я был поражен одной таблицей, составленной Колаяни. Из нее следует, что среди итальянских провинций северные, где встречается максимум болезней и телесных недостатков, характеризующих дегенератов, и особенно дегенератов-алкоголиков, благодаря которым оправдывается самое удачное предположение Ферри, оказываются самыми нравственными; южные же, самые преступные, отличаются великолепным здоровьем населения. Дает ли во всяком случае это сравнение право заключать, что дегенерация служит лучшим условием для развития нравственности? Конечно, нет, и я вовсе не думаю, что такова идея Колаяни. Истина в том, что жестокая и дерзкая преступность малокультурных итальянских провинций исключает вследствие самого своего характера причастность к ней натур нервных и выродившихся, в то время как утонченная, отличающаяся коварством преступность более культурных провинций имеет своими агентами людей со слабой волей. Ферри делает относительно дегенератов замечание, которое не мешает запомнить. «Они легко подчиняются, — говорит он, — влиянию среды; они дают себя увлечь минутным чувствам и страстям и часто делаются слишком уж послушными их орудиями; они так же легко заражаются примером самоубийства, как и примером убийства». Вот где настоящая правда; отсюда следует, что дегенерация, когда она связана с преступлением, приводит к нему не потому, чтобы между

нею и преступлением существовало как бы особого рода сродство или притяжение, но благодаря недостатку сопротивления преступному импульсу, приходящему извне.

6. Эпилепсия и преступник

Вопрос теперь заключается в том, чтобы узнать, не является пи случайно этот импульс следствием эпилептического темперамента. Остановимся некоторое время на этой гипотезе Ломброзо, насколько бы она ни казалась странной[1]. Он думает доказать, что каждый настоящий преступник — более или менее скрытый эпилептик. Преступность — это наиболее распространенная разновидность эпилепсии. Он рассматривает все виды преступников: преступников прирожденных или нравственно помешанных, преступников по страсти, преступников в припадке безумия, истерии, алкоголизма, даже случайных преступников и криминалоидов. У всех у них он открывает черты темперамента, характер для эпилептиков или эпилептоидов.

На первый взгляд такое злоупотребление обобщениями, несмотря на ограничения, которые автор вносит то здесь, то там, тотчас же о них забывая, не заслуживает внимания. Оно сразу наталкивается на громкий голос цифр. Доктор Марро из Турина, ученик Ломброзо и его соотечественник, во время составления своей прекрасной книги «I caralteri dei delinquenti» не мог пренебречь тем значением, которое приписывал тогда эпилепсии его учитель. Его внимание было устремлено на то, чтобы не пропустить ни малейших признаков этой болезни при изучении тех, кто ей подвержен. Однако на 507 человек ис-

---

[1] По приведенным Ломброзо изысканиям Totini, численная пропорция обманщиков, воров, развратников всех категорий среди эпилептиков не подымается выше 4 или 5 на 100. (Она равнялась, правда, 63 на 100 по Cividali.) Доктор Лоран в цитированном выше труде говорит, что встречал истерию гораздо чаще, чем эпилепсию, и притом последнюю довольно редко в прежней жизни преступников.

следованных им преступников он нашел лишь 20 случаев эпилепсии.

Он прибавляет еще, что только один из этих 20 совершил проступок под непосредственным влиянием эпилептического припадка, обстоятельство действительно поразительное для тех, кто склонен считать эпилепсию специальным органическим свойством преступности. Еще лучше то, что пропорция эпилептиков в итальянских тюрьмах, как видно из статистических опытов того же автора, не выше 0,66 на 100; и сам Ломброзо признает, что она составляет лишь 5%.

Опровергнуть идею, о которой идет речь, если принимать ее дословно, очень легко. Даже слишком легко; и трудно представить себе, что такой крупный ученый мог так обмануться благодаря поспешности суждения. И все-таки, не знаю почему, прочитав внимательно его труд, остаешься убежденным, что под амальгамой его наблюдений и предположений, как источник под обвалом, протекает глубокая идея. Он искал (и в этом заключается новая сторона его книги) общей объединяющей черты, даже общей центральной точки, скрытой или очевидной, для всевозможных форм преступности: он хотел близко связать друг с другом кровными узами холодную жестокость «породистого» убийцы, без страха и угрызений совести; закончившееся убийством исступление помешанного, который плачет, совершив преступление; губительную вспышку виновного в преступлении по страсти или в состоянии опьянения; несчастное заблуждение фанатика или маттоида; профессиональную рутину случайного вора, попавшегося в рецидиве; безнаказанное злодейство скрытого преступника, бандита — государственного чиновника, этого привилегированного представителя эпохи равенства, или придворного временщика, смотря по форме правления.

Следовательно, я думаю только, что он ошибся в определении характера этой тесной связи, но я все же думаю, что эта связь существует, и что есть доля истины в том

физиологическом значении, которое Ломброзо приписывает преступлению наряду с юридическим значением. Что касается меня, то я могу признать это физиологическое значение, не встречая для этого, как будет видно дальше, никаких препятствий в моем прежде всего социологическом объяснении преступления. Я соглашаюсь с тем, что это печальное социальное явление имеет свои глубокие корни в мозгу. К такому заключению должен неизбежно привести нас прежде всего тот факт, на котором случайно настаивает и Ломброзо, но только исходя из другой точки зрения. Этот общеизвестный факт, состоящий в том, что определенные классические формы помешательства — мономания убийства, клептомания, пиромания, эротомания — соответствуют различным и постоянным формам преступления: убийству, воровству, поджигательству, изнасилованию, нисколько не доказывает общего происхождения преступления и безумия. Но, с другой стороны, он показывает, что преступное деяние, если рассматривать его с точки фения его происхождения в мозгу, отличается от всякого другого действия, и что было бы вполне уместно допустить возможность, если не вероятность, его специальной локализации даже в том случае, если отвергнуть специальную локализацию всякого другого рода деятельности. Можно прийти в изумление, видя, что существуют формы сумасшествия, характеризующиеся непреодолимым влечением к убийству, воровству, насилию, разрушению, в то время как нет ни одной, которая характеризовалась бы главным образом стремлением трудиться, пахать, копать землю, ткать и т.д. Все это очень старинные занятия, постоянно увеличивающиеся в числе и в течение веков повторяемые бесконечным рядом поколений. Но, как кажется, этого продолжительного повторения не было достаточно для того, чтобы превратить желание исполнять эти действия в физиологические инстинкты, имеющие своим источником определенные центры в клеточках мозга. Так как относительно преступления

дело обстоит, по-видимому, иначе, то очевидно, что преступление, несмотря на свою меньшую повторяемость, если не на меньшую давность, играет в человечестве роль, превосходящую по силе и по глубине впечатления обычные акты повседневной жизни. Именно потому, что оно всегда является исключением, оно представляется уродством, живое сознание которого налагает свое клеймо на моральную природу человека и даже затрагивает его физическую природу. Оно разделает эти привилегии с теми деяниями, которые, будучи грубыми и вполне обычными, тем не менее очень важны для организма: принятие возбуждающих средств (дипсомания), обжорство (известные формы истерии), половые излишества и т.д.

Но вернемся к эпилепсии. Я не последую за Ломброзо по всевозможным кругам Дантовского ада, куда он нас заводит. Чтобы дать представление о его методе, ограничимся краткой передачей его аргументации по отношению к нравственно помешанному — другими словами, прирожденному преступнику, с которым, по мнению нашего автора, помешанный почти совпадает. Нравственно помешанные, на его взгляд, походят на эпилептиков следующими чертами. То же замедление в установлении равновесия личности по сравнению с людьми нормальными. То же тщеславие. Та же склонность к противоречию и преувеличениям. Та же болезненная раздражительность, дурной характер, лунатизм, подозрительность. Та же страсть к непристойностям. (Случается, что coitus бывает похож на эпилептическую конвульсию, как порыв вдохновения на преступную жестокость. Вдохновение, особенно по своей мгновенности, интенсивности и постепенному ослабеванию памяти, имеет вид эпилепсии. Спрашивается, в чем же заключается суть эпилепсии, если понимать ее таким образом?) Та же физическая нечувствительность. (Заметим, что физическая нечувствительность преступников сельских, неграмотных, присуща им, как и всем представителям их класса; наоборот, нечувствительность город-

ских цивилизованных преступников вымышлена[1].) Тот же каннибализм: Cividali видел эпилептика, «откусившего носы трем своим товарищам». (Допустим это, но мы знаем, что в драках, после выпивки, среди крестьян нередко можно заметить, как один из дерущихся, менее всего на свете эпилептик, откусывает у другого часть носа или уха. Здесь может служить объяснением упорство диких привычек, ведущих свое происхождение от отдаленнейших предков. Но у эпилептиков припадки, о которых идет речь, имеют другое происхождение, что мы и увидим.) Та же склонность к самоубийству. То же стремление к объединению: в лечебницах эпилептики отличаются от других помешанных пристрастием к объединению, общим для них с обитателями тюрем. (Прибавим: и с честными людьми. Если эпилептик — существо общественное, то это просто потому, что он не сумасшедший[2], что бы ни говорил об этом Ломброзо, так как сумасшествие по самой природе своей изолирует душу.)

Не возражайте на все эти более или менее искусственные уподобления указанием[3], что, по крайней мере,

---

[1] По приведенным Ломброзо изысканиям Totini, численная пропорция обманщиков, воров, развратников всех категорий среди эпилептиков не подымается выше 4 или 5 на 100. (Она равнялась, правда, 63 на 100 по Cividali.) Доктор Лоран в цитированном выше труде говорит, что встречал истерию гораздо чище, чем эпилепсию, и притом последнюю довольно редко в прежней жизни преступников.

[2] Я хочу сказать, что он не сумасшедший в периоды между припадками, несмотря на постоянный отпечаток, который кладет темперамент эпилептика на его характер. Что же касается припадков, то в них следует видеть лишь перемежающееся безумие, переходящую манию.

[3] Другая совершенно неожиданная аналогия между прирожденными преступниками и эпилептиками: у них одинаковая походка (она изучена по способу Gilles de la Tourelle), отличающаяся одними и теми же признаками от походки обыкновенных людей. В противоположность последним, нормальные индивидуумы, о которых идет речь, ходят, делая более крупные шаги левой ногой, чем правой; кроме того, тоже в противоположность нормальной походке, они уклоняются от прямой линии при хождении больше вправо, чем влево, и их левая нога, становясь на землю, образует с прямой линией более тупой угол, чем правая

два признака — периодичность припадков и постепенное ослабевание памяти — отличают эпилептика от прирожденного преступника. Вам ответят, что, по словам тюремных сторожей, в течение дня у преступников есть свой недобрый час, и что, по Достоевскому («Записки из мертвого дома»), приход весны возбуждает бродяжнические инстинкты у заключенных. (Мы увидим далее, что в психологии периодично все, а не одни только преступные наклонности.) Ломброзо и его коллега Fridgerio говорят, что им пришлось наблюдать, как в бурные дни, когда припадки эпилептиков становятся чаще, обитатели тюрем делаются опаснее, рвут свою одежду, ломают мебель, бьют своих надзирателей. В известных случаях, говорят нам еще, наблюдается вид преступного судорожного сотрясения, которое предшествует преступлению и заставляет его предчувствовать. Нам описывают молодого человека, «семья которого замечала, что он обдумывал воровство, когда продолжительное время держал рукой нос; привычка эта окончилась изуродованием формы его носа». Что касается затемнения памяти после преступной вспышки, то оно наблюдалось Blanchi у четырех нравственно помешанных, и известно также, что дети, преступные в период детства, легко забывают свои проступки. Но чего дети не забывают быстро — только ли дурных или также и хороших проступков?

Не следует забывать, что существует форма эпилепсии без конвульсий, выражающаяся в головокружении. Эта форма, по словам Эскироля, наиболее глубоко нарушающая равновесие, чаще, чем всякая другая, сопрово-

---

нога. Таковы три признака, по которым, согласно измерениям доктора Perrachia и самого Ломброзо, походка мошенников не менее, чем их поведение, противоположна походке честных людей и напоминает походку одержимых падучей болезнью. К несчастью, нам не сообщают, на скольких наблюдениях построены эти выводы, и вполне возможно, что какой-нибудь новый антрополог, возобновив изыскания д-ра Перракия, придет к совершенно противоположным результатам, что уже слишком часто случалось в уголовной антропологии.

ждается наклонностями к преступлениям против половой нравственности, к убийству, мошенничеству, поджигательству у людей, до того времени честных. Каждый раз, когда у молодых преступников наблюдается известная перемежающаяся периодичность преступных импульсов, есть основание подозревать, что они эпилептичны. По слонам Trousseau, когда индивидуум совершает убийство без мотива, можно утверждать, что он действовал под влиянием эпилепсии. Но эпилепсии ли или какого-нибудь другого невроза? Во всяком случае, эпилептик он или нет, совершитель убийства без мотива не мог бы в общем, кроме исключений, о которых будет речь впереди, считаться преступным. Есть, говорят, случаи, когда эпилепсия, долгое время остававшаяся скрытой, проявляется лишь после преступлений, несомненно, совершенных под каким-нибудь незаметным влиянием. Это верно и очень прискорбно; но это не доказывает ни того, что именно так бывает постоянно, ни того, что можно ошибаться, не различая вора, который крадет согласно требованию своего обычного основного характера, от вора, который крадет в силу своего болезненного и преходящего настроения, сообщенного ему его душевным расстройством. В первом случае субъект вменяем, во втором он невменяем. Когда, говорят нам еще, имеются полные сведения о родственниках преступников и эпилептиков, то можно заметить, что у их родителей и предков эпилепсия чередуется с преступностью. Но чередование и идентичность — две вещи разные. Безумие тоже часто чередуется с гениальностью в одной семье, и на небе ночь чередуется с днем.

Чтобы ясно определить сущность разногласия, которое, к моему величайшему сожалению, заставляет меня разойтись с Ломброзо, я приведу особенно дорогой для него пример известного Misdea. Здесь Ломброзо как будто бы торжествует, потому что действительно врожденная преступность и эпилепсия перепутаны в данном случае до того, что теряешь надежду их разделить. Но разобраться в них все же не невозможно, если принять во внимание

наши принципы относительно уголовной ответственности. В двух словах — Misdea был плохой итальянский солдат, плутоватый, злобный, жестокий, мелочный, ленивый, бесчувственный и к тому же эпилептик; в последнем припадке, вызванном ничтожным толчком самолюбия, он заперся в казармах и начал стрелять в своих товарищей, которых он подозревал в доносах на него. Нужна была правильная осада, чтобы его обезоружить. Следовательно, в нем, говорят нам, «бесчувственность, лень, тщеславие, жестокость, злоба, доходящая до каннибализма, все те признаки, найденные нами в прирожденном преступнике и нравственно помешанном, усилены еще эпилепсией». Пускай усилены, но не созданы же. Не было ли у Misdea, независимо от эпилепсии, призвания к преступлению? И если предполагается, что этого призвания у него не было, то есть что он не был ни лентяем, ни гордецом, ни мстительным, ни жестоким, ни лжецом, то совершил ли бы он в припадке эпилепсии убийства, которые привели его на эшафот? Последний эпилептический припадок, которому он подвергся, дал только случай пробудиться его преступным наклонностям. И этот случай мог быть с таким же успехом, если еще не с большим, вызван известными социальными условиями или влиянием окружавших его негодяев: так, например, если бы было действительно нанесено серьезное оскорбление его гордости, и если бы бедственное положение довело его в один прекрасный день до роковой необходимости выбирать между трудом, противным его лени, и преступлением, которое легко допускала его нравственная нечувствительность. В последнем случае насколько более были бы достойны названия преступления все совершенные им убийства, хотя, быть может, и менее ужасные! Его характер, несмотря на совсем новое проявление, остался бы, по существу, неизменным, в то время как проявление его при посредстве эпилепсии было не только усилением его свойств, но отчасти и изменением их природы. Из негодяя эпилептический припадок сделал храбреца, грозного героя, который

один выступает против целого полка. Отсюда обыкновенный Misdea становится отчасти морально безответственным за преступления, вмененные ему в вину, но которые, впрочем, были таковы, что его казнь во мне почти не вызывает жалости. Но предположим, что Misdea был в обыкновенное время трудолюбив, скромен, добр, правдив, великодушен; если случайно, но время припадка эпилепсии, он убил одного из своих товарищей, можно ли думать, что он был бы осужден? Он, наверное, был бы оправдан и помещен в какую-нибудь лечебницу.

Однако и при этом предположении убийство, совершенное им, могло мотивироваться оскорблением самолюбия. Достаточно предположить, что изменение его природы произошло на почве скромности, внезапно перешедшей в болезненное тщеславие, подобно тому, как на самом деле оно произошло на почве трусости, превратившейся в отвагу. Ломброзо как будто думает, что если акту насилия или мошенничества, совершенному эпилептиком или помешанным, предшествовал какой-нибудь мотив, как бы ни было велико расстояние между незначительностью мотива и серьезностью деяния или, еще лучше, между минутным и случайным настроением, выразившимся в мотиве, и настроением обычным, постоянным для данного лица, все же невозможно было бы основательно отличить деяние, совершенное таким образом, от аналогичного деяния, совершенного несомненным преступником. Но это — заблуждение. Не существует, быть может, ни одного убийства, совершенного сумасшедшим в момент маниакального возбуждения, которое не имело бы своей причиной какой-нибудь страсти, охватившей в эту минуту помешанного. Если принять во внимание интенсивность этой страсти (супружеской ревности или исступления, вызванного жаждой мести), то видно будет, что чаще всего существует пропорция между мотивом (воображаемым) и деянием. Но этой пропорциональности недостаточно для доказательства преступности его совершителя. С другой стороны, даже при очень большой или, по

крайней мере, кажущейся таковой несоразмерности между убийством и обстоятельствами, которые его обусловливали, убийца не перестает быть вполне ответственным. Таков негус Абиссинии, король Дагомеи, который, видя, что один из его подданных не достаточно быстро распростерся на земле, когда он проходил мимо него, пришел в ярость и отсек ему голову ударом сабли. Но в отличие от Misdea, этот коронованный бандит нисколько не изменяет своему характеру, совершая такое жестокое мщение за такую ничтожную обиду. Его моральная ответственность, на наш взгляд, тоже должна быть полной, если не принимать во внимание, что, опьяненный своим всемогуществом, он легко мог сделаться жертвой своего рода хронического delirium tremens. Но многие из городских и сельских разбойников, цивилизованных и некультурных, которые не могут сослаться на то же извинение, приходят также после долгого поприща убийств из корысти и мести к убийствам человека из-за прибыли в несколько сантимов, или за простую обиду, или даже, очень редко, единственно из удовольствия убить. И хотя преступление может считаться здесь совершенным без повода или без достаточного повода, виновность его совершителя этим нисколько не уменьшается, потому что с течением времени жажда крови ради крови у убийцы, как жажда денег ради денег у скряги, является не аномалией, не симптомом помешательства на этом, но, наоборот, выражением и плодом самой их натуры, которую они сами понемногу пересоздали превращением их желаний в привычку.

Ломброзо напрасно так сильно затрудняет себя, стараясь найти признаки эпилепсии даже в случайном преступнике. Но, впрочем, охотно соглашаюсь с ним в том, что напрасно было рыть бездну между случайным и привычным преступником. Несчастье в том, что случай является всегда отправным пунктом привычки. Только случай действует лишь вследствие встречи с каким-нибудь внутренним свойством субъекта, свойством, появившимся благодаря наследственности, воспитанию или комби-

нации того и другого, но во всяком случае благодаря прямому или косвенному воздействию социальной среды, в которой постоянно вращались как предки индивида, так и он сам. Будем различать, если угодно, преступников наследственных и преступников, ставших таковыми вследствие воспитания. Но в последнем случае, то есть когда внутренние условия преступления являются плодом не наследственности по преимуществу, но подражания во всех его видах, что остается здесь делать эпилепсии?

Сам Ломброзо рассказывает нам о шайке убийц, составленной из 10 человек братьев и сестер; только одна из сестер, самая младшая (во что обращается здесь детская преступность?), отказывалась воровать и проливать кровь; но, вынужденная насильно следовать за своими родственниками, она со временем сделалась самой жестокой из них. Была ли она эпилептичкой? Этого он нам не сообщает.

Я думаю, мы можем утверждать, что он не доказал своего положения. Но, читая его, чувствуется, что он близок к какой-то истине. Я не имею претензии раскрыть ее с полной очевидностью. Однако мне кажется, что она проглядывает то здесь, то там. Намек на нее дали заключительные слова автора о сущности эпилепсии. Ему, говоря правду, давно пора было объясниться по этому поводу. Он соглашается с определением эпилепсии, данным Вентури (Venturi) и не лишенным ни глубины, ни, в особенности, ширины. Эпилептический темперамент, согласно Вентури, — просто темперамент крайностей, во всем склонный к преувеличениям, как в дурном, так и в хорошем: «Движениям, ощущениям, эмоциям, покраснению, слезам, суждениям нормального человека соответствуют конвульсии, галлюцинации, возбуждение, гнев, ярость, прилив крови, пена у рта, исступление эпилептика; и здесь, и там — та же нервная жизнь, более или менее сильно выраженная». Эта точка зрения допустима, если понаблюдать вместе с тем же автором, как у самых здоровых субъектов неожиданное и сильное возбуждение может дать место проявлени-

ям гнева, страха, ревности, эротизма, довольно сходных с припадками эпилепсии и имеющих тенденцию, как и эти последние, вновь проявляться позднее самопроизвольно при благоприятных условиях. Как это верно! Кто из нас не испытывал в течение своей жизни какого-нибудь из этих сильных сердечных потрясений, этих настоящих восстаний, мотивированных при первом появлении, но позднее возрождающихся самопроизвольно, под самым незначительным предлогом, точно отпечаток их в промежутке между их проявлениями продолжал жить в нас. Смирная лошадь, испугавшаяся тени или камня в сумерках, встает с тех пор время от времени на дыбы в тот же час перед воображаемым призраком. Можно ли сказать, что с этого дня она начала страдать одним из видов эпилепсии? В таком случае припадок какой-нибудь страсти, фиксированный на определенном клише мозга, был бы началом эпилепсии. Эпилепсия в этом смысле была бы в своем роде лишь стереотипной страстью.

Таким образом, мне нет надобности указывать, что даже в таком смысле понимаемая эпилепсия недостаточно объясняет преступление, потому что она с таким же успехом объясняет и его противоположность, и во всяком случае она, очевидно, могла бы быть как социальным, так и биологическим объяснением. Можно также сказать, что, расширяясь в этом пункте, круг эпилепсии совсем видоизменился. В ней, тем не менее, есть существенная и многозначащая особенность, которую следует принять во внимание: перемежаемость или периодичность. Без эпилепсии в собственном смысле значение этого признака, хотя и общего всем психическим явлениям, но в ней заметного более, чем в каком бы то ни было другом, могло бы ускользнуть от нашего внимания. Но благодаря ей мы можем узнать, что в нас есть много невидимых колес, готовых прийти в движение без нашего ведома, чтобы периодически ослаблять какую-нибудь страшную пружину, и таким образом заставить вспыхнуть одну из тех взрывчатых субстанций, которые мы носим в себе, сами того не

зная. Эти бесчисленные и непрерывные вращения, из которых составляется бессознательная жизнь наших воспоминаний, наших желаний, наших скрытых чувств, продолжающееся повторение всего, что однажды вошло в нас путем случайного впечатления, — совершаются внутри наших мозговых клеток. Именно благодаря этим бесконечным вращениям, умножающимся и запутанным, внутри нас происходят иногда процессы, результатом которых бывает проявление неожиданных актов смелости или развращенности, черты безумия или гениальности, удивительные для нас самих; точно так же благодаря сложному тяготению светил происходит их соединение, а за ними следуют затмения или моменты величественного сияния. Все периодично во мне, безразлично, нормален я или нет; и не одни только болезненные идеи и желания способны повторяться в нас, без нашего вызова, но вообще и все идеи и желания, находящие в нас наиболее благоприятные условия для своего развития и наиболее глубоко укореняющиеся в нас. Как бы благоразумны и свободны от всякого невроза мы ни были, мы не можем помешать себе тяготеть к эллипсису мыслей, деяний и эмоций, возобновляющихся в одни и те же дни и времена года при аналогичных обстоятельствах. Острая захватывающая грусть, всегда одинаково и неизменно вызываемая в душе многих людей возвращением весны и заставляющая их забросить всякое дело, имеет своим источником любовные огорчения их первой юности, забытые и неясно воскресающие под аккомпанемент других обманчивых воспоминаний, гармонирующих с этой нотой и тембром этого звука. Это образует какой-то концерт сердца, что-то вроде жалобной и раздирающей внутренней шарманки, которую невозможно остановить. Известные предрасположения к радости без видимых причин, продолжающиеся неделями, объясняются смутным возрождением прошлого счастья. Но у несчастных людей, перенесших большие лишения, унижения и дурное обращение с ними в детстве или юности, есть дни, когда ропщут в них глухой необъ-

яснимый гнев, смутная потребность ненависти и мести, завистливая жадность. И если в такие моменты кто-нибудь оскорбит их или соблазнит их какая-нибудь добыча, то убийство, поджог и воровство могут быть следствиями этого фатального совпадения. И затем, раз преступление совершено, настанут дни и месяцы, когда неизвестно почему к ним будет возвращаться что-то вроде неопределенного и неутолимого преступного аппетита; и это потому, что преступление отпечатывается на характере, и как нет ощущения более сильного, чем то, которое им вызывается, так нет и такого, которое фиксировалось бы на клише мозга более глубоко.

Но именно потому, что периодичность, о которой идет речь, распространяется на весь круг нашей сознательной и бессознательной жизни, недостаточно ее только констатировать, найти ее там, где она заметна меньше, по аналогии с явлениями, в которых она заметна больше, чтобы иметь право считать индивида неответственным за то, что появляется и вспыхивает в нем самопроизвольно. Здесь нужно установить некоторые различия. Чаще всего эллипсис воспоминаний или привычек, о которых я только что говорил, — действительно наш, потому что он начертался по нашему согласию или по нашей собственной воле, или потому что он представляет собой увековечение и внутреннюю ассимиляцию случайностей, которые стали для нас постоянными, следов, составляющих часть нашего я; как и кривая, описываемая планетами, этот эллипсис заставляет нас переживать состояния, лишь немногим отличающиеся одно от другого, по крайней мере не явно противоречивые. Наоборот, неправильный эллипсис, куда бросает нас безумие, как планеты, переброшенные из величайшей жары в величайший холод и vice versa, спутывает наш разум и уродует нас каждую минуту. Скажут, что между этими двумя крайними состояниями есть много промежуточных. Да, несомненно. Но их меньше, чем думают; планеты в общем довольно точно отличены от комет, и если были в прошлом смешанные небесные тела, то

теперь они исчезли; граница, за которой начинается безумие, что бы ни говорили, представляет собой пояс весьма незначительной ширины, а полубезумие есть состояние неустойчивого равновесия, которое никогда не продолжается долго. В душе, как и в обществе, совсем не существует середины между порядком и беспорядком. То, что называется порядком в индивидуальной или социальной жизни, есть не что иное, как гармоническое соответствие идей и периодических деяний, при наименьшем числе периодов конфликта. Это и есть состояние социального тождества. Но когда начинают учащаться периоды взрывов, когда ткань, которую образуют периоды труда, промышленности, господства справедливости, здоровья, душевного равновесия, разрывается от этих взрывов, то наступают беспорядок или помешательство, анархия или эпилепсия. И переход от одного из этих состояний к другому в общем всегда короток.

Известный порядок, действительно, может отлично проскальзывать в конце концов даже и в беспорядке, но он подчиняется последнему и только еще сильнее его подчеркивает. Например, нужно заметить, что повторение болезненных припадков, вначале неправильных, стремится регулироваться. У алкоголиков, в которых укоренился их порок, возвраты аффектированного возбуждения принимают, говорит Vétault, «правильную периодичность»[1].

То же самое у дипсоманов. Один из пьяниц, описываемый тем же ученым, каждый раз, когда сильно напивался, машинально повторял одно и то же преступление: он захватывал лошадь и карету, на минуту оставленные их собственником.

Другие следствия вытекают из нижеследующих соображений. Наследственное повторение интеллектуальных и моральных качеств, которыми обладали предки индивида, входят как особый случай в общую периодичность психологических действий. В этом случае период перехо-

---

[1] См. труд этого автора «Alcoholisme».

дит за пределы человеческой жизни и распространяется на несколько поколений. Самопроизвольно, как припадок эпилепсии в спокойной душе, появляется в честной семье порочная или развратная натура. Труд — повторение тех же действий и идей через самые короткие промежутки времени; привычка в собственном смысле слова, воспоминание и инстинкт — повторение действий и идей через промежутки уже большие; наконец, наследственность и атавизм — повторение стремлений к известным действиям и известным идеям через очень значительный промежуток времени — вот где так много концентрических волн, которые идут, распространяясь и смешиваясь, набегая одна на другую. Прибавим, что к этим разнообразным формам подражания самому себе, рабского и невольного подражания органической жизни, присоединяются все высшие формы подражания окружающим, свободного подражания, разлитого в огромном социальном мире. Но в центре всех этих коловращений главным двигателем всегда бывает воля, которую общество вдохновило своей целью. По всем дорогам идут к этому источнику преступлений.

7. Анатомические признаки преступника

Если группа преступников, настолько же пестрая, насколько и многочисленная, настолько изменчивая, насколько и постоянная, не соединена никакой действительно органической связью, если не существует между ними ни того патологического родства, которое бы установило одну общую форму вырождения или умственного расстройства, ни одних и тех же болезней, которым они все были бы подвержены, ни того физиологического родства, которое указывало бы на их общее сходство с предполагаемыми предками, то какова же природа объединяющей их связи, дающей им часто особую физиономию, которую легче уловить, чем формулировать? На наш взгляд, это связь чисто социальная, интимное соотношение, замечае-

мое между людьми, занятыми одним и тем же ремеслом или ремеслами одного рода; этой гипотезы достаточно, чтобы объяснить даже анатомические и тем более физиологические и психологические особенности, отмечающие преступников. Поговорим сначала о первых. Мы говорили раньше, почему всякая профессия, доступная для всех или ограниченная кастой — безразлично, постепенно подбирает своих членов из среды людей, наиболее богато одаренных и соответствующих ее требованиям, и развивает у них путем наследственной передачи таланты и физические особенности, предпочтительные с точки зрения данной профессии. То же самое наблюдается не только во всякой профессии, но в каждом классе, в каждой социальной категории, которые более или менее ясно определились. Например, серия черепов так называемых hommes distingués (здесь разумеется выбор из общего числа либеральных профессий) отличается, по Мануврие, относительно небольшим развитием лицевых костей, прекрасно развитыми лбами и в особенности кубической вместимостью, значительно превосходящей среднюю[1].

Если войти в подробности, изучая в отдельности артистов, ученых, философов и инженеров, то, разумеется, это даст в конце концов возможность начертать типический и достаточно характерный портрет каждой из этих групп. Вероятнее всего также, что он легко мог бы быть более определенным и менее сомнительным, чем знаменитый «преступный тип». Действительно, из всех профессий преступная реже всего бывает такой, которой за-

---

[1] Всех очень удивило то, что в Англии духовенство отличалось значительно превосходящей среднюю пропорцией мужских рождений. Бертильон вывел отсюда, что всякая профессия дает различную, и для каждой постоянную, пропорцию мужских рождений по сравнению с женскими. Если принять во внимание то, что акт рождения есть как бы слияние и результат всех органических действий, то в предшествовавшем наблюдении легко видеть основание для предположения, что всякое ремесло имеет свою физиологическую, также как и анатомическую, характеристику.

нимаются по свободному выбору, и в ней, кроме того, вследствие быстрого вымирания порочных семей наследственная передача способностей имеет меньше времени для проявления. На эту профессию люди бывают обыкновенно обречены с детства; большинство убийц и грабителей были сначала заброшенными детьми, и настоящий рассадник преступления нужно искать на каждой площади или перекрестке наших больших и малых городов, в этих шайках хищных уличных мальчишек, которые, как стаи воробьев, собираются сначала для мародерства, потом для воровства, вследствие недостатка воспитания и хлеба у себя дома[1].

Влияние товарищей часто решало их участь помимо природного предрасположения их к преступлению. В то же время есть и такие, которых к дилемме преступления или смерти привела фатальная логика их пороков. О первых можно в общем сказать то, что предпочтение, оказываемое ими примеру небольшого числа негодяев перед примером подавляющего большинства тружеников, указывает на некоторую аномалию их природы; хотя можно было бы ответить, что подражание подчиняется тому же закону, что и притяжение, то есть что его сила обратно пропорциональна квадрату расстояния. Поэтому понятно, что самый нормальный ребенок скорее увлечется примером десятка окружающих его развращенных товарищей, чем примером миллионов неизвестных ему сограждан. Несмотря на все это, несомненно, что преуспеяние на поприще убийства или воровства предполагает обыкновенно истинное призвание, которое привычный глаз более или менее ясно определяет. Так, Топинард и Мануврие, каждый вполне самостоятельно,

---

[1] «Большинство воров, — говорит Lauvergne, — были детьми улиц, брошенными сыновьями неимущего отца или проститутки». Интересные подробности относительно этих шаек скороспелых преступников есть у Maestre (Criminalitad in Barcelona, 1886), одного из наиболее компетентных испанских судей. Мы изложим их вкратце далее.

пришли к тому заключению, что преступники образуют одну из тех «профессиональных категорий», о которых шла речь.

Таким образом объясняется, почему, несмотря на неуспех попыток, производившихся до сих пор с целью объять необъятное, чтобы научно доказать справедливость ощущения, часто вызываемого видом преступника, все-таки является неоспоримым существование того особого чутья, которое дает возможность опытному сыщику и проницательному исследователю обнаружить наличность преступных наклонностей в человеке с так называемой «mauvaise mine». Френология не дала ничего, но были френологи, которые нередко отличались поразительной проницательностью. Lauvergne указывает на несколько подобных диагнозов в своей книге «Les Forçats». Физиогномика тоже дала немного; но со времени Лафатера всегда существовали физиономисты. Что останется лет через десять от графологии, которая стала теперь довольно модной? Я не знаю этого. Но, наверное, долго еще будут существовать графологи, которые семь или восемь раз из десяти по виду почерка угадают характер «пишущего». Итак, меньше всего на свете желая унизить уголовную антропологию этим сопоставлением, я позволяю себе прибавить, что если в один прекрасный день ей суждено погибнуть, то уголовные антропологи переживут ее и долго еще будут при случае доказывать свою проницательность. Впрочем, перечисление стольких последовательных неудач не заключает в себе ничего для нее обескураживающего; сколько раз в науке и других областях приходилось видеть, что упорство перед последовательными поражениями свидетельствовало о силе и прочности известных поражений и пророчило им в будущем триумф.

Заметим только, что специальное чутье, позволяющее иногда отличать опасного человека, «способного на все», среди честных людей, гораздо меньше руководствуется неясным ощущением известного анатомического призна-

ка, свойственного мошенникам, чем ощущением признака физиологического[1].

Не глаз, а взгляд; не рот, а улыбка; не черты лица, а физиономия; не рост, а походка дают указания, которыми бессознательно пользуются при угадывании характера. Ясновидящий графолог строит свои выводы не на спокойном почерке, а на скорописи, не на каждой графической черточке, рассматриваемой в отдельности, статически, но на их, так сказать, динамическом взаимоотношении, в котором сказывается душевное настроение, отразившееся на движении руки. В известной мере перо, действительно, служит для душевных актов тем же, чем сфимограф (Sphymographe) для движений сердца; то и другое дает рисунок известной деятельности. Несмотря на свою глубокую веру в систему Галля, Lauvergne высказывает следующее мнение: «Мошенник, негодяй, вор сказывается столько же в игре физиономии, сколько в многозначащих выпуклостях; эти последние подмечаются лишь тогда, когда на лице осужденного уже прочтено, что они должны существовать». Ведь ничто не поддается в нас таким быстрым изменениям под влиянием воспитания и жизненных обстоятельств, как изменчивое выражение лица и тела, то, что называется общим видом и манерами, — лишнее основание верить в преобладание социальных причин в создании преступника. Впрочем, анатомические признаки сами не избавлены от влияния этих причин. Если хороший уход имеет то преимущество, что, укрепляя ребенка, изменяет даже строение его тела, то дурной уход обладает не меньшим могуществом; и то, что верно по отношению ко всему нашему телу, является наиболее справедливым, согласно замечанию д-ра Дюбюиссона (Dubuisson), по отношению к самому пластическому из наших органов — мозгу. «Наша власть видоизменять во всем зависит от сложно-

---

[1] Но наиболее существенным качеством хорошего полицейского является прежде всего прекрасная память, которая позволяет ему после нескольких месяцев и лет узнавать всех преступников, которые прошли у него перед глазами.

сти видоизменяемого предмета. Самое обилие мозговых функций открывает дверь большему числу изменяющих его агентов, чем всякий другой орган нашего тела».

Нет ни одного, даже самого юного из молодых чудовищ 17, 18 лет, заполняющих своими подвигами прессу, который не имел бы за собой нескольких годов преступного обучения во все продолжение своего бродяжнического и грязного детства: преступное ремесло, как и всякое другое, имеет свои специальные школы. Как и всякое другое ремесло, оно имеет также свой собственный язык — argot. Какая старая, укоренившаяся профессия не имеет своего языка, начиная с моряков, каменщиков, медников до художников и адвокатов — даже до самих полицейских агентов, которые заменяют обычные слова жаргоном? Можно обратиться к трудам Максима Дюкампа по этому предмету. Ремесло преступности имеет свои специальные ассоциации, временные или постоянные, повсеместные или местные. Примером одних являются Жакерия и якобинизм, успевшие, несмотря на свое недолгое существование, разорить Францию. Примером других — каморра и мафия, которые по традиции свирепствуют в Италии. Вот крупные профессиональные синдикаты преступления, игравшие гораздо большую, чем принято думать, историческую роль. Сколько раз воинственный союз, образовавшийся в среде пастушеских племен, был в то же время и обществом грабителей? Сколько раз шайка грабителей являлась необходимым ферментом для создания государства и утверждения мира на торжестве сильного? Да не упрекнут меня в том, что я слишком большую честь оказываю преступлению, ставя его в ряды ремесел. Если мелкий преступнический промысел, прозябающий в трущобах наших городов, приносит только зло, так же как и мелкие лавчонки, где переживает само себя первобытное производство, то крупный преступнический промысел имел в прошлом свои великие и страшные дни, принесшие пользу в форме милитаризма и деспотизма; в форме же финансовых мероприятий он оказывает, как утвержда-

ют, неоценимые услуги. Что было бы с нами, если бы никогда не было счастливых преступников, пылавших желанием забыть убеждения и права, предрассудки и обычаи и вести человеческий род от эклоги к драме цивилизации? Затем, не следует ли, к несчастью, сознаться, что от отъявленного преступника к честному негоцианту ведет целая серия переходных форм, что всякий коммерсант, обманывающий своих клиентов, — вор, что всякий кондитер, подмешивающий вино, — отравитель, и что вообще всякий фальсификатор — подделыватель? Я не говорю уже о том обилии промыслов, которые в той или другой мере живут непосредственно доходами от преступления: подозрительные гостиницы, дома терпимости, игорные дома, лавки старьевщиков — столько мест, служащих для убежища и укрывательства преступников. У последних есть много и других соучастников даже в высших классах общества: сколько взяток, сколько грязных сделок, фиктивных торгов не обходятся без участия людей богатых и признаваемых честными, извлекающих отсюда выгоды, не всегда неумышленно.

Если бы дерево преступности со всеми своими корнями и корешками могло бы быть когда-нибудь вырвано из нашего общества, оно оставило бы в нем зияющую бездну.

Следует преодолеть отвращение, мешающее нам разбираться в сердце преступника, хотя бы только для того, чтобы помочь нам победить в себе живое влечение к изучению души развратника. О дереве судят по его плодам. О порочности — по преступлению. Психология проститутки и вивера (почти единственная тема, на которой изощряется реализм наших романистов и поэтов) будет меньше интересовать всех, когда лучше узнают психологию вора и убийцы.

8. Психология преступника

Быть может, порочными уже рождаются, но преступниками, наверное, делаются лишь впоследствии. Психология убийцы — это, в сущности, психология всякого че-

ловека, и, чтобы проникнуть в его сердце, нам достаточно изучить свое собственное. Можно было бы без большого труда написать трактат об искусстве сделаться убийцей. Посещайте дурное общество; дайте безгранично развиваться в вас гордости, суетности, зависти, злобе, лени; закройте ваше сердце для нежных чувств и открывайте его лишь для сильных ощущений; страдайте также, приучитесь с детства к побоям, к суровому обращению, к физическим мучениям; будьте равнодушны к злу, нечувствительны, и вы немедленно сделаетесь безжалостны, раздражительны и мстительны, и только по счастливой случайности никого не убьете за всю вашу жизнь. И действительно, психологические признаки, которые я только что перечислил, сильнее всего поражают в обитателях тюрем. Войдем, например, с Достоевским в его «Мертвый дом»; нет документа, способного более чем эта книга, где подводятся итоги десяти годам несправедливой каторги, пережитым в Сибири, дать возможность проникнуть в интимную жизнь мучеников этого мира. «Вообще же скажу, — говорит он, — что весь этот народ за некоторыми немногими исключениями неистощимо веселых людей, пользовавшихся за это всеобщим презрением, был народ угрюмый, завистливый, страшно тщеславный, хвастливый, обидчивый и в высшей степени формалист... Тщеславие, наружность, были на первом плане... Новичок скоро замечал, что не туда попал, что здесь дивить уже некого, и неприметно смирялся и попадал в общий тон. Этот общий тон составлялся снаружи из какого-то особенного собственного достоинства, которым был проникнут чуть не каждый обитатель острога. Довольство хорошо одетого доходило до ребячества». Отметим эту титаническую гордость преступников; как из недостатков нет ни одного, который был бы менее примирим с аналогичными недостатками других, чем это преувеличенное самоуважение, так нет более серьезной причины для необщительности; замечательно также, что во всякую эпоху и во все странах — у бандитов Корсики или Греции, или у сици-

лийских maffioso, как и у «отбросов» наших больших городов, — гордость является главным признаком их характера. В этой тюрьме, правда, работали по принуждению или, за неимением ничего лучшего, для препровождения времени; и это было счастьем: «без работы арестанты поели бы друг друга, как пауки в склянке». Правда, «между угрюмыми и завистливыми лицами каторжников было несколько добрых и веселых», но это были или невинно осужденные, или случайно сбившиеся с пути. Там самым большим удовольствием считалось напиться на заработанные деньги допьяна, совершенно одному, не приглашая товарищей. Каторжники, трудно поверить, могли на прогулках, несмотря на свои цепи и сторожей, устраивать время от времени какую-нибудь грубую идиллию с женщинами ad hoc, но так как они могли также с не меньшими затруднениями раздобыться водкой, то они предпочитали обыкновенно употребить свои деньги на это последнее удовольствие. Это согласуется с сфигмографическим опытом Ломброзо относительно впечатления, производимого на преступников видом стакана вина или donna nuda. Арестанты отличались неслыханным стоицизмом; он объясняется отчасти их самолюбием, отчасти физической нечувствительностью, которая характеризует низшие классы. Частым наказанием было 100, 500 ударов розгами или палками, падавшими на спину приговоренного, бежавшего под потоками крови между двумя рядами солдат. «Они переносили самую казнь мужественно, не исключая даже самых малодушных». Эта пониженная чувствительность к боли объясняет другое преимущество, которым отличаются преступники: необычайная легкость, с какой заживают их раны. Эта особенность у них общая с некоторыми некультурными народами, у которых наблюдается такое же быстрое выздоровление от ран в связи с такой же нечувствительностью. Отметим, что Лорион (Lotion) у анналитов и Коше (Kocher) у арабов, независимо один от другого, констатировали этот двойной дар природы. Известные опыты Дельбефа (Delboef), внушавшего загипно-

тизированным не чувствовать боли в их ранах и необыкновенно ускорявшего этим их заживление, бросают свет на все эти собранные факты.

По чрезмерным заботам о впечатлении, производимом на окружающих, по зависти и даже злобе к другим видно, что преступник состоит в социальной связи с другими людьми. Их пример увлек его, их суждение для него важно; и считать его чуждым их обществу — значило бы не знать его. Преступник знает и притом не сомневается, что он оправдан судом своей родной среды, своего же простонародия, которое никогда — он опять-таки знает это — его окончательно не осудит, а чаще всего и совсем оправдает, лишь бы его грех был не против своих, против братьев! (Следует прочесть описание праздника Пасхи в сибирском остроге: каторжники справляют это торжество с всевозможной помпой, какую только им позволяют — они организуют драматическое представление; много времени занимают их религиозные обязанности. «Кроме врожденного благоговения к великому дню, арестант бессознательно ощущал, что он этим соблюдением праздника как будто соприкасается со всем миром». В этот день также «не слышно было ни обычной ругани, ни обычных ссор». Проявлялось что-то вроде дружества, «хотя обычно они были черствы и сухи в обращении друг с другом»[1].)

Отнюдь не обнаруживая этой глубокой непредусмотрительности, которой Ломброзо характеризует преступника, товарищи Достоевского проявляли редкую расчетливость и настойчивость в выполнении всех своих планов, в купле и продаже водки, в побегах весной, и мысль о возможном наказании не переставала их озабочивать. Импульсивный тип был совершенно исключительным.

---

[1] Заметьте это: они склонны соединяться в группы, подчиненные какому-нибудь влиятельному товарищу; но они не способны еще любить друг друга. Первые общества также формировались всегда при помощи односторонней связи престижа прежде, чем узнавали о существовании взаимной связи, построенной на симпатии.

Петров был полным воплощением такого типа. В этом человеке было мало здравого смысла; но время от времени появлялось какое-нибудь пылкое желание, зачастую вызванное самым незначительным поводом. «Вот такой-то и режет человека за четвертак, чтобы за этот четвертак выпить косушку, хотя в другое время пропустит мимо и с сотнею тысяч». Это был «самый решительный человек изо всей каторги»[1], потому что он, как загипнотизированный или сумасшедший, всю силу своей воли и веры приносит в жертву своему минутному желанию, одной какой-нибудь идее. Его ответственность не была полной.

В общем, очертить верно характер преступника гораздо легче, чем его физический тип. Его тип меняется в зависимости от расы, его характер почти неизменен. Впрочем, не следует преувеличивать психологические и в особенности интеллектуальные различия, отличающие преступника от нас. Когда сравнивают различные виды книг — романы, мелкую литературу, историю, научные книги и т.д., которые читались с большим или меньшим удовольствием в парижских тюрьмах мужских и женских, с литературой, более или менее предпочитаемой в городских школах Парижа, то замечают, что относительная пропорция читателей для каждого рода сочинений приблизительно та же и здесь, и там.

Больше половины сочинений, прочитанных каторжниками, состоит из романов; читаются главным образом романы Александра Дюма. Нарасхват читают также «Magasin pittoresque», «Le Tour du monde», даже «Le musée des famillies». Что же касается нравственности, то

---

[1] «Но в каторге, как и везде, — говорит автор, — решительных людей было мало». И он прибавляет, что не следует смешивать решительного с отчаянным, под впечатлением первого более или менее понятного убийства, ввергнутым в пропасть порока, в чаду своей преступной vita nuova, опьяненным своим демоническим освобождением, который совершает пять, шесть других убийств без всякого мотива. Острог смиряет его так, «что удивляешься на него: неужели это тот самый, который зарезал пять-шесть человек?».

две наиболее выдающиеся черты — тщеславие и бесчувственность, которые мы старались отметить возможно точнее, далеко не исключительно свойственны преступникам и могут быть как причиной, так и следствием преступления. Я сказал бы то же самое о лени и отсутствии угрызений совести. Прежде всего, так ли нечувствителен преступник, по крайней мере физически, как утверждают Достоевский, Ломброзо и большинство итальянских авторов? Их наблюдениям, по-видимому, противоречат свидетельства другого рода. «Я спрашивал, — говорит Joly, — в центральной лечебнице «La Santé», где лечатся все серьезно больные из тюрем на Сене, замечалась ли когда-нибудь среди них общая нечувствительность. Мне отвечают, что далеко нет, что их находят всегда очень чувствительными к боли. Мне откровенно объясняют, что тем, кто работал в этой специальной лечебнице и в нескольких обыкновенных парижских госпиталях (как почти все постоянные служащие), разница бросается в глаза. Порядочные люди, честные рабочие, отцы семейств, которые лечились в «La Chéri té» или в «Hôtel-Dieu», переносят операции с гораздо большей твердостью, чем больные из «La Santé»». Вот что не согласуется с примерами стоицизма перед телесным наказанием, о которых говорилось выше, и к которым память какого-нибудь провинциального судебного следователя легко могла бы прибавить другие. Девять раз из десяти девушки-матери, убивающие своих новорожденных, тайно рожают при таких условиях, при которых какая-нибудь дама, если уже она допустила эту неосторожность, умерла бы наверное. Я знаю одну обвиняемую, а их тысячи, которая, захваченная врасплох родовыми болями в день большой стирки, когда она приготовляла обед на пять или шесть прачек, поднялась к себе в комнату, родила, задушила ребенка и 3/4 часа спустя вновь спустилась, принялась за свою работу по хозяйству, стояла, входила и выходила без всякого ущерба для своего здоровья. Но кажущееся противоречие, о котором идет речь, легко устранить, я думаю, тем простым соображением, что Дос-

тоевский и Ломброзо, также как и большинство итальянцев и провинциальных судей, имели дело с преступниками деревенскими, малочувствительными физически, как и все невежественные люди, в то время как преступники, содержащиеся в парижских госпиталях, подвержены гиперестезии, общей и характерной для всякого городского населения.

Идея привести в связь отсутствие жалости у преступника с его относительной нечувствительностью к боли есть лишь предположение без доказательств. Другая гипотеза представляется мне более вероятной: это то, что чудовищный эгоизм, так же, как и страшная гордость, отличающие преступника, гораздо скорее, быть может, являются следствием, чем источником их преступления. Изучалось действие преступления на окружающее общество, которое боится его, и на соревнователей преступника, которые ему подражают; но достаточно ли освещалось вне тенденциозных или сенсационных романов его воздействие на самого преступника? Самое большее, если пытались описать впечатление, резкую и неизгладимую печать, наложенную преступным деянием на воображение его совершителя. Но не меньше, чем его воображение, его суждения и его воля, его рассудок и его чувствительность, его самолюбие, наконец, изменяются или извращаются благодаря этому страшному удару.

Идея, решение, приготовление и совершение преступления могут рассматриваться как ход особого рода лихорадки, не имеющей названия, как образование в мозгу известного представления, которое можно отнести в психологическом (не социологическом, разумеется) отношении к разряду таких же внутренних процессов, как стремление к самоубийству, любовь, поэтическое вдохновение. Это один из тех кризисов, из которых организм, как это бывает при конституциональных болезнях, выходит измененным; существуют брожения, которые, едва закончившись, опять начинаются в новой, еще более опасной форме; после брожения спиртового начинается уксусное; такова же

преступная лихорадка. Прежде чем начать действовать, будущий обвиняемый волнуется и возбуждается до глубины души головокружительной, обаятельной мыслью, неотвязчивой, настойчивой, страшной на взгляд. Решится ли он ее исполнить или не решится? До последнего момента он еще сомневается. Как бы желанна она ни была, его собственное падение его захватывает и ошеломляет настолько же, насколько оно тревожит и страшит публику. Он изумляется, когда избавляется наконец от своего безумного бесовского наваждения; его удивляет, что он так легко победил все, что казалось ему раньше почти непреодолимым, — честь, право, сострадание, нравственность; он чувствует себя одновременно отчужденным, свободным и падшим, брошенным в новый, открывшийся перед ним мир, навсегда изгнанным из родного дома. В его изумлении есть нечто похожее на то, что испытывает юноша, впервые вкусивший запретных наслаждений, или школьник, сочинивший только что свои первые хорошие стихи. Он начинает гордиться своим одиночеством, он говорит себе, что стал новым человеком.

Нечаянное заблуждение, и целая бездна легла между ним и его соотечественниками; он старается с тех пор убедить себя, что они ему чужие, и хотя он никогда не добивается этого вполне, хотя всемогущее господство их примера вынуждает его выслушивать и повторять про себя позорящее его эхо суждений, которые они о нем составили, его усилия от них отвязаться, тем не менее, дают почву для развития его гордости и эгоизма. Его гордость раздувается, как гордость влюбленного после победы, генерала после торжества над неприятелем, артиста после его лучшего произведения; любовник, изобретатель, артист, победитель походят в этом на горца, на обитателя пустынных стран, самолюбие которого выражается в его действительном одиночестве, как их самолюбие в их одиночестве искусственном. Сухость сердца, нечувствительность по отношению к этой толпе, от которой человек отделяется, проистекает именно отсюда. Отсюда же, понемногу, по мере

того как прогрессирует это чувство полного разрыва с толпой, проистекает и отсутствие угрызений совести. Потому что в силу наших принципов, считая себя существом другой породы, преступник должен считать себя безответственным. Можно было бы сказать с известным основанием, что он испытывает угрызения совести до преступления, а не после. Прежде он еще называл других людей своими ближними; после — нет. Отныне он уже не интересуется ни друзьями, ни знакомыми и симпатизирует лишь своим ближайшим родственникам и собратьям по преступлению. Он грезит. Так объясняется его лень. Она является делом мечтателей всех категорий, влюбленных, поэтов, даже изобретателей. Преступник — большой мечтатель, и Достоевский не преминул указать на эту черту.

Каждый, кто носит в памяти особенно выдающееся воспоминание, какого, как ему известно, не существует в памяти его сограждан, питает в себе все увеличивающуюся веру в свою отчужденность и вскоре в свое превосходство. Так бывает с убийцей, даже не раскрытым еще. Убийство является для того, кто его совершил, какой-то idée fixe, как гениальная выдумка для инженера,' как образ любимой женщины для влюбленного. Эта идея, разумеется, не всегда стоит в центре его сознания, но она витает и кружится на горизонте его разума, подобно низкому солнцу полярных стран. Это преследование не заключает в себе ничего болезненного — оно нормально; было бы ненормально, если бы его не было. Чем сильнее удар колокола, тем продолжительнее его колебание; ощущение вибрирует и повторяется тем чаще на суде совести, чем оно было поразительнее. Эта непрестанная работа выдает себя тысячами признаков: рисунками вроде тех, которые делал Тропман, изображая одно из своих преступлений; нередко татуировкой, компрометирующими словами, в которых проглядывает потребность высказать то, что известно только еще одному; молчанием, даже сном и бредом. Я знал убийцу, которого собирались отпустить за недостатком улик, как вдруг одно слово, произнесенное им во сне и подслушан-

ное сторожем, дало возможность подвергнуть его успешному допросу, смутить его и добиться признаний. Таким образом, из всех действий прошлой жизни преступление является таким, которое должно чаще всего повторяться в воображении, потому что оно самое энергичное из всех, и вследствие этого оно должно с наибольшей силой стремиться к повторению в действительности. Наклонная плоскость, толкающая человека к преступному рецидиву, фатально еще больше, чем склонность к рецидиву изящному, артистическому, поэтическому, к эротомании, меломании, метромании. Достаточно одной ошибки, чтобы из честной женщины сделать Мессалину, достаточно одного стихотворного опыта, чтобы клерк нотариуса навеки превратился в стихоплета. И точно так же достаточно первого воровства, совершенного в 34 года, чтобы из честного офицера вышел вор (случай с Ласенером). Но почему? Конечно, не по одной только причине потрясения воображения, о которой я только что говорил.

Быстрое падение, произведенное первым шагом на пути порока или преступления, объясняют обыкновенно тем, что вкус запрещенного плода или жажда крови пробудили порочные или слишком ранние инстинкты. Говорят еще, что вина лежит на обществе, слишком поспешно отталкивающем от себя павшего и вынуждающего его искать убежища в шайке развращенных людей. Но, говоря так, забывают самое существенное — это приговор, которым внутреннее жюри, эхо убеждений извне, отсекает виновного от честной толпы прежде, чем она его прокляла или даже только осудила. Этот воображаемый разрыв вместе с болезненно раздувшимся самолюбием и ожесточением сердца, следующими друг за другом, решают его гибель. Чем больше человек чувствует или считает себя отделившимся от себе подобных благодаря своему падению или нравственной смерти, своей резкой извращенности или даже просто повышенной страстности, тем он опаснее. Если проституирующие нашего пола еще больше, чем куртизанки, способны на всякие злодеяния, то это по-

тому, что чувство их постепенного падения особенно глубоко в них и интенсивно.

Если поступок еще остается втайне, то можно, пожалуй, засыпать ров, вырытый совестью грешника между ним и честными людьми. Но когда преследования против него уже имели место, и он был осужден, его внутренняя пропасть страшно расширяется и углубляется, выходя наружу, подобно его скверной природе, которая, выразившись в преступлении, ясно обозначилась и завершилась им. Женщина, которую единственная ошибка сделала публичной, потеряна навсегда. Преступник неизбежно является делом своего собственного преступления настолько же, насколько это преступление было его делом; он точно так же неизбежно является отчасти созданием уголовного суда[1].

Отлученный в глазах всех от других, он делается еще более одиноким в своих собственных глазах, то есть приблизительно так же, но только в обратном смысле, как это бывает с артистом, с поэтом, который, будучи сначала один только уверен в своем таланте, вдруг озаряется лучом славы и видит, как тотчас начинает расти воздвигнутый им самим себе пьедестал. Тем не менее, верно, что благодаря убеждению, выросшему в них относительно их отчужденности от окружающего общества, их несходства с ним и их независимости от него, тот и другой находят в себе, несмотря ни на что, доказательство их внутреннего сходства и их вынужденной прикосновенности к этой презренной и проклятой толпе. В случае славы, как и в случае

[1] Может быть, именно это заставляет Emile Gautier говорить (Archives d'anthropologie criminelle, 1888), что существует скорее тюремный тип (type pénitentiaire), чем преступный. Особенно по своим физиономиям, на его взгляд, как мы видели выше, заключенные похожи друг на друга. Тюремная жизнь со своим двойным непреодолимым притяжением, дисциплинарной рутиной и взаимным развращением друг друга довершает то, что лишь начерно набросала преступная жизнь — психологический переворот преступника и чувство перехода в другую среду.

осуждения, «я» отражает в своей caméra obscura суд окружающих; человек не может удержаться, чтобы еще больше не любоваться собой, когда его хвалят, и не порицать себя еще больше, когда его порицают, но так как эта последняя форма проявления самолюбия противна природе, то он зачастую старается отплатить честной толпе презрением за презрение, что является лишним способом отражать ее взгляды, отталкивая ее. Он остается еще в достаточной степени подобным обществу, чтобы не перестать быть по отношению к нему ответственным; с другой стороны, его внутренняя отчужденность, скорее всего только смущающая его душу, далеко не достаточно глубока, чтобы создать препятствие его ответственности.

Новая итальянская школа без конца повторяет, что важно изучать и наказывать явление, называемое преступником, а не сущность этого явления, называемую преступлением. Мы видим теперь, с какими ограничениями нужно принимать этот взгляд, и что старой школе было далеко не непростительно стоять на противоположной точке зрения. Или, скорее, мы видим, как легко и полно могут согласоваться противоположные точки зрения.

Мы понимаем также, почему совершитель крупного преступления, даже случайного, становится сразу более опасным и подлежащим более строгому наказанию, чем незначительный привычный преступник. Чем серьезнее совершенное преступление, чем чище была совесть, которую оно запятнало, тем глубже и страшнее бывает мятежный перелом нашего я, явившийся следствием предыдущего. Но когда с детства человек привык совершать сначала незначительные, затем постепенно все более и более крупные кражи, то он избегает этого страшного внутреннего потрясения и никогда не перестает чувствовать своих крепких связей с окружающим обществом. Смешивать две эти категории преступников и подвергать убийц и рецидивистов исправительных судов одной общей участи — несправедливость, основанная на заблуждении.

Часть II

1. Классификация преступников

Если предыдущие соображения и сообщения верны, то они позволяют нам внести очень простые элементы в разрешение одной из самых животрепещущих, но всего неудачнее разрешенных новой школой уголовного права проблем: классификации преступников. Дело идет о распределении последних на естественные категории, которые объединяли бы в группы действительно сходных индивидуумов. До сих пор, без сомнения, в силу того предполагаемого принципа, что только сходства органического порядка имеют значение и отодвигают на второй план обобщения социального характера, за основаниями рационального разделения обращались к физиологии, душевной патологии и больше всего психологии. Отсюда, как мы уже видели, многочисленные попытки распределить преступников на преступников-сумасшедших, преступников по темпераменту, по страсти и т.д. Я удивляюсь, что не предложили разделения, основанного на долихоцефалии или брахицефалии преступников, или, согласно анализу Марро, на атавистическом, атипическом или патологическом характере их черепных и телесных аномалий.

Но можно ли представить себе пенитенциарное учреждение, распределяющее заключенных на долихоцефалов или брахицефалов! Однако, говоря правду, амальгама каждого отделения была бы менее пестра, если бы смешаны были между собой преступники по страсти, или все преступники по темпераменту, или даже тогда, когда бы их подразделили сообразно природе их страсти или темперамента и не считались поэтому с различиями по классам и профессиям и происхождением их из деревенской или городской среды. Лучший способ различения, стоявший на первом плане, заключался в том, чтобы делить преступников на случайных и привычных. Здесь уже слегка начинает проявляться социальная точка зрения. Но какой преступ-

ник не сделался таковым случайно, и какое преступление не стремится обыкновенно повторяться в силу привычки, если ему не сопротивляются? Если под случайными преступниками разумеются наименее опасные, то действительность вовсе не соответствует этой гипотезе; потому что самые чудовищные преступники, арестованные и заключенные на всю жизнь за свой первый проступок, совсем не имеют времени для рецидива. Самые неисправимые рецидивисты, самые развратные (читайте «развращенные», потому что в общем плуты, мошенники и мелкие воришки отнюдь не прирожденные преступники) — вовсе не крупные злодеи. Первые представляют одновременно большую опасность и меньшую развращенность[1].

Мы должны исходить из иной точки зрения. Податливая глина наших природных качеств есть лишь материал, форма которого отливается по социальному образцу. Поэтому следует обращать внимание именно на черты сходства в общественной жизни, то есть на черты сходства, общие представителям одного класса, профессии и среды, чтобы соединить в одну группу действительно подобных преступников, не забывая в то же время, что не следует ставить рядом преступления слишком разнородные. Оставив в стороне преступников более или менее ненормальных, не касающихся нас, примем прежде всего довольно резкое разделение, которое всегда и везде делит надвое преступную толпу соответственно природе нарушенных прав: с одной стороны — убийцы и насильники, с другой — воры в широком смысле слова.

Наши статистики, различая преступления против личности и преступления против собственности, только приводят в отвлеченную симметрию эту действительную

---

[1] Преступники, приговоренные к тяжким и позорящим наказаниям, срок которых минимум 5 и максимум 10 лет, в общем, как известно всем знакомым с тюрьмой, менее развратны, чем большая часть приговоренных к исправительным наказаниям, которые, однако, по кодексу не являются ни тяжкими, ни позорящими, и продолжительность которых колеблется между годом с днем и пятью годами.

и всегда живую двойственность. Тем не менее, остережемся преувеличить значение этого различия; им так злоупотребляли наши статистики.

Теперь распределим убийц и воров в отдельности в зависимости от рода их занятий и обычной жизни до их заключения, я хочу сказать, от социальной категории, к которой они принадлежат. Кажется, неудобно ставить здесь определенные разграничения, потому что, само собой разумеется, не может быть вопроса о разделении заключенных на столько классов, сколько существует различных ремесел. Но в то же время бросается в глаза очень важное возражение, и оно заслуживает быть принятым во внимание благодаря главенствующей роли, всегда и везде принадлежащей ему в наших обществах, это — две группы профессий и населения: с одной стороны, профессии земледельческие и население деревенское, с другой — профессии промышленные и купеческие и население городское. Обе эти группы, конечно, взаимно солидарны, и граница между ними точно не определена, но они различаются массой черт: одна так верна привычкам и традициям, другая так открыта соблазнам и новшествам, одна так послушно следует примеру домашних и отечественных предков, другая так поддается чужим влияниям, одна так жестока в споем невежестве, другая так развращена в своей утонченности, что смешивать их непозволительно. Разница эта — такого рода, что слово «профессия» становится двусмысленным, когда одновременно применяется, как мы это только что сделали, к ремеслам, переходящим по наследству в деревнях, и к ремеслам, которые избираются обыкновенно свободно в городах. Теперь одно из двух: или преступник жил честным ремеслом, иным, чем его преступление, к которому он обратился, как делает это большинство воров, судившихся в судах исправительной полиции или даже судом присяжных, как к совершенно побочному способу пополнения ресурсов, а если дело идет о побоях или нанесении ран или об убийстве из мести, то и безо всякой корысти. В этом случае мы отне-

сем преступника согласно его происхождению к преступникам городским или деревенским. Он будет жить, таким образом, с себе подобными, и притом не в физиологическом только отношении, что имеет второстепенное значение, но в социологическом, что гораздо важнее. Общность прежних занятий установит между товарищами по заключению сближение, и оно может оказаться спасительным. Но если между преступниками различных классов единственной общей чертой служит преступление, то чего же ожидать от их соприкосновения? Или же единственным или главным ремеслом заключенного была преступная специальность: мошенничество, подделка монет, воровство с помощью подобранных ключей, убийство богатых проституток, угон скота, как в Сицилии, конокрадство, как в горах Испании, и т.д. Правда, в этом случае также лучше всего помещать их с себе подобными, потому что тогда они уже не могут взаимно портить друг друга, но если хотят, чтобы было именно так, если хотят избежать всякой разнородной смеси и чудовищного смешения корсиканских разбойников, например, с убийцами из больших городов, возмущавшего Lauvergne в каторжной Тулонской тюрьме, то мне кажется возможным установить, по аналогии с предыдущим случаем, разницу между городским и деревенским преступником.

2. Городской и деревенский преступник

Чтобы ясно почувствовать необходимость этого различия, следует представить себе оба эти разряда в их наиболее совершенной и наиболее высокоорганизованной форме. Преступник городской, как и преступник сельский, еще не завершил своего развития, если он не вступил в союз с себе подобными в условиях, благоприятствовавших его прежней свободе. Он всегда стремится к этому виду совершенства, как куски разрезанной змеи стремятся вновь соединиться. Разбойнической шайкой называется профессиональная ассоциация, составленная для убий-

ства ради грабежа, или для грабежа с нередко приводимой в исполнение угрозой смерти, или же для грабежа с решением убить, в случае надобности. Исходя отсюда легко можно увидеть, что существуют два вида разбойничьих шаек: таких, которые встречаются или встречались в большинстве гористых и некультурных стран[1] — в Италии, Испании, Греции, Венгрии, Корсике, и таких, менее романтичных, но не менее опасных, которые свирепствуют в наших больших городах. Первые находятся в упадке, вторые прогрессируют. Я хорошо знаю, что это два проявления одной и той же болезни, и что жажда жить или разбогатеть без труда, таланта и удачи, то есть на счет других, есть общий источник этих злокачественных отложений социального организма. Но корысть деревенского грабителя имеет целью удовлетворение самых простых потребностей, она больше связана с гордостью, чем с тщеславием, с пристрастием к могуществу, приобретаемому терроризированием испуганного воображения населения; городской грабитель, более тщеславный, чем гордый, скорее порочный, чем самолюбивый, стремится лишь к удовлетворению потребности роскоши и оргий, привитой ему цивилизацией. Первый был чаще всего приведен к своему обособленному существованию, к своей окончательной гибели в профессиональной преступности, убийством из мести (de vendetta), как в Корсике, или чувством восстания против жизненных общественных стеснений, как в Сицилии или Калабрии; второй — потерей своего богатства, растраченного разгульной жизнью, ошибкой молодости или необузданной жаждой наслаждений. Интенсивность и упорство жажды мести, злобы или заносчивости у

[1] Во многих странах, в Сицилии, например, горный разбойник может быть противопоставлен разбойнику долин или морского прибрежья: но этот контраст, в сущности, тождествен контрасту между городским и деревенским разбойником, так как долины и побережья в этих странах являются очагами современной цивилизации, по крайней мере относительной. Было время, когда города, наоборот, строились на недосягаемых высотах, а не по берегам моря.

одного, интенсивность и обилие пороков и вожделений у другого были силой, толкавшей на преступление.

Менее замечательной в действительности, хотя и более поразительной на самом деле, чем разница между сельским и городским разбойничеством, является разница между разбойничеством морским и сухопутным. Эта последняя разница, основанная на чисто физическом отличии морей от континентов, вынуждает преступника изменять свои приемы соответственно обстоятельствам, но ничуть не создает между калабрским бандитом и пиратом Средиземного моря особенного социального неравенства. В действительности морской разбойник есть лишь особенная и замечательная разновидность сельского разбойника. Следует отметить, что разбойничество на суше появилось ранее морского и пережило его. Теперь на европейских морях пиратство уже прекратилось, но шайки грабителей еще существуют в наших городах и деревнях. Тем не менее, пиратство процветало и после того, как преступные ассоциации переселялись на континент; как было в древности, когда Помпей должен был снарядить настоящую экспедицию против корсаров, или в Средние века, когда, например (XI в.), богомольцы предпочитали из боязни пиратов сухопутный способ передвижения в Иерусалим морскому, так и в новое время, до XVIII столетия, морские разбойники Туниса и Алжира захватывали женщин и детей с нашего берега, — всегда и везде, еще долгое время после того, как горы уже были в значительной части очищены от разбойников, а моря — вполне. Почему это? Несомненно, потому, что потребность в спокойной уверенности при путешествиях по сухому пути, столь обычному и крайне необходимому, дала себя чувствовать значительно раньше, чем меньшая потребность обезопасить морское сообщение, и что когда решено было, наконец, принять дорогостоящие меры, необходимые для борьбы с пиратством, то оказалось возможным истребить его совершенно, уничтожить его флоты, порты и арсеналы, а между тем разбойничество в горах, благодаря сво-

им более простым и легче укрываемым орудиям, никогда не могло быть уничтожено совершенно, даже с помощью самой лучшей полиции. Есть и более глубокая причина. Море — территория нейтральная, интернациональная: никакой король, никакое государство не заинтересованы лично и исключительно в обеспечении безопасности путешествий по морю, и нападения корсаров считались профессиональным риском, на который мореплаватели не имеют права никому жаловаться. Пираты делают много зла, столько же, если не больше, сколько и горные разбойники, но они вызывают меньше негодования, потому что в общем они принадлежат к другой национальности, к другой религии, к другому социальному положению, чем их жертва. Наоборот, горные разбойники и их жертвы бывают обыкновенно соотечественниками и единоверцами. Таким образом, борьба коммерческого судна с судном пиратов имеет отчасти вид обыкновенной войны: отсюда и этот воинственный характер, сохраненный морской торговлей после того, как сухопутная его уже утратила. Но вернемся к нашему предыдущему различию и будем продолжать его проверку.

Посмотрим, например, как делаются разбойниками в Корсике.

Начинают с того, что делаются бандитами. Бандитство там всеми, даже властями, — признанный образ жизни, никого не лишающий уважения. Корсиканец, отомстив за себя, уходит, чтобы ускользнуть от жандармов, в дебри гор, с ружьем на перевязи, один или сопровождаемый родственниками, и его жизнь проходит с этих пор в блужданиях по пустыне. Он терпит голод и холод, спит тревожно и под открытым небом или в пещере. Но «пока он не сделался грабителем, бандит сохраняет к себе все симпатии», — говорит Paul Bourde. Но зачастую он им делается. Нужно же есть и пить в этих бесплодных местах: начинают с вымогательства у путешественников, чтобы достать на прожитие; кончают вымогательством, чтобы разбогатеть.

Во все времена одни и те же причины вели за собой одни и те же следствия. В Англии, например, постановления Эдуарда I и Эдуарда III обнаруживают существование в XIII и XIV веках настоящих организованных разбойничьих шаек, называвшихся Wastours или Robertsmen, против которых оказалось необходимым издать настоящий закон о подозрительных личностях. Но каким образом составлялись эти ужасные корпорации? Разумеется, среди бродяг и нищих той эпохи, среди лжебогомольцев, лжедоминиканцев, продавцов поддельных реликвий, подозрительных менестрелей, которые кишели по дорогам того времени, как наши современные мошенники, мнимые безработные, разносчики, но прежде всего среди так называемых outlaws. Крестьянин, осужденный за самое легкое преступление, обращался в бегство; он делался благодаря этому поступку outlaw, в глазах же закона он был лишь волчьей головой, «которую хорошо бы затравить», как энергично гласит текст: таковы были отчаянные, но вовсе не прирожденные развратники, которыми поддерживалось английское грабительство, и которые были также солдатами во время восстания 1381 года. Иногда же корсиканец или сицилианец делается разбойником, чтобы избежать своей жалкой участи и создать себе общественное положение, более высокое, по его мнению, чем он заслуживает по происхождению. Существует и преступная аристократия в этой стране традиционных vendetta и Мафия. «Средство заставить уважать себя в лучшей масти Сицилии — это считаться совершителем какого-нибудь убийства», — говорит Франчетти[1].

Какой-нибудь крестьянин, третируемый свысока управляющим его соседа, крупного собственника, не может противиться искушению совершить маленький под-

---

[1] Это сообщается Alongi в его интересной монографии о Маффиа, откуда нам придется еще черпать много других сведений; Alongi — сицилианец, и его судебная деятельность дала ему возможность близко познакомиться с особенностями нравов большого преступного класса, описываемого им с величайшей проницательностью.

виг, чтобы заслужить отношение, требуемое его гордостью, неизмеримою гордостью, характерной для этих островитян. Его честолюбие состоит в том, чтобы сделаться capo banda (главой шайки) и ужасом для тех, кто его презирал. Но и городским разбойником сделаться не так легко; для этого нужна более ранняя подготовка, рано начатое обучение на глазах опытных патронов. Так и бывает с заброшенными детьми или с такими, за которыми плохо смотрели родители. Но иногда достаточно бывает отчаяния, причиненного последствиями разврата или игры, какой-нибудь финансовой катастрофой, чтобы цивилизованный француз был выброшен за борт и стал в положение изгоя.

Таким образом, заброшенность детей и их неопределенное общественное положение или, другими словами, бродяжничество во всех его видах является городским эквивалентом бандитства. В кафе — притонах убийц и воров, говорящих на своем наречии, беспрестанно обновляющемся в наших столицах, оно является тем же, чем бандитство в тавернах убийц и воров, говорящих на своем простонародном наречии, наследственном и неизменном в горах Корсики. Когда замечается, что в округе Артены[1] еще лет двадцать тому назад начало увеличиваться число бандитов — личностей, которые, отомстив за себя, или собираясь отомстить, или с целью избежать мести врага бродят без крона и пристанища в лесах, вне закона, то не удивительно, что стали учащаться случаи нападения на экипажи на больших дорогах.

Точно так же, когда наши статистики обнаруживают непрерывный рост преступления, бродяжничества и нищенства заброшенных детей, то нечего удивляться при конста-

---

[1] См.: «En Corse» Paul Bourde. Эта южная и самая отсталая часть Корсики, где больше всего укоренились старые обычаи не потому, что она самая южная, а потому, что она наиболее удалена от континента. То же самое и на тех же основаниях можно сказать о юге Сицилии. Мне кажется это очевидным, хотя итальянские криминалисты не устояли против желания приписать здесь главную роль влиянию климата и широты.

тировании роста числа ночных нападений, вооруженных краж или краж со взломом, совершаемых в Париже, Марселе, Лионе и значительной части больших городов.

Не менее справедливо и то, что следует остерегаться смешивать убийство из мести там, где оно совершается по долгу чести, с убийством из корысти; в первобытных странах они так же далеки друг от друга, как адюльтер и распутство с одной стороны и воровство — с другой в странах передовых. «По поводу спорного бюллетеня на выборах 13 января 1888 года в Сан Гавино в Гарбини некто Николи убил Петри, бывшего президентом бюро. Следствием этого была vendetta между двумя семьями. Трое Николи и один Петри были убиты один за другим. Двадцать членов обеих семей приняли в vendetta участие, и грозили совершиться другие убийства. Сюда вмешались префект и один из депутатов и заставили обе семьи подписать настоящий мирный трактат, сходный с дипломатическими актами этого рода. Но так как было убито всего двое Петри, то Николи сочли справедливым нарушить договор, чтобы завершить расплату. Как и подобало, был убит третий Петри. И вслед за этим с обеих сторон пошли новые убийства». Можно ли действительно сравнивать такие преступления с преступлениями наших парижских убийц и смешивать их в одну массу, как это делают наши статистики? Там, где семейные устои сохранили свою прежнюю силу, мстить за убитого родственника — все равно что защищать живых членов своей семьи, или самому защищаться против смертельного нападения, и оправдание vendetta действительно имеет некоторое отношение к оправданию необходимой обороны. Между убийством по обычаю, которое называют vendetta, или дуэлью (потому что vendetta, в сущности, как кто-то совершенно справедливо заметил, «та же американская дуэль, продолжающаяся целые годы»), и преступным убийством общего есть только название. Точно так же самоубийство китайца или японца из мести, или самоубийство римлянина из стоицизма или иногда из эпикуреизма, или самоубийство ин-

дуса из благочестия, не говоря уже о героических и легендарных самоубийствах каких-нибудь Кодров и Дециев, не имеют ничего общего с нашим самоубийством от отчаяния или сумасшествия. Нужно ли говорить, что нравственный и физический тип разбойника — пещерного жителя должен резко отличаться от типа парижского или лондонского мошенника?

Можно a priori утверждать это с полной уверенностью. Их образ жизни не менее различен. Первый живописен совсем в ином роде, чем второй: нисколько не стараясь скрываться, он носит, или, по крайней мере, носил в дни своего блестящего прошлого, своеобразный костюм. Мафиози в Сицилии носили когда-то традиционную форму и гордились ею, как наши офицеры гордятся своими эполетами: берет с большим шелковым помпоном и бархатную куртку. С сожалением они были принуждены отказаться от этого компрометирующего их отличия. У них нет обычного наречия преступника, а есть только особенный лаконизм и характерные ударения. Это непонятно, скажу в скобках, если считать argot проявлением атавизма; потому что, не правда ли, приняв эту гипотезу, не должны ли мы были бы рассчитывать встретить процветание его именно в среде самых первобытных, наименее цивилизованных преступников — в противоположность тому, что приходится наблюдать на самом деле? В этом и во многих других отношениях представитель городской преступности разнится от своих коллег, живущих в горах и пустынях; он говорит на особом наречии, представляющем собой смесь исковерканных языков; он скрывается, наряженный то в разноцветные костюмы, то в самое обыкновенное платье; он устраивает свои тайные собрания не в расселинах утесов, а, как мы уже говорили, в подозрительных кафе и ресторанах. Человек прогресса, он знаком с разделением труда. У него, как мы увидим дальше, есть своя специальность, в то время как деревенский разбойник, как и все деревенские рабочие, должен уметь

понемногу делать все, но с помощью простых приемов, так не похожих на сложные ухищрения его городского соперника. Впрочем, в летописях всех народов, и особенно в Италии, бесхитростному грабителю отводится гораздо более блестящее место, чем грабителю утонченному. Первый играл историческую роль, короли и императоры не гнушались заключать с ним договоры[1], искать в нем опоры, как это делал, например, неаполитанский король Фердинанд во время французской революции. Второй до сих пор имел на своей стороне только союз заговорщиков. Предстоит ли ему видеть свое значение настолько увеличившимся, что он затмит своих собратьев из Сьерры и Аппенин? Я не знаю этого. Новейшие властолюбцы до сих пор решались опираться только на современные пороки; однако нельзя быть уверенным, что они никогда не обратятся за помощью к современным преступлениям.

Преступление всегда готово восстановить свое прежнее могущество и при малейшем колебании сдерживающей его плотины грозит выйти из берегов. Нужно бороться с ним, организуя действующие отряды против преступных шаек, по образцу этих же шаек; и так как naturam morborum ostendunt remedia, то естественно, что уже с давнего времени было произведено разделение этих отрядов жандармерии и полиции на отделы различных наименований соответственно двум формам грабительства: городской и сельской. Но представьте себе лучший отряд корсиканской жандармерии перенесенным в Париж и обязанным исполнять должность отряда агентов охранной полиции и наоборот. Оторванный от почвы, каждый из этих отрядов будет до смешного беспомощен.

---

[1] Найден был счет сумм, уплаченных Советом Десяти многочисленным наемным убийцам в вознаграждение за назначенные убийства. Число убийств по поручению огромно в Средние века и в древности и еще больше в XVI столетии, во время ужасных религиозных войн. Но здесь принцы и республики пользовались преступником, как полезным орудием. В других случаях, которые я и имею в виду, они договаривались с ним и обращались с ним как равные с равным.

Половина силы жандарма заключается в традиционном страхе перед его перевязью и треуголкой, как половина силы горного разбойника заключалась когда-то в ужасе, который внушал уже один вид его костюма, одно выслушивание его распоряжений и его угроз в освященных обычаями формулах. Жандарм, как и разбойник горный или лесной, — человек традиции или легенды; в этом заключается его престиж. «Замечательная вещь, — говорит Alongi, — эта поспешность, неизменное послушание, с каким шесть или семь даже вооруженных людей бросаются лицом на землю по первой традиционной команде (Giorgio, â terra!) простого бродяги». Точно так же сотни раз наблюдалось магическое действие, производимое на возбужденную толпу появлением двух конных жандармов. Что же касается полицейского сыщика, — которого не надо смешивать с простым охранителем порядка в его известном форменном платье, — то ему нет надобности показываться с каким-нибудь отличием в одежде; он пробирается всюду, одетый как и все, иногда переодетый какнибудь, такой же лукавый и такой же двуличный, как его добыча. Утверждают, что всякий охотник начинает в конце концов походить на свою дичь. Если это так, то следует верить и тому, что городской преступник в утонченности, ловкости, хитрости и особенно личной инициативе и силе воображения значительно превосходит преступника деревенского. Жандарм, подобно рыбаку, может позволить себе постоянно пользоваться одними и теми же приемами розыска; их всегда совершенно достаточно, потому что они противопоставляются совсем не изменяющимся маневрам. Чем больше он сумеет примениться к этим твердо установившимся и в этом отношении выдающимся обычаям, тем лучше он исполнит свое назначение. Но хороший сыщик ценится только по неистощимому богатству изобретательности.

Значение сыскной полиции не перестает увеличиваться и теперь, в то время как роль жандармерии, по крайней мере как вспомогательного органа уголовной юсти-

ции (потому что к ее функциям присоединяется еще масса обязанностей административного характера, все больше и больше захватывающих ее), с каждым днем падает[1].

Это естественно, потому что, как известно, преступность вместе с населением эмигрирует теперь из деревень в города. В общем это эмиграционное сельское движение как периодическое явление в жизни обществ обозначает чрезвычайное скопление новых, самостоятельно появившихся на месте или принесенных извне изобретений и идей, заставивших сотни источников новых примеров забить ключом в лоне городов и вскоре превратиться в богатые ручьи и реки. В этом случае подражание моде (imitation mode), если мне позволят назвать так подражание новым образцам, каждый день пробивает все более широкие бреши в подражании обычаю (imitation coutume), до тех пор (это время еще не наступило для нас), пока последний не поглотит наконец и не подчинит себе эти течения примеров, ставших в свою очередь традиционными, приблизительно так же, как море поглощает потоки воды. В ожидании этого неизбежного ослабления лихорадки прогресса или, если угодно, этого укрепления прогресса при помощи восстановления расширившейся традиции еще будут счастливые дни для преступления при условии, что оно само трансформируется по примеру всеобщей, совершающейся теперь трансформации. Как во всех отраслях промышленности и во всех направлениях искусства и мысли, престиж новизны замещает престиж старины, как при введении новых инструментов все ремесла начинают избираться более по свободному желанию, чем переда-

[1] Дифференциация жандармерии и полиции совершается лишь постепенно, но неизбежно; и подобно тому, как развитие сельской жизни предшествовало развитию городской, организация жандармерии или отряда, исполняющего ее должность (объездная команда при старом режиме), предшествует развитию сыскной полиции. Сыскная полиция была как следует организована лишь де Сартэном в середине XVIII столетия; объездная команда при Людовике XI исполняла функции превотального суда, преимущественно над крестьянами.

ваться по наследству, и при выборе ремесленников начинают отдавать предпочтение чужеземцам перед соотечественниками, точно так же и преступная профессия сообразуется с новыми модами вроде разрезания на куски жертв или обезображивания их купоросом и гостеприимно открывает двери всякому пришельцу. Другими словами, она становится все меньше и меньше сельской и все больше и больше городской. Шайка корсиканских разбойников неохотно принимает в свою среду некорсиканца; шайка сицилийских разбойников с незапамятных времен практикует одни и те же способы устрашения и разорения: lettera di scrocco (подметные письма), abigeato (угон скота), лишение свободы (чтобы взять выкуп за пленника) и т.д. Но шайка парижских мошенников собирает проходимцев всех стран; она настолько же космополитична, насколько и прогрессивна, и ее уловки изменяются так же, как и ее состав.

3. Мафия и другие преступные сообщества

Чтобы проверить точность этих наблюдений, необходимо привести несколько примеров. Так как мы говорили только что о Сицилии, то познакомим читателя с ее Мафия, но не с неаполитанской camorra, уже слишком отличающейся городским характером, чтобы служить хорошим образчиком сельской преступности.

Параллельно с этой свойственной отечеству Феокрита преступностью мы в нескольких словах обрисуем образчики городской преступности. Как здесь, так и там мы сошлемся на сведения, собранные писателями, близко знакомыми по должности судей или высших полицейских чиновников с преступниками их родины благодаря постоянной борьбе с ними. Преступника уже слишком много изучали в тюрьме, но недостаточно наблюдали за ним на свободе, в деле. Кто видел льва и лисицу только в зверинце, тот почти не знает их. Анатомия и краниометрия льва может интересовать натуралиста, но самый безыскусственный рассказ африканского охотника гораздо

лучше знакомит простого смертного с природой этого величественного животного. Леруа лучше, чем кабинетный ученый, знакомит нас с животными, на которых он охотился. Точно так же, чтобы познакомиться с преступником, следует читать воспоминания сыщиков, префектов полиции или судей, на обязанности которых лежит преследование преступлений. Тогда по сходству приемов у преступников одной и той же страны и эпохи, но местной и исторической окраске преступной фауны, свойственной известному времени и месту, можно будет заметить, что в появлении преступления и преступника главную роль играют социальные факторы. Преступник подражает другим всегда, даже тогда, когда он изобретает, то есть с пользой для себя комбинирует подражания различного происхождения; он всегда чувствует потребность во вдохновении примером и одобрением группы людей, будь то группа предков или товарищей, откуда и вытекает двойственность преступления-обычая и преступления-моды. Здесь главным образом преступник и выступает как существо общественное; он принадлежит к обществу, и, как таковой, он ответствен. Сумасшедший, напротив, не подражает ни сумасшедшим и никому другому. Между актами безумия, совершаемыми различными сумасшедшими, может существовать сходство, но все-таки оно всегда меньше, чем сходство между однородными преступлениями, и никогда не бывает следствием подражания. Попробуйте также классифицировать сумасшедших на две категории, соответствующие нашему распределению преступников; вам это не удастся. Проявления умственного расстройства более других подвержены изменениям в зависимости от индивидуума, хотя в одном и том же индивидууме они повторяются в одной и той же форме. Можно, если угодно, называть «привычкой» это постоянно тождественное повторение, но она не будет иметь ничего общего с привычкой воровать по способу vol à la tire, например, или vol au poivrier. Ворующий по первому способу более или менее сознательно подражает самому себе в каждом новом

воровстве, подражая в то же время более или менее сознательно и другим и пользуясь каждый раз опытом, приобретенным его товарищами или им самим. Сумасшедший, который ежечасно, ежедневно и ежемесячно воспроизводит свои выходки, подчиняется органическому импульсу, просто физиологической и ничуть не психологической привычке, чаще всего без малейшего воспоминания о своих прежних, походящих друг на друга странностях. Во всяком случае, если можно с точностью сказать, что существует привычное безумие une folie habituelle, то ни обычного, ни традиционного безумия — une folie coutumiére ou traditionelle — не существует наверное, потому что применять название обычая и традиции к религиозным галлюцинациям, например, или к припадкам бешенства значило бы то же, что принимать изменчивый и чисто поверхностный отблеск какой-нибудь материи за ее настоящий и постоянный цвет. Было бы не менее ошибочно сравнивать перемежающиеся эпидемии безумия с преступными заразами, распространяющимися в известные времена, как мимолетная мода. Последние, оставаясь все-таки подражаниями, часто наблюдаются среди индивидуумов, отделенных друг от друга большим расстоянием; термин «зараза» — contagion, напоминающий понятие прикосновения — contact, подходит к ним только метафорически. Но эпидемии безумия как явления прежде всего патологические требуют физического сближения субъектов, задетых этим бичом[1].

Эпидемии безумия обычно свирепствуют в узких и замкнутых стенах монастырей.

Покончив с этим, вернемся к нашей теме. Мафия в Сицилии — то же самое, что клан в Корсике, только в более широком виде. Члены одного и того же клана вступа-

---

[1] Криминалисты-психиатры думали, что между периодическими припадками помешательства и хроническим помешательством существует такая же разница, как между преступностью случайной и привычной. Но эта кажущаяся аналогия не выдерживает критики.

ют в соглашение с тем, чтобы всеми законными или преступными, мирными или кровавыми путями, безразлично, захватить все избирательные должности, овладеть suqillo (печатью мэрии) и пускать в ход в свою пользу всяческие притеснения против враждебного класса. Мафиози преследуют ту же цель против всех, кто не примыкает к их ассоциации. Аналогичные политические условия, продолжительное отсутствие внушающей доверие, твердой и справедливой власти развили на обоих островах потребность солидарности per fas et nefas, этого ярого франкмасонства, где каждый из его сочленов черпает ту спокойную уверенность в себе, которой он не нашел бы больше нигде. Не будем этому удивляться; это исключительное в наше время явление было некогда повсеместным, и Корсика, как и Сицилия, в качестве остатков средних веков, заботливо хранимых Средиземным морем нам в поучение, могут осведомить нас о нашем прошлом; мне кажется, что я имею право видеть здесь подтверждение известных отдельных воззрений на подражание. Разве не царил когда-то дух клана на всем континенте, поддерживая обособленность каждого поселка, каждого кастелянского округа? Если же он постепенно заменился более широкими воззрениями, то не произошло ли это лишь в той мере, в какой разные племена ассимилировались друг с другом при посредстве продолжительного обмена всякого рода примеров? И не объясняется ли таким образом то, что, оставшись чуждыми этой непрерывной взаимности влияний, подобно тому, как озера не испытывают на себе влияния морских приливов, Корсика и Сицилия сохранили оригинальную исключительность и невосприимчивость их нравственного чувства, такую странную на наш взгляд?

Разбойничество, впрочем, — только одно из проявлений или, лучше сказать, наростов Мафия, но Мафия пользуется им и дает для него средства, являясь его силой и получая взамен известный доход. Такие же связи установились между кланом и разбойниками или бандитами, которые к нему принадлежат. Наблюдалось и наблюдается

еще до сих пор, что муниципальные советы вотируют ренты бандитам преобладающего клана. И действительно, народное чувство дает известное назначение этим кочевникам, преобразившимся в паладинов: убийца является чем-то вроде судьи. При помощи его, за неимением лучшего, творится правосудие. За последние годы известной стала шайка, вынудившая мэра Сартэнского округа упорядочить свои отношения с его прежней любовницей, на которой он отказывался жениться. В 1886 году другая шайка заставила жандармскую полицию помешать одной дуэли состояться у ворот Джаккио. То же самое происходит и в Сицилии.

Следует ли видеть в сицилианском грабителе прирожденного преступника? Префект Мессины ответит нам следующее.

«Все эти люди, — говорит он, рассказывая о земледельцах, ставших преступниками, — скромны, кротки по природе, с большим почтением относятся к буржуазии; они никогда не казались бы способными на преступления, если бы не были обязаны служить мрачным интригам, тайной мести и соперничеству каких-нибудь привилегированных лиц, которым они служили наемными убийцами». Нужно отметить, что атаманы разбойников, «от дона Пеппино до Реджио и от дона Паскаля до Райя», вышли из класса крестьян. Здесь, значит, дело касается преимущественно сельского грабителя; прежняя Сицилия, как и Корсика (наперекор презрению корсиканцев к полевым работам), — страна главным образом земледельческая, усеянная небольшими деревнями. Для Мафиози местом свиданий служат ярмарки. Скажем ли мы вместе с писателями-социалистами, что бедность была социальной причиной, заставившей сицилианского крестьянина стать грабителем? Алонги начинает с того, что допускает это, но он скоро вслед за этим сильно затрудняется объяснить быстрый прогресс Мафия, правда, в городской и рафинированной форме, в Палермо и его окрестностях,

в этой «Золотой раковине», стране сказочно богатой и плодородной, где так мало обездоленных и так зажиточен земледелец. Дело в том, что сицилианский крестьянин, все равно — богат он или беден, в высшей степени тщеславен; если он богат, то он спешит разориться тратами на роскошь, пиры, красивую одежду[1], чтобы соперничать с высшими классами, а разорившись, он поневоле делается maffioso уже добровольно, чтобы стать выше своего положения[2].

Безо всякого основания, в один прекрасный день, «почувствовав, что ему надоело его тоскливое существование», он одевается в костюм разбойника и после торжественного посвящения, окруженный собранием родственников и друзей, он с оружием и багажом переходит в лагерь бродяг. Впрочем, он рано выучился носить оружие. В Палермо, в Bagheria и в южной Италии крестьянин возвращается с поля неизменно с заступом под мышкой, с ружьем на перевязи и с ножом, который он хладнокровно вонзает в свои жертвы. «Не одалживают ни ружья, ни жены», говорит сицилианская пословица. Еще аналогия с Корсикой. Крестьянин всегда переживает разбойника. Никогда сицилианский разбойник не умрет вне своего ок-

---

[1] И на сласти также. «Каждый праздник, каждый святой имеет свою специальную конфету, и можно было бы составить календарь из разных конфет».

[2] Эта гордость или, если хотите, тщеславие может быть источником как героизма, так и преступления. Но известно, что такая «уверенность в себе» — один из примитивных недостатков, наименее благоприятствующих цивилизующим идеям. «Сицилианец любит свой остров, палермец обожает Палермо, всякий обитатель маленькой деревушки испытывает то же пристрастие к четырем стенам, в которых он родился и вырос. Сицилианец не говорит мой отец, моя мать, но — отец, мать, точно они прежде всего отец и мать. Он делает вид, что его ничто не удивляет». Это «заметно больше внутри страны и в маленьких местечках и меньше в цивилизованных классах Палермо и крупных центрах». Сицилианец, как и корсиканец, бывает до излишества гостеприимен и великодушен, но главным образом из тщеславия. Жертва грабежа в Сицилии гораздо больше чувствительна к унижению быть обманутой, чем к понесенным убыткам.

руга; тоска по родине наперекор самым серьезным опасностям приведет его в землю отцов.

Мы говорили выше, что обычные приемы деревенских разбойников в Сицилии — это lettera di scrocco, abigeato и лишение свободы с целью получить выкуп за пленника; прибавим сюда еще grassazione, то есть вооруженный грабеж на больших дорогах, захват экипажей. Эти приемы не только традиционны, но иногда и наследственны: достоинство capo banda, как монархическая корона, передавалось, как говорят наблюдения, по наследству. Крупный собственник, проживающий на своих землях, получает и один прекрасный день письмо, настолько почтительное, насколько это только возможно, где умоляют Его Сиятельство, Illustrissime Seigneurie, оказать честным людям в нужде маленькую помощь в две, три, четыре тысячи лир, если оно не хочет, чтобы постигли его неприятности. Это называется lettera di scrocco. Если просьба остается без ответа, то следующее письмо уже более настойчиво. Наконец, третье гласит кратко: «Платите, или Вы будете убиты». Через несколько дней угроза исполнена: упрямец убит или захвачен в плен. В последнем случае, застигнутый врасплох и переправленный ночью в какой-нибудь вертеп, он остается там, окруженный подобающим уходом, до тех пор, пока семья его не решит его выкупить за огромную сумму. Abigeato, угон больших стад, пасущихся на обширных пастбищах, — вид грабежа, идущий, по крайней мере, от Какуса, исполинского пещерного жителя, мифологического разбойника и похитителя телиц Геркулеса. Приручение животных было одной из первых, наиболее плодотворных форм гения изобретательности, и домашние животные долго были главным богатством и потому предметом самых пылких вожделений[1].

---

[1] В своих глубоких изысканиях по юридической археологии Sumner-Maine отметил это главным образом в своем труде «Institutions primitires». Он указывает в нем, в нем, что в начале истории некоторых народов всегда можно найти стадию, характеризующуюся обилием земли и небольшим количеством скота: тогда высокое положение

На обладателя больших стад в течение нескольких веков смотрели, как смотрят теперь на современного капиталиста, то есть как на человека, которого более чем кого другого желательно было бы обокрасть. Когда кассир скрывается, захватив один или дна миллиона, его не считают заурядным вором. В первобытные времена угонявший скот внушал к себе аналогичное же уважение. «Когда один из сыновей Атгилы хотел устроить себе небольшое королевство, он собрал, — говорит Jornandés, — угонщиков скота Скамаров и грабителей со всех стран и занял башню под названием Герта». Там, «разоряя своих соседей по способу деревенских воров, он провозгласил себя королем послушных ему злодеев». Этот дерзкий грабеж еще в древности укоренился в Италии. В XIII веке в окрестностях Флоренции богатые contadini (крестьяне) присоединялись к дворянам, чтобы украсть свинью у соседа. Есть племена, даже народы, посвятившие себя специально этому роду грабежа. В Испании цыгане с незапамятных времен занимаются конокрадством; расположившись лагерем в горах, среди развалин феодального замка, иногда среди четырех столбов старинной виселицы, где повешены были многие из их предков, несомненно, за те же преступления, они подстерегают лошадей или мулов, чтобы украсть их; они очень ловки в искусстве изменять после кражи вид этих животных и делают их неузнаваемыми даже для их хозяина. Однако за неимением этих животных, наиболее ценных, они довольствуются иногда захватом мимоходом свиньи. Но довольно доказывать почтенную древность этого первобытного преступления.

Как пример древнего и традиционного преступления можно привести еще выделку фальшивых монет. Общества фальшивомонетчиков населяют пещеры Пиренеев, по крайней мере, кажется, по склонам испанских гор. Gil

---

в обществе обусловливается обладанием большими стадами. Отсюда много особенностей, свойственных древнему ирландскому, индусскому или римскому праву.

Maestre сообщает нам, что он бродил «в течение долгих ночных часов» вокруг их вертепов и часто слышал разговоры, женский смех; «все это сопровождалось короткими, сухими и равномерными ударами молотков». Но от этого преступления отдает культурой и городом.

Есть действительно переходные степени между городским и сельским грабительством[1]; сама Мафия служит этому доказательством. В том виде, как мы ее только что описали, она понемногу исчезает с 1877 года благодаря энергичной репрессии итальянского правительства; но, как бы в отместку, она растет в своих юродских формах. Спускаясь с гор к побережьям, она изменяет свой характер; в горах, в своей первобытной форме, Мафия просто груба; по морским побережьям и в городах она, может быть, более кровожадна, но, главное, более коварна и утонченна, ее организация совершенствуется, ее орудия обновляются. Рабочий класс начинает присоединяться к Мафия. Рабочие ассоциации уже всегда обязываются в их статутах (что иногда подразумевается, а иногда выражается вполне ясно) запастись адвокатом-сочлениом «на случай, когда кто-либо будет обвиняться в каком-нибудь преступлении», и вместе с тем обязываются поддерживать семью осужденного во время его заточения.

Таким образом формируются преступные общества (последняя форма Мафия), опутывающие своими нитями

---

[1] Наш век хорошо их знает, потому что введением железных дорог он дал наиболее решительный толчок городской трансформации преступности. Нельзя остановить поезд, как останавливали когда-то дилижанс. До 1849 или 1850 года последние привлекавшие к себе внимание шайки преступников носили несомненно сельский характер: шайка chauffeurs в конце последнего столетия, венские грабители в 1834 году и т.д. В 1857 году к шайке Графт примешались уже промышленные элементы. С тех пор знаменитые шайки основались в больших городах, например в Париже шайка Vrignault в 1876 году (150 сочленов), шайка Abadie в 1878 году, шайка Булонского леса в 1880 году и т.д. Я не говорю уже о маленьких, постоянно возрождающихся шайках фальшивомонетчиков.

одновременно и земледелие, и промышленность, они делаются господами полей и города, обирают, с одной стороны, собственников, но более искусно, чем прежде[1], с другой стороны, пользуются кредитом, повышают и понижают по своему усмотрению цены на места на Палермской площади, на отдачу с торгов общественных работ или секуляризованных церковных имуществ. Эти общества можно рассматривать как синтез двух видов грабительства, сравниваемых нами, или как нечто вроде перехода от одного вида к другому. Они носят привлекательные названия — fratellenza, fratuzzio, amoroso и т.д.

От этой смешанной формы я перехожу к чистой и полной форме городского, централизованного и могущественного разбойничества, поднявшегося на высоту учреждения, достойного стать наряду с сельской haute pègre, только что нами описанной. Обстоятельства, аналогичные тем, которые, как мы видели, породили Мафия в деревнях Сицилии, ведут к возникновению время от времени в самом сердце цивилизации, в столицах, какой-нибудь страшной секты, ужасающей весь мир и наводящей такой страх даже на историка, что чаще всего он, обладая не меньшей смелостью, чем Тэн и Максим Дюкамп, не осмеливается говорить того, что думает. Когда правильная власть в большом городе вдруг ослабевает или опускается или, наоборот, когда чрезмерный деспотизм вызывает восстание, каждый гражданин, не смея рассчитывать на охранительный авторитет, ищет опоры в партии. Отсюда клубы и тайные общества, заметно размножающиеся; самый жестокий из этих клубов, самое опасное из этих об-

[1] Глава шайки находит помещика и говорит ему очень почтительно, что его полевой сторож плох, что нужно его сменить и взять другого, причем имеет в виду своего сочлена, которому предполагается доставить выгодное назначение. Помещик покоряется или, если он протестует, он находит в своем опустошенном фруктовом саду крест — символическая угроза, которой он не заставит повторить. Нужно заметить, что тот же угрожающий символ употреблялся некогда шайкой Sainte-Vehme и теперь еще употребляется корсиканскими бандитами.

ществ не замедлит заглушить и уничтожить все остальное своей относительной силой, и вскоре, какова бы ни была первоначальная честность и возвышенность его цели, привлекает к себе преступные натуры, которые увлекаются им; это презренные негодяи, те же тигры или гиены, но нового и более сложного вида. Так появилась и распространилась секта Maillotins, Ecorcheurs или Cabochiens во время анархии Столетней войны, заговор якобинцев в начале французской революции, Парижская коммуна в 1871 году или еще более недавно заговор нигилистов[1]. Зло носит здесь признаки эпидемии, но не местного заболевания; оно мимоходом опустошает целую обширную территорию вместо того, чтобы с веками укореняться в тесном районе. Это мода, а не обычай. Преступники, которые делаются главарями этих исторических шаек, не земледельцы, но ремесленники, лавочники, риторы, комедианты, артисты. Они не привязаны к родной почве, и не к родному очагу они возвращаются умирать; большинство из них чужеземцы и космополиты. Они практикуют не разбой — grassazione, но опустошение общественных касс; не lettera di scrocco, но противозаконные поборы, проскрипции и законы о подозрительных личностях; не abigeato, но массовую конфискацию имений, многообразные формы ограбления противника; не заключение в гроте или убийство человека, но заполнение тюрем, расстреливание, потопление, уничтожение известного класса на гильотине, взрывы динамита; не поджог амбара или потраву жатвы, но поджог и разграбление дворцов. И эти приемы они меняют беспрестанно, применяя их к господствующему вкусу, с богатством воображения, которое заставляет сельских разбойников краснеть за свою многовековую рутину. Но нужно признать, что у них есть общая черта с последними, весьма замечательная: с их именами связаны известные народные легенды. Самый жестокий, самый лукавый и хищный грабитель по большим дорогам, какой-

---

[1] В древности заговор Катилины имел ту же окраску.

нибудь Антонино Леоне или ди Паскати[1] может встретить свой портрет, пользующийся большим уважением, на стене в хижинах Сицилии; бюсты Марата, Геберта, Робеспьера и др. красуются на почетных местах во многих рабочих кабинетах.

Стоит отметить и другую сходную черту: сельский грабитель был бы невозможен без многочисленных прямых и косвенных соучастников, действующих или только молчаливых, которые расчищают ему путь. В Сицилии это соучастие в какой бы то ни было степени называется manutengolismo (буквально — держание руки того-то), начиная с лжесвидетеля, который из страха молчит о преступлении, совершившемся на его глазах, до утайщика, который действует из корысти. А какую роль играет этот двойной manutengolismo в наших больших городах, терроризованных горстью мятежников!

Но в обыкновенное время полиция мешает городскому грабительству выступить с победоносным видом на сцену истории. Она противодействует его организации, его завоевательной централизации и рассеивает его, если не уничтожает. Таким образом, цивилизация заменяет крупный преступный промысел мелким, как бы в противоположность тем видоизменениям, которым подвергается частная промышленность. При невозможности объединиться в большом числе для совершения деяний, несущих с собой славу, озлобленным и выброшенным за борт общественных классов негодяям не остается ничего другого, как втихомолку подготовлять какое-нибудь обычное преступление в сообществе с двумя-тремя товарищами или учениками, или устроить какое-нибудь грязное шантажное агентство, игорный дом, какую-нибудь махинацию для эксплуатирования публики. И в том, и в другом случае они часто избегают преследований при помощи вариаций своей изобретательности; это не значит, чтобы они лично

[1] Нельзя не заметить, что оба эти грабителя-предводителя бывших шаек стали врагами, и первый кончил тем, что убил второго.

были особенно изобретательны, но, находясь в хороших условиях для того, чтобы быть в курсе мошеннических и хитроумных нововведений, они спешат ими воспользоваться. Далее, до сих пор вопрос шел о сельском грабительстве высшего сорта, о таком, которое не останавливается перед всяким убийством, поджогом и грабежом. Но есть еще сельское грабительство мелкого калибра, куда относятся не менее традиционные привычки к мародерству, мелкие кражи кур, хлеба, вина, дров, обычные мошенничества арендаторов, виноделов, подмешивающих вино по обычаю с полным спокойствием совести, и т.д. Этой относительно простительной преступности, низшему виду сельских преступлений, в больших городах соответствует действительно роскошное процветание плутовства, мошенничества, злоупотребления доверием в бесконечно более своеобразных и изменчивых формах. Именно это процветание мелких преступлений, а не серьезность каждого отдельного крупного преступления, составляет особенность крупных центров перед лицом правосудия. Довольно часто эта низшая городская преступность маскируется нищенством. Так было в старом Париже, где мнимые нищие и мнимые расслабленные, настоящие разбойничьи шайки, собирались у себя в своем «волшебном дворце». В Пекине эта опасная организация еще продолжается.

Maurice Jametel (Pékin, 1888) сообщает нам, что нищие образуют там страшную корпорацию; у них есть избранный ими предводитель, общее собрание, они облагают пошлиной лавки, как каморристы в Неаполе.

Бесполезно входить в подробности парижской преступности нашего времени, труды Maxime du Camp, Haussonville, Macé достаточно осведомляют нас по этому поводу. Поговорим, например, о Барселоне, которая, не будучи столицей, может дать лучшее представление о среднем большом городе.

В Испании, как и везде, цивилизация как будто заменила насилие обманом; на самом деле она просто с большей изобретательностью создает новые формы мошен-

ничества, чем направляет насилие по пути прогресса. В малозаселенных диких провинциях господствует еще vendetta и преобладают преступления против личности, но там, где население густо и куда проникли железные дороги, убийства, по словам Gil Maestre, встречаются реже, а посягательства на чужую собственность чаще, но в менее грубых формах. В Барселоне по преимуществу процветают подлоги, обман и мошенничество. Это не значит, что убийства там неизвестны; там сильный страх наводит abracador, этот убийца, который, как пантера, бросается на свою жертву и душит ее. Он — герой своего круга; его будут воспевать слепцы, если он, на его несчастье, попадется. Minador'u почти так же страшны. Их специальность — входить в дома по подземным галереям; они действуют методически, стратегически, наняв сначала погреб или магазин рядом с домом, куда они хотят проникнуть, и скрыв за кусты или за наполненные землей бочки вход в их подкоп. Элегантные — в течение дня, вечером — одетые землекопами, они должны собираться в числе по крайней мере четырех для устройства своих трудных туннелей под управлением одного из них, выполняющего обязанности инженера. У барселонских преступников есть, впрочем, свои места для сборищ и свои тайные собрания. Их девиз: «Хлеба и быков». Они часто меняют свой вид: кто вчера еще был одет крестьянином, сегодня является в виде jeune premier, а завтра наденет блузу и фуражку рабочего. Задача хорошего полицейского сыщика состоит в том, чтобы узнать его, несмотря на переодевание. Tapista (в Париже — ворующий со взломом) специализируется в обкрадывании незанятых квартир; его существенными чертами являются порочность, глубокое презрение к буржуа и уважение только к своим. Опасность привлекает его к себе как наслаждение. Espadista не знает ни задвижек, ни замков, которые бы его удерживали. Он часто начинает с того, что атакует сердце квартирной служанки, и она, сама того не зная, делается его сообщницей.

Прибавим, что santeros (домашние воры) очень многочисленны в Барселоне, и при этом никогда нельзя найти лучшей домашней прислуги, чем они. Можно ли перечислить бесконечные виды мошенников: мошенник-банкир, мошенник-предприниматель, уполномоченный от общества, им же самим основанного, и т.д.? Разновидности эти неисчислимы. Полезным специалистом является «гитарист», который при помощи затейливого инструмента, похожего на гитару, надувает других мошенников. В Барселоне, как и во всех городах, процветает фабрикация фальшивых банковых билетов, — культурное возрождение подделки монеты. Gil Maestre отмечает частую эмиграцию и постоянное обновление контингента мошенников. Иногда, исчерпав свои выдумки, они идут в другие места, где по тайным знакам узнают своих собратьев и благодаря этим сношениям «обмениваются сведениями и совершенствуют свои приемы». Этот автор утверждает, что есть школы для обучения vol à la tire. Есть вид воровства чисто испанского характера, который можно было бы назвать vol au baiser. Две женщины, одна молодая и красивая, другая пожилая, похожая на дуэнью, делают вид, что рассматривают выставку в окне магазина, рядом с каким-нибудь господином, имеющим вид богатого и простодушного человека. Хорошенькая оборачивается и бросается на шею соседа: «Как, это ты? — говорит она. — Какое счастье, что я тебя встретила!», и она продолжает некоторое время свои любовные излияния, но внезапно они обрываются: «Ах, простите! Я ошиблась!». И обе женщины скрываются, причем их поспешность, по-видимому, объясняется желанием скрыть смущение. Но по их исчезновении герой слишком нежных ласк обнаруживает у себя отсутствие портмоне. У детей в обычае vol des terrasses с довольно заметной своеобразной окраской. Эти юные воры похищают по ночам белье и одежду, оставленные на террасах домов. Они составляют отряд вольных стрелков преступления, подчиненных своему предводителю. Они рассыпаются, чтобы привести в исполнение план кампа-

нии, и сходятся вновь делить добычу. Хищные, как воробьи, они отличаются необыкновенной ловкостью в обирании людей; сделав все, что нужно, они смеются, играют в карты, потом валятся где-нибудь вместе в одну кучу, «образуя гнездо самого грязного разврата», и засыпают непробудным сном. Они начинают с обкрадывания террас и голубятней и скоро переходят к обкрадыванию квартир. Они дерутся на ножах, как взрослые, которым они подражают. Их единственное занятие — воровство, как и следует ожидать. Ребенок родится паразитом; если родители его покинули, и он не живет на их счет, то он должен жить на счет общества. И если его родители пренебрегли тем, чтобы выучить его какому-нибудь ремеслу, то он сам выучится тому, которое одно только ему и предоставляется, и которое кажется ему таким пленительным и забавным, ремеслу, в котором нет ничего механического, профессии по преимуществу, на его взгляд, либеральной — профессии преступника. Но доказательством того, что этот новичок преступления не рождается испорченным, служит его в общем честное и доброе отношение к товарищам.

Несколько цифр могут помочь проверить эти соображения. По отдельным таблицам, наполненным многочисленными справками, приложенными Марро к его труду «J caratteri dei delinquenti», я подсчитал число преступников 18 лет и моложе, которые, часто с самого раннего возраста, отмечены как покинувшие свою семью; это дает основание предполагать, на мой взгляд, что их семья обращала на них раньше слишком мало внимания. Я насчитал таких 160 душ на 472 человека мужского пола, не считая 47, которые с 18 лет и раньше остались круглыми сиротами. А на 97 честных лиц того же пола нашел только одного несироту, бросившего так рано свою семью. На этих 97 человек нормальных приходилось 14 сирот указанного выше возраста, что является пропорцией, превышающей — несомненно, случайно — пропорцию сирот-преступников. Кроме того, из одной таблицы Марро видно, что, несмотря на раннюю смерть своих родителей, преступники нахо-

дились в условиях, по-видимому, не менее благоприятных, чем нормальные. Но не следует вместе с автором спешить с выводами отсюда, что дурное поведение первых больше зависит от их природы, чем от их воспитания.

И действительно, какое значение может иметь то, что эти несчастные жили у своих родителей так же долго, как и другие, если, как автор нам тотчас и показывает, их родители дают пропорцию сумасшедших, алкоголиков, эпилептиков, неуравновешенных, значительно превосходящую пропорцию таковых у родителей честных сыновей? Они были бы воспитаны не лучше, чем если бы остались сиротами. Нужно заметить (наблюдение, сделанное еще Марро), что на 76 преступников, родители которых не были ни алкоголиками, ни сумасшедшими, ни такими же преступниками, 50 осиротели очень рано — пропорция действительно громадная. Отсюда видно, что преждевременная смерть родителей играет ту же роль, что и порочность живых родителей. Благодаря дурному воспитанию, являющемуся их общим результатом, обе эти причины дают те же результаты. Допустимо ли считать возможным, даже вероятным, что меньшая преступность женщин объясняется отчасти большей заботливостью до сих пор общества об устройстве сиротских приютов для девочек, чем для мальчиков, как доказало это донесение Теофиля Русселя (1882) о благотворительных учреждениях этого рода во Франции?

Вернемся к Gil Maestre. Будущие espadista или minadores, которых он нам описывает в том возрасте, когда из них еще только вырабатывались негодяи, наверное, меньше виновны как союзники преступления, чем старьевщики и содержатели ночных притонов, укрыватели краденых предметов и укрыватели воров. Gil Maestre сообщает нам о своем знакомстве с ночлежных домом (casa di dormir), где в комнате почти без воздуха, покрытой паутиной, все посетители, мужчины и женщины, мальчики и девочки, спят, смешавшись вместе и, ввиду страшной жары, совершено нагие, но,

зная хорошо друг друга, они засыпают, крепко держа в руках одежду из боязни, чтобы ее не украли.

Этот небольшой очерк преступности, присущей крупным центрам[1], был бы слишком неполон, если бы я не прибавил сюда нескольких слов о преступлении преимущественно мужском, называемым преступлением против нравственности. Чувственные желания, разжигаемые самой легкостью их удовлетворения, в скученном населении приобретают болезненную остроту. Я не хочу отрицать действия физических причин на преступность вообще, потому что его годичная кривая регулярно повышается летом, но его географическое распределение ясно указывает на преобладание социальных причин. Во Франции, например, на картах, составленных д-ром Лакассанем, преступная зараза, о которой идет речь, обозначена четырьмя пятнами, по числу четырех районов заразы; очагами ее служат четыре больших города: Париж, Нант, Бордо, Марсель. Центральное плоскогорье и несколько гор одни только целиком выступают на поверхности этого потопа. Мы имеем право думать, что большинство признанных виновными в этом преступлении были ими лишь потому, что имели несчастье родиться и вырасти в недрах или в соседстве наших Вавилонов, вместо того чтобы родиться и жить в Оверне. Но это соображение, как мы уже знаем, не препятствует их вменяемости: в них самих была заложена возможность совершения преступления; правда, она реализовалась лишь благодаря их пребыванию в городах, но от этого она не перестает быть именно их принадлежностью.

В результате, по всем внешним и внутренним признакам, по более неясным и многочисленным наружным

[1] Дурная репутация городов в отношении преступности идет издавна: не подымаясь к Содому и Гоморре, я отмечу, что когда в XII веке состарившаяся графиня Матильда скиталась из замка в замок, ее домовый священник Donizo рекомендовал ей, говорит нам Perrens, «избегать заселенных городов, где преступления размножаются наряду с вероломством купцов» (Hist. de Florence).

особенностям, по более коварной и сластолюбивой натуре, по более остроумным и менее рутинным приемам, по более разнообразному и смешанному социальному происхождению своих агентов городская преступность резко противоположна сельской. Одна растет, когда другая приходит в упадок. Следует отметить, что аналогичная противоположность, но только с точки зрения времени, а не пространства, с течением времени наблюдается между преступностью первобытной и прогрессивной. Весьма полезно было бы установить основное деление преступности на два вида, тем более что в известных отношениях оно совпадает с делением преступности на случайную и привычную, долгое время поглощавшим все внимание ученых. В общем преступность привычная, которую преступник склонен укрепить в себе более, чем всякую другую, при посредстве повторения первого преступления принимает в известной стране те же самые формы, что и обычная преступность. Мы знаем, что в Италии она чаще, чем во Франции, выражается в побоях и нанесении ран — старый национальный обычай, а во Франции чаще, чем в Италии, выражается в преступлении против нравственности — старинная слабость галлов.

Мы должны извиниться, что захватили кое-что из следующей главы. Было бы, впрочем, трудно говорить о преступнике, не коснувшись преступления.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Нисколько не желая умалять заслуг антропологов, которые пытаются обновить уголовное право, мы должны, однако, после всего сказанного выше признать, что судебная практика могла бы пользоваться их трудами разве только для того, чтобы черпать из них более или менее неблагоприятные для подсудимого указания, и только в тех случаях, когда он бесспорно наделен отмеченными аномалиями. Дурные и особенно хорошие сведения, собранные мэром, не всегда заслуживают большого доверия. И нужно пожалеть, что судьи и адвокаты так редко обращаются за указаниями к психиатрам этой школы[1].

Многочисленные наблюдения над сумасшедшими и нравственными чудовищами, собранные Morel'тм, Tardieu, Maudsley, Legrand du Saulle и др., привели действительно к настолько основательным выводам, что до них еще далеко бесчисленным черепным и телесным измерениям преступников. Таким образом, с этой стороны позитивная школа (психопатология, я полагаю, наука позитивная, по крайней мере, настолько же, насколько и антропология) заслуживает быть принятой во внимание на предварительном следствии и в судах присяжных, где в этом отношении царит такое глубокое невежество.

Благодаря названным трудам рамки невменяемости, повторяю, очень расширились, и именно поэтому следует

---

[1] Или, вернее сказать, как справедливо заметил на последнем конгрессе почтенный судья Sarraute, суды воздерживаются от обращения в этом смысле к уголовной антропологии; что же касается адвокатов, выступающих перед судом присяжных, то они уже делают это, сами того не подозревая. Мы присоединяемся к этому мнению криминалиста.

точно условиться относительно ее границ, иначе можно опасаться уничтожить само понятие вменяемости. Не будем забывать, что развратный от рождения нравственно помешанный совсем не является сумасшедшим, хотя психиатры и снабдили нас о нем наилучшими исследованиями, которыми мы еще воспользуемся.

Даже признав достоверность антропологических данных новой школы, можно было видеть, что они могут быть истолкованы с социологической точки зрения гораздо лучше, чем с той исключительно биологической, которую формулировали ее основатели. Мы увидим, что ту же ошибку, но лишь в меньшей степени, эта школа повторяет при истолковании статистических данных, составляющих, быть может, самое серьезное и прочное основание ее трудов. Отыскав при помощи антропологии и психопатологии типические особенности преступника, она на основании статистики хочет найти естественные законы преступления. Она приписывает, как мы уже сказали в нашем изложении, социальным причинам большую роль в создании преступления, чем в создании преступных наклонностей. И действительно, она одновременно говорит о «факторах социологических» и о факторах физических или антропологических. Ее ошибка, по нашему мнению, заключается в том, что она ставит на одну доску эти разнородные причины и не признает особенной природы и преобладающей интенсивности социальных причин. Этот упрек не относится к социалистам этой школы, но среди социальных причин преступления эти последние признают только экономические; их точка зрения не более закончена, чем точка зрения их собратьев натуралистов.

Говоря так, мы не можем не отдать должного попыткам и усилиям, иногда даже неудачным, этих уважаемых статистиков. Если бы даже они ограничились только освещением постепенного роста рецидива во всех странах и требованием самых крайних мер против рецидивистов, они имели бы полное право на нашу признательность. Теоретически они сделали больше. Если в то же время

они дали нам только несмелые опыты, если они работали не по общему плану, если они ограничились лишь объяснением нескольких отдельных проблем социальной арифметики, каковы: влияние времени года на кривую преступлений или связь между кривыми самоубийств и убийств и между кривыми преступлений против личности и преступлений против собственности и т.д., то такая установленная ими связь между известными явлениями есть уже очень ценное приобретение для науки. В этом они походят на психофизиков. Значение вклада последних в психологию распространяется пока лишь на второстепенные пункты, но оно имеет то преимущество, что впервые вводит туда элементы точности и определенности, aliquid inconcussum, и закладывает начало будущей науки. Но психолог, который поспешил бы на узком основании своих опытов уже теперь перестроить всю психологию, рисковал бы сильно обмануться.

То же самое было бы с криминалистом-статистиком, который, надеясь на сравнительно ничтожный еще цифровой материал, захотел бы пересоздать уголовное право. Тем не менее, поостережемся осуждать их даже и в этом случае.

Когда в глубине моря впервые появился зачаточный орган зрения, едва позволяющий различать свет и тени или неясные контуры врага или добычи, то животное, доверившееся его несовершенным указаниям, должно было бы часто делать крупные ошибки и упрекать себя за то, что не продолжало действовать но примеру отцов, ощупью. Таких ошибок было не меньше на том плодотворном пути, где сами поражения вызывали новые стремления.

Итак, статистика есть нечто вроде развивающегося общественного чувства; у общества она — то же, что зрение у животных, и по определенности, поспешности, возрастающему обилию своих таблиц, графических кривых и раскрашенных карт она делает эту аналогию с каждым днем все более поразительной. И в действительности, глаз есть не что иное, как чудный аппарат для быстрого,

моментального и оригинального исчисления оптических колебаний, которые он передает нам в форме беспрерывного ряда видимых картин, вроде постоянно обновляющегося атласа.

Но статистика, разумеется, еще далека от осуществления подобного идеала, если только она его когда-нибудь осуществит. Так, когда человек, избавленный от катаракты, начинает видеть, что он должен делать? Может ли он вполне полагаться на слабые указания своего зрения для управления своими шагами? Нет, он должен пользоваться лишь их помощью и дополнять их недостатки напряжением памяти и рассудка. Именно таким образом должны поступать криминалисты и законодатели в государстве, где еще существует уголовная статистика; они должны считаться с ней, но непременно комбинируя статистические данные с данными, добытыми историей и археологией — этой памятью народов, и с данными общественной науки — этого рассудочного самопознания, которого в конце концов достигают прогрессивные общества. В дальнейшем мы будем придерживаться этой точки зрения.

Часть I

1. Статистика и преступность

Когда статистика начала функционировать, то ее первые открытия, казалось, разрушили установившиеся понятия. Велико было изумление при констатировании ежегодного повторения почти одних и тех же цифр в связи с теми же преступлениями[1].

Тотчас же неизменяющийся состав цифр стали считать несовместимым с понятием свободной воли и, по привычке строить понятие о вменяемости на постула-

[1] А также с различными произвольными актами, каковы женитьба, купля и продажа; рождаемость и смертность воспроизводились не более регулярно, чем эти проявления воли.

те свободной воли, поспешили заключить, что преступник вовсе не ответствен за свое преступление. Разумеется, неизменность подачи преступления вначале была сильно преувеличена; но и колебания, замеченные в ней позднее, оказались правильными и подчиненными непрерывным периодическим повышениям и понижениям. Но разве регулярность или даже только непрерывность изменений сколько-нибудь менее противоречит гипотезе свободы личности, нежели точность повторений? Таким образом, первоначальное возражение остается во всей своей силе, и лишь только привычка его ослабила. Что же касается ответов, сделанных на это возражение со стороны защитников свободной воли, то они распадаются на две категории: одни страдают безнадежной слабостью, другие безнадежной туманностью. Наиболее близко к истине предположение Кетле, что свободные определения, насколько они своеобразны или случайны, играют роль колебаний астрономической кривой и взаимно нейтрализуются. Объяснение неудачное. Представим себе астрономическую кривую, составленную исключительно из комбинации колебаний. Это как раз то, что нам нужно, потому что все преступления, браки, покупки, совершаемые в течение года в государстве, признаются вытекающими из автономной инициативы индивидуумов. Дело идет о том, чтобы указать, чем нейтрализуются эти инициативы, и каким образом, за вычетом этих предполагаемых нейтрализаций, может получиться числовой остаток, соответствующий известному эмпирическому закону роста и убыли. Но это абсолютное или относительное однообразие не понятно, если допустить, что воля, считающаяся в принципе самостоятельной, фактически не делает, так сказать, никакого употребления из ее самостоятельности и подчиняется одной и той же или регулярно повышающейся и падающей сумме влияний общественного, органического или физического порядка, в сравнении с которыми то, что приходится на долю ее свободы, представляет собою quantité négligeable. Так, эллипсис, описываемый Землей

вокруг Солнца, правилен, потому что причина этого — взаимное тяготение Земли и Солнца — бесконечно сильнее взаимного притяжения Земли и других планет, которое бывает причиной периодических и сложных пертурбаций, испещряющих зубцами эту кривую.

Разумеется, если бы Земля шла свободно по течению в небе, или если бы ее движение, оставаясь фатальным и необходимым, зависело от суммы случайных влияний, исходящих от всех точек пространства, она не описывала бы пути геометрически правильного.

Каждый момент притяжение Земли Солнцем повторяется одинаково и однообразно, или, если угодно, каждую минуту колебания эфира гипотетическая причина этого притяжения, управляемого физической силой, повторяются одинаково и однообразно: вот настоящее объяснение правильности кривой светил. Почему же измерения антропологами роста, веса, пульсации сердца и других физиологических или анатомических признаков достаточного количества людей, принадлежащих к одной и той же нации, составленной из различных рас, но в постоянно одинаковой пропорции, неизменно дают одни и те же результаты?

По аналогичным основаниям, все эти люди — наследственные копии друг друга. Каждая их черта есть воспроизведение другой по пути поколений. Постоянство цифр, составленных антропометрическими измерениями, доказывает только, что сумма наследственных повторений значительно превосходит сумму индивидуальных и неправильных вариаций, проистекающих от необъяснимой врожденности. Что же касается равномерных колебаний, которые свободно открыла бы антропометрия, если бы она применялась к смешанным расам в периоде их образования или исчезновения, то их правильность также указала бы на преобладающее влияние, оказываемое наследственной передачей органических изменений. Если бы, предполагая невозможное, в человеке не было ничего, кроме оригинальных вариаций, если бы каждый ин-

дивидуум представлял самостоятельный род, то можно было бы измерять тысячу, десять тысяч, десять миллионов цифр пульсаций сердца, и все-таки не получились бы цифры, повторяющиеся в том же порядке при аналогических измерениях новых субъектов. Закон больших чисел не послужил бы ни к чему, и даже чем больше возрастало бы количество измерений, тем шире становились бы границы исчислений.

Все, что я сказал, применимо mutatis mutandis к моральной статистике. Если бы в побуждении человека к каждому акту его жизни, например, браку, преобладала или была ощутительнее свободная инициатива, избавленная от всякого внешнего физического, биологического или социального воздействия, то мы никогда не встретили бы одновременно и в одном и том же месте цифр бракосочетаний, повторяющихся ежегодно с поразительным однообразием или в не менее замечательной прогрессии. Но соединение трех видов указанных влияний имеет всемогущее действие на совокупность намерений, потому что, более или менее сильное, — подобно оттискам одного и того же клише, то слишком бледным, то слишком темным, но в общем одинаковым — оно лишь в очень слабой степени подчиняется личной инициативе. Можно очень точно различить с помощью тонкого реактива, каким является статистика, три вида влияний в известном нами примере, потому что жениться заставляет людей импульс физиологический, наследственный, изменяющийся сообразно возрасту, а также импульс физический, изменяющийся соответственно времени года; но также импульс социальный, подражание обычаю или примеру окружающих. Без этого существовали бы лишь свободные союзы, и не было бы браков формальных, как церковных, так и гражданских. Правильность статистики браков доказывает только, что сила подражания обычаю или постоянна в данном случае, или равномерно повышается и понижается вследствие столкновения с подражанием моде, распространение которой благоприятствует ей в отрицательном

смысле, и что по интенсивности она преобладает над силой личной инициативы, не зависящей ни от традиций, ни от общественного мнения. Численное преобладание волевых энергий, подчиняющихся подражанию, над волевыми энергиями, увлекающимися новшествами, — вот, в общем, то, о чем говорят правильные цифры общественной статистики.

Из этого не следует, правда, что роль стремления к новшествам ничтожна. Она, к счастью, вполне реальна, и ценность ее в тысячу раз выше ее видимого распространения. Но можно ли приписать свободной воле часть тех счастливых пертурбаций, которые вносит в мир действительная личная инициатива? Ничуть, хотя, как мы уже сказали, позволительно видеть в них признаки наличности элементарной свободы, тайно развивавшейся на тысячеверстной глубине под блестящей поверхностью, на которой развертывается психологическая жизнь. Пускай, впрочем, мне покажут открытие или изобретение, не оказавшееся комбинацией копий, случайно соединившихся в богато одаренном мозгу различных течений подражания; пускай покажут мне индивидуальную оригинальность, которая почти целиком не была бы лишь особым видом совпадения банальностей.

Таким образом, объяснение Кетле рушилось в корне, и даже сам элемент, нарушающий правильность статистических кривых, ускользает от приверженцев идеи свободной воли. Страх совести был извинителен, когда, проникнутая прежним пониманием ответственности, она в нарождающейся статистике увидела врага. Но нам, понимающим ответственность иначе, нечего бояться. Мы далеки от этого, и результаты, добытые статистикой, очень пригодятся нам при суждении о преступниках, действительно ответственных за свои деяния. Ответственность, сказали мы, основывается на сходстве людей между собой и на устойчивости личного тождества. Правильные ряды статистики как раз свидетельствуют о том, что первое условие выполнено в совершенстве, так как они доказывают физическое, органическое и социальное подобие индиви-

дуумов, составляющих одну и ту же расу или класс; они доказывают также, что второе условие налицо, если мы после их изучения найдем, что они содержат в себе указания на преобладание социальных факторов над физиологическими и физическими. В действительности человек остается тождественным самому себе, подчиняясь известному влиянию лишь постольку, поскольку он его себе усваивает. Физиологически и органически он может приноровиться к таким естественным влияниям как вид добычи или действие жары и поступать согласно требованиям своего темперамента, уступая им; но психологически он может руководствоваться лишь мотивами и двигателями, вызванными психологической средой, то есть средой социальной, в которую он погружен в качестве личности, и здесь идет вопрос о его личном, неорганическом тождестве[1]. Преступник, подчиняющийся влиянию своих товарищей, поступает согласно своему характеру. Он ответствен как существо общественное, а не просто живое существо. По мере его чувствительности к влиянию окружающего общества растет его ответственность. Мы знаем, что прогресс личной тождественности человека идет параллельно с прогрессом ассимиляции его с окружающим обществом, и наоборот, постепенно теряя равновесие, он отчуждается от общества.

В общем, огромный общественный организм развивается, приспособляя к себе отдельные индивидуальные организмы так же, как последние приспособляют к себе мо-

---

[1] Я настойчиво требую обратить внимание на то, что тождество личности, на котором я строю свою теорию виновности, должно быть понято в смысле социальном, но не органическом. Биологически раскаявшийся преступник, ставший честным человеком, тождествен самому себе; но социологически он изменился совершенно. Изменения, производимые в личности человека безумием, никогда не бывают такими, чтобы сделать индивидуума органически иным, чем он был. Но в гражданском и социальном отношении они делают его иным. Многие из моих противников, натуралистов по профессии, критиковали эту теорию благодаря неверному пониманию этого пункта.

лекулы и внешние силы: вследствие ассимиляции первого рода отдельные индивидуумы должны отвечать за свои поступки по отношению к другим, как вследствие ассимиляции второго рода молекулы, составляющие тела индивидуумов, связаны между собой — и, если этого требует здоровье, должны быть удалены.

Вследствие этого крайне необходимым является исследование рамок влияний экономического или религиозного, политического или семейного порядка, словом, порядка социального в происхождении преступления и решении, подчиняются им или нет влияния естественного порядка. В этом как раз и состоит причина разногласия между натуралистами и социалистами новой школы. С последними я соглашаюсь в том, что социальные причины берут верх над внешними; но вместо того, чтобы заключить вместе с ними, что общество одно виновато во всех преступлениях, я заключаю из этого, что к индивидууму по справедливости и по заслугам применяется наказание[1].

2. *Факторы преступности*

Теперь, вероятно, ясно, что причины преступности распадаются на три фактора, как это мастерски устано-

---

[1] Раз навсегда я сделаю одно замечание. Подражание в социальной жизни (я разумею подражание нормальное, а не болезненное), будучи по большей части добровольным, даже в деле языка и нравов, является силой определяющей. Подражают иногда добровольно и обдуманно известному лицу, чтобы скорее осуществить известную цель, удовлетворить известную потребность, причем хотя цель и потребность и заимствуется чаще пассивно у других, однако и это делается не бессознательно. На наш взгляд, если человек остается ответственным за деяния, совершенные по примеру других, хотя бы без этого примера он их и не совершил, то это потому, что всякий человек, стойкий и оригинальный, вкладывает свои личные свойства в этот акт подражания. Когда же, напротив, в возбужденной толпе, например, подражание совершенно слепо и бессознательно, то, не соответствуя характеру лица, подчиняющегося ему, оно принимает вид минутного помешательства, которое уменьшает или уничтожает ответственность.

вил Ферри. Насколько оспорима его классификация преступников на пять категорий, настолько этот трехчленный анализ поражает своей ясностью и справедливостью. С большой проницательностью он зачастую распознавал действие каждой отдельной причины в хаосе цифр. Но он заметно склонен к преувеличиванию роли естественных импульсов и к отрицанию того, что если они и служат источником силы, истраченной на общественную жизнь, то направление этой силы происходит от других причин. Нам кажется, что он недостаточно считается с установленной им иерархической лестницей факторов, идущих один за другим. Отсюда неизбежные ошибки в толковании. Наиболее важное, по-видимому, приспособляющееся к второстепенному, зачастую лишь управляет последним по собственному усмотрению; так жизнь как будто приспособляется к химическим силам, а общество — к расе и климату.

Казалось бы, что созревание виноградной кисти вполне зависит от температуры каждого дня: чем теплее, тем лучше растет дерево; а свойство данной почвы сообщает прозябанию ветви известное направление и особенности. Но, тем не менее, под этим кажущимся подчинением прорастающего зерна внешним причинам натуралист увидит способность зерна утилизировать внешние силы, управлять ими и извлекать для себя выгоду даже из борьбы с ними.

По-видимому, физическое здоровье фабричных рабочих есть первое условие фабричной работы: чем лучше они питаются, тем они сильнее, и тем лучше функционирует фабрика; и темперамент рабочих кладет свой особый отпечаток на ход дела: во Франции железнодорожная прислуга совершенно иная, чем в Италии и Испании; даже в самой Франции южная железнодорожная компания ярко отличается от северной. Но, в сущности, это значит, что изобретение железных дорог в различной степени пользуется силами служащих, которыми располагает и особенности которых обращает в свою пользу. Справедливо, конечно, думать, что причиной созревания виноградной

кисти была наличность двух факторов — температуры и почвы, с одной стороны, и свойства зерна — с другой. Несомненно, справедливо также, что фабричный продукт явился результатом совокупности трех факторов: во-первых, климата и времени года; во-вторых, расы и здоровья; в-третьих, направления предпринимателя (временно воплощающего в себе эксплуатируемое им предприятие). Но тогда можно сказать, что написанная мною страница есть результат трех условий:

1) существования перьев, чернил и бумаги;

2) состояния моей руки, не парализованной и не связанной;

3) моего умения и желания писать.

Не будем же смешивать причину с основанием; не мешает перечитать книгу Cournot на эту тему. Настоящее и единственное основание появления виноградной лозы — зерно; настоящее и единственное основание появления фабричного продукта — наличность предпринимателя; настоящее и единственное основание для появления этой страницы — полученное мной воспитание и заразительность многочисленных примеров, которые возбудили во мне желание это написать.

3. Физическое и физиологическое объяснение преступления

Эти околичности несколько длинны, но они показались мне необходимыми. При их освещении мы можем оценить теперь гениальный Calendrier Criminel, составленный Лакассанем. Этот ученый показал нам, что ежемесячные вычисления преступлений против личности и против собственности выражаются в двух годичных кривых, почти противоположных друг другу. Максимум преступлений против личности падает на июнь, минимум преступлений против собственности — на июнь и июль. Займемся первыми. Можно ли в повышении температуры видеть единственное объяснение их увеличения летом? Да, отвечает Ferri, доказательством этому служит то, что не толь-

ко наиболее теплые месяцы, но и наиболее теплые годы и наиболее теплые, то есть южные провинции отличаются среди других обилием убийств, оскорблений действием и нанесений ран. Разве совпадение этих трех условий не служит само по себе доказательством?

Оно наверняка доказывает, что известная часть излишка преступлений и проступков, падающих на наиболее теплые месяцы, годы и провинции, объясняется жарой. Но это лишь часть, и притом, быть может, небольшая. Но могли ли бы статистики освидетельствовать, что то совпадение, которое мы констатируем теперь, имело место на протяжении сотен или тысяч лет? Я сильно сомневаюсь в этом, если не лжет история.

Примем во внимание, что относительная мягкость нравов северных наций наблюдается лишь с недавнего времени, что эта мягкость объясняется бесспорно доказанным историческим фактом современного перехода цивилизации к северным широтам, что, если мы перенесемся к временам изнеженной цивилизации Рима, которой угрожали с севера кровожадные орды, или только к эпохе крестовых походов против альбигойцев, то мы повсюду увидим относительное обилие кровавых преступлений в наиболее холодном климате. Преступления, сопровождающиеся насилиями, так мало зависят от климата и расы, что в одной и той же стране, безо всяких изменений климата, они принимают более мягкие формы — сокращаются, подчиняясь цивилизации, и вновь делаются жестокими при возвращении к варварству. Когда греческая цивилизация процветала на юге Италии и в Великой Греции, когда культура арабов царила на юге Испании, и культура римлян — на юге Франции, то убийства по преимуществу сосредоточивались в северных частях Италии, Франции и Испании.

Объясняется ли физически по крайней мере движение цивилизации к северу? Ничуть. Причины этого явления исторические, быть может, случайные, но, наверное, социальные; это прежде всего счастливое сочетание удачных

научных открытий, промышленных, военных и политических изобретений, которые мы уже три столетия эксплуатируем в Европе, и которые благодаря успешному пользованию подчиненными и прирученными силами природы дали возможность на неблагодарной прежде почве с успехом сделать опыт акклиматизации культурных идей в то время, как они чахли в своей колыбели. Возможно, что такое обилие изобретений, одно за другим пущенных в дело, необходимо требует большой единовременной затраты физической энергии, которой не могло выработать население первобытных южных городов. Нет сомнения, что еще долго эксплуатация этих нововведений будет трудной и тяжелой; так всегда бывает вначале.

Лихорадочное оживление и оглушительный шум, присущие современным столицам, позволяют предполагать это. Трудно поверить, что Мемфис и Вавилон подымались когда-нибудь до этого уровня. Но мы имеем право надеяться, что это лишь временный кризис, и что пользование новыми благами цивилизации, облегченное нашими деятельными усилиями, распространится вплоть до тропического пояса. Культурное возрождение Нильской долины и чудный прогресс Австралии поддерживают эту надежду.

Цивилизация перешла от роскошных тропических стран к умеренным и холодным, в сущности, потому же, почему богатство переходит от праздных привилегированных классов общества к рабочим классам, явление, в котором не участвует ни одна физическая причина. Мне представляется бесконечно вероятным, что действие жары играет небольшую роль в преобладании грубых и жестоких преступлений южных стран. Прибавлю: в преобладании их летом. Летом больше живут уличной жизнью, путешествуют, чаще встречаются: отсюда более многочисленные нападения, более пылкие страсти, более частые случаи убийства. В этом заключается настолько важное объяснение явлений такого рода, что только при его помощи можно обосновать исключения из мнимого правила относительно климатических влияний. А исклю-

чения эти многочисленны. Этот так называемый закон не применяется во Франции[1], кроме Корсики и побережья Средиземного моря, как это видно из прекрасных официальных карт Ивернеса, относящихся к распределению кровавых преступлений между нашими департаментами. В них прежде всего бросается в глаза темная окраска окрестностей больших городов в департаментах Сены, устьев Роны, Жиронды, Нижней Луары, Севера, Нижней Сены, Роны. Чем населеннее город, даже северный, другими словами, чем многочисленнее там столкновения между людьми, тем выше пропорция убийств, приходящихся на данное число жителей.

Из всех преступлений против личности наиболее заметному влиянию температуры подвержены изнасилование и посягательство на чувство стыдливости.

У первобытных народов довольно резко намечаются периоды течки; у аннамитов течка, по Лориону, приходится на апрель и сентябрь. По мере того как растет цивилизация известного народа, это влияние исчезает, но годичная кривая преступления, о котором идет речь, тем не менее, остается очень правильной. Она представляет собой случай, который Лакассань считает необъяснимым, и который, мне кажется, подтверждает обнаруженное ею воздействие физических факторов. Неподвижная в феврале, цифра этого преступления повышается в марте и понижается в апреле. Нужно заметить, что годичная кривая температуры обыкновенно представляет аналогичное явление. И все-таки, хотя действие внешней причины гораздо

---

[1] Я говорю о Франции континентальной. Во французских колониях он не применяется вовсе. Доктор Корф тоже придерживается этого мнения. «Бесспорно, — говорит он, — что преступления против личности слабо развиты и по количеству, и по качеству посягательств (если мне позволят словом качество выразить важность преступления) среди смешанного населения наших расположенных между тропиками колоний» (Les Criminels, 1889). Он привел доказательства этому в своей в высшей степени интересной монографии «Crime en pays Créoles» (Storck, Lyon).

более сильно и более заметно здесь, чем в других случаях, тем не менее, едва ли позволительно из него выводить объяснение этого преступления: до такой степени последнее еще больше зависит от плотности населения, интенсивности городской жизни, прогресса культуры. В больших городах, каков, например, Лион, и их окрестностях, независимо от того, на севере или на юге они находятся, количество этих преступлений доходит до maximum'а в странах более южных, но в малонаселенных, земледельческих и религиозных оно опускается до minimum'а. Сверх того, замечается, что оно растет скорее пропорционально длине дня, а не высоте температуры: «потому что оно понижается в июле и августе, с уменьшением дня, несмотря на более высокую иногда (всего чаще) температуру, чем в июне». Но могла ли бы длина дня влиять на это преступление, если бы параллельно с ней не шло увеличение социальной деятельности и, благодаря ей, умножение столкновений между людьми?

Те же соображения применяются к преступлениям против собственности. Что доказывает их maximum зимой? Что, холод заставляет воровать? Разумеется, никто ничего подобного не скажет. Он доказывает, что нищета особенно сильно дает себя чувствовать в этом сезоне[1]. Но почему же? А потому, что наша главная пища состоит из хлебных продуктов, и что со времени нашего перехода от пастушеской к земледельческой фазе нашей цивилизации благодаря разным многочисленным и сложным изобретениям мы запасаемся летом провизией на зиму. Но происходит ли то же самое у пастушеских племен? У охотничьих племен наблюдается обратное; так как зима изобилует дичью, то именно зимой они, если можно так выразиться, собирают жатву, и можно предполагать, что именно летом процветает у них воровство. Для них также, быть может,

[1] С другой стороны, ночи зимой длиннее, а темнота благоприятствует воровству.

лучшими урожайными годами являются те, в которые у нас свирепствует голод.

С таким же успехом, как и календарь преступности, можно составить промышленный календарь (потому что нет промышленности, у которой бы не было своего делового и своего мертвого сезона), календарь рождаемости, календарь смертности и т.д. Не кажется ли, что по отношению к смертности, по крайней мере, только влияние климата, времени года и расы дает себя чувствовать? Было бы ошибкой так думать, и этот пример дает нам случайный и в своем роде ценный аргумент. Несомненно, высокая детская смертность от 1 года до 5 лет, наблюдающаяся в департаментах по побережью Средиземного моря (она втрое выше детской смертности в других департаментах), происходит от тропической летней жары в этом поясе, и статистика открыла нам тот важный факт, которого до сих пор не подозревали, что maximum детской смертности в общем приходится на август и сентябрь, а minimum — на май и ноябрь. Но почему же на долю 14 департаментов, лежащих около Парижа, выпала та же печальная привилегия? Почему ею же отличаются страны с развитой промышленностью? От чего зависят такие странности как то, что в известных департаментах смертность женщин во всех возрастах превосходит мужскую смертность, в то время как в других департаментах наблюдается обратное? Одни лишь различия в социальных условиях могут дать объяснение этого факта.

Если группа фламандских провинций в Бельгии насчитывает на одну и ту же цифру населения больше смертей, чем группа валлонских провинций (где говорят по-французски), то причины этого могут быть тоже только социальные, потому что «эти бедные фламандцы» насчитывают еще и большое количество умалишенных, убогих и неграмотных. Бертильон так глубоко верит в преобладание общественных причин даже в деле смертности, что, по его мнению, общество могло бы и должно было бы дей-

ствовать в пользу уменьшения ежегодной доли смертности, которую несут известные страны нашей территории.

Еще поучительнее было бы сравнение календарей преступности и рождаемости. Если в одной из статистических таблиц вы прочтете, что maximum законных рождений падает на февраль и март и minimum — на июнь, июль и декабрь, не старайтесь объяснить эту разницу влиянием возбуждаемой весной похоти (дети, рожденные в феврале, были зачаты в мае) и охлаждающим действием осени (дети, рожденные в июне и июле, были зачаты в сентябре и октябре). Прежде всего это толкование не объясняет ntinimum'a рождений в декабре, которым соответствуют зачатия в марте, то есть в Великий пост; здесь дают себя чувствовать религиозные обычаи — в католических странах в это время года не венчаются. Затем, de Foville сообщает, что в Скандинавских землях maximum и minimum уже не те, и это зависит, говорит он, от того, что в этих странах «наиболее трудовые для сельского населения периоды совпадают с иными временами года, чем во Франции».

Причины этих явлений, таким образом, гораздо более экономические, чем физические.

Между рождаемостью и климатом можно было бы установить довольно определенную связь, так же, как между преступностью и климатом, и даже подобную же связь, потому что обилие фактов, как и частота кровавых убийств, совпадают в наше время, в виде естественной компенсации, с пребыванием в теплых климатах.

Большинством экономистов (Мальтусом, Тальквистом) признано теперь, что, в сущности, только социальные причины дают ключ к объяснению роста населения.

Но мне могут сказать: как же объяснить изменение цифр рождаемости параллельно с изменениями известных физических причин, и как объяснить разницу процента увеличения рождаемости у различных рас?

На этот счет мы ограничимся обнаружением одной неясности. Причинами высокой рождаемости в Англии и

низкой во Франции нельзя считать особенности англосаксонской или кельтической расы. В Ирландии кельты очень плодовиты, так же как французы в Канаде[1].

Всякая раса, проходя через известные фазы цивилизации, переживает несколько последовательных периодов плодовитости и бесплодия.

Достаточно какого-нибудь завоевания, открытия новой земли или нового рода пищи, чтобы пробудить от летаргии самую бесплодную нацию и сделать плодовитой даже ее старость[2].

Если есть какое-нибудь влияние, являющееся, по-видимому, исключительно физиологическим, то таково открытое статистикой влияние среднего возраста брачующихся, родителей и преступников на заключение браков и на преступления. Однако что касается рождений и браков, то мы, несомненно, знаем, что степень цивилизации играет преобладающую роль среди причин, определяющих средний возраст, в каком вступают в брак и имеют наибольшее число детей[3].

---

[1] «В нашем слишком культурном населении, — говорит Lagneau (Dictonnaire encyclopédique des sciences médicales), — раса не оказывает никакого влияния на рождаемость». Последняя «зависит почти исключительно от социальных условий». Разве мы не можем сказать того же о преступности? Скажет ли кто-нибудь, что если число незаконнорожденных детей увеличивается во Франции в то время, как число законных падает, то это зависит от физических или физиологических причин? Нужно заметить, что пропорция незаконных рождений всего выше (12 на 100, и на Сене даже 19) на севере Франции, как известно, регионе наиболее богатом и цивилизованном. Это тем более прискорбно, что именно север является страной, служащей образцом и фокусом всех подражательных лучей.

[2] Испанская, английская, португальская, итальянская и немецкая расы обязаны были удесятерению своего населения по ту сторону моря открытию Америки или различных океанских островов или завоеваниям американских и островных территорий. Открытие картофеля вызвало быстрый рост населения в Ирландии.

[3] В общем, прогресс цивилизации лишь до известной степени отдаляет момент матримониального кризиса. С 1840 года в Англии браки постепенно становятся все более ранними; в Швеции и Норвегии они

Экономические соображения, нравы, понятия, искусственно развитые потребности берут в этом случае верх над естественными импульсами. В Китае, где неженатый молодой человек 20 лет вызывает удивление, и где существует поговорка, что «бездетный человек — яблоня без яблок», население неизбежно должно увеличиваться скорее, чем во Франции, где считается неприличным жениться раньше 30 лет в среднем, и где разве только из жалости не смеются над теми, у кого больше чем трое или четверо детей. Если максимальный возраст для бракосочетаний и деторождения определяется, таким образом, социологическими причинами, то почему не может зависеть от них также и возраст для maximum'a различных преступлений? Возрастающая ранняя возмужалость наших юных убийц как нельзя лучше подтверждает этот взгляд, который и помимо этого доказан статистикой, преимущественно интернациональной.

Возраст максимальной преступности, в среднем 25-летний, сильно колеблется в зависимости от страны и эпохи. Цивилизация стремится ускорить его наступление, и раса не играет здесь, по-видимому, никакой значительной роли. Пропорция несовершеннолетних преступников на сотню общего числа преступников в Пруссии равняется 2, во Франции — 10, в Италии — 8, и Бельгии — 20 и в Англии — 27; две последние цифры в сравнении с предыдущими вполне опровергают, заметим мимоходом, распространенный в обществе предрассудок о запоздалом

делаются такими с 1861-1865 годов, во Франции — с 1850 года. Но когда цивилизация, таким образом, ускоряет наступление возраста брачных союзов, она неминуемо вместе с тем приводит к уменьшению их плодовитости.

Отсюда тот кажущийся парадокс, что в этой новой фазе «уменьшение плодовитости идет рядом с ранними браками» (Tallquist). Если зажиточность, как указывает цитируемый автор, с одной стороны, обусловливает ранние браки, то, с другой стороны, предусмотрительность обусловливает уменьшение рождаемости, и одно бывает обыкновенно связано с другим...

развитии темперамента северян, но прибавим, что пропорция преступлений, совершенных малолетними в Англии под влиянием воспитания, стоит на пути к уменьшению, в то время как во Франции она все возрастает; это тем более прискорбно для нас, что относительное число несовершеннолетних вообще благодаря бесплодию французских браков у нас понижается.

Но когда такое сильное естественное влияние как влияние возраста само поглощается или зачастую извращается социальными причинами, то как усомниться в том, что гораздо более ничтожные влияния времени года, часа, дня и т.п. могут измениться или совсем исчезнуть под влиянием окружающего общества?

Я мог бы найти доказательство этого факта в указанном уже мной наблюдении, что по мере перехода от среды менее населенной и менее культурной к среде более населенной и культурной, от деревень к городам, от прошлого к настоящему кривая самоубийств, рождаемости, браков, преступлений и т.д. становится все менее и менее чувствительной к физическим влияниям и дает в этом пункте все менее и менее заметные колебания. Возьмем для примера кривую путешествий. Разница между количеством дневных и ночных путешествий, зимних и летних уменьшилась со времени замены дилижансов и парусных судов железными дорогами и пароходами. Однако мысль, что цивилизация парализует влияние физических факторов, верна лишь отчасти.

В известном отношении можно утверждать как раз противоположное. Наступает период, когда цивилизация, достигнув апогея, находит для себя выгодным не извращать, насколько это возможно, природы вещей и руководствоваться указаниями темперамента, климата, времени года и дня вместо того, чтобы игнорировать их. Хотя промышленность, например, в меньшей степени, чем земледелие, зависит от дождя и хорошей погоды, от географических и геологических условий, но, тем не менее, ни та, ни другая, совершенствуясь, вовсе не стремятся осво-

бодиться от этих внешних условий. Напротив, чем больше прогрессирует земледелие, тем больше приспособляет оно свои приемы, планы и действия к состоянию погоды и составу почвы; чем более развивается военное искусство, тем лучше приспособляется оно к почвенным, метеорологическим и другим условиям; чем выше поднимается архитектура, тем больше считается она с климатом, северным или южным расположением постройки и т.д. Но только считаться таким образом с природой — значит подчинять ее своим целям, и отсюда вовсе не следует, что природа является активной участницей в промышленном труде. Точно так же, чем более брак и отеческие чувства теряют свою непосредственность и облекаются в социальные формы, тем более, по крайней мере, начиная с известного предельного пункта, принимаются серьезно во внимание естественные условия счастливого союза и хорошей наследственности.

С середины этого века, например, во Франции, всюду была принята во внимание польза более ранних браков, и статистические цифры уже отметили этот благотворный переворот. Не то же ли самое наблюдается в деле преступности?

Чем больше преступление становится промыслом, и притом требующим знаний, тем с большим умением хитрые мошенники и жестокие убийцы выбирают наиболее благоприятные часы, место и время года для осуществления их планов. Отсюда более частая повторяемость известного рода преступлений в известное время года и часы дня. Но это меньше всего доказывает, что время года и час дня являются сообщниками и активными соучастниками этих преступлений. То, что я сказал, тем более справедливо, что пропорция профессиональных или привычных все больше усиливается, а пропорция преступлений случайных уменьшается. Движение в этом смысле (к несчастью) уже отмечено статистикой рецидивов, правильный и повсеместный прогресс которых является одним из самых значительных факторов нашего времени. Кто из профес-

сиональных бродяг не устраивается так, чтобы бродяжничать, нищенствовать и воровать летом, а попадать в тюрьму осенью или зимой?

Войны разгораются весной с гораздо большей правильностью, чем та, с которой убийство совершается летом; разве можно сказать, что влияние температуры и всеобщего расцвета вызывает желание драться? Такие явления как устройство бумажных фабрик вблизи воды, а завода железных изделий — в соседстве с залежами железа и каменного угля наблюдаются гораздо правильнее, чем такие как локализация нападений с ножом в руках на юге Италии или Испании; и, тем не менее, факторы промышленности преимущественно социальные, а не физические.

Позволим себе еще раз сравнить рождаемость и преступность. Как ни одна семья в среднем не производит такого количества детей, какое она могла бы иметь, так ни один самый отчаянный рецидивист не совершает всех преступлений, которые мог бы совершить. Итак, численность известной нации и количество преступлений и проступков такой нации указывают на воздействие одной или нескольких определенных причин. Криминалисты плохо объясняют сущность их проблемы. Дело не в том, чтобы узнать, почему данная нация дает то или другое число преступлений в известный период, но в том, почему она дает только это число преступлений.

Многие возразят, быть может, на мою аналогию, что к воспроизведению себе подобных нас толкает естественная сила, в то время как такой силы, которая толкала бы нас прямо на преступление, не существует. Но это лишь кажущаяся разница. Никакой естественный импульс не возбуждает в нас желания стать отцом; если половое влечение в результате дает появление ребенка, то вначале оно все же не имело в виду этой цели. Точно так же мы имеем врожденное стремление к обеспеченному существованию, которое не совсем прямым путем приводит нас к воровству, мошенничеству, злоупотреблению доверием,

а врожденное чувство гордости в известных случаях может привести нас к убийству из мести.

Половое влечение, наверное, не меньше толкает нас к адюльтеру, чем к материнству; и тем не менее, нужно заметить, что, все менее и менее располагая нас к материнству, оно все больше и больше влечет нас к адюльтеру. Странное зрелище, заметим в скобках, представляет собой общество богатое, деятельное, просвещенное и благоденствующее, но все более бедное детьми и изобилующее пороками; общество, которое имеет все, кроме детей, накладывает на себя все ненужные обязанности, какие только в силах выполнить, и которое оплачивает всякую роскошь, кроме роскоши многочисленной семьи. Если бы, однако, человек слушал только себя и подчинялся только глубоко скрытому стремлению его существа, желанию себя увековечить, то логика должна бы подсказать ему, что нужно вести себя иначе; чем больше овладевает им недоверие к возможности загробной жизни, тем более оно должно желать возродиться в своих детях, потому что у него нет другого средства возродиться. Но зараза окружающих примеров, искусственных наслаждений так сильна, что заставляет его забыть это основное стремление; его предусмотрительность беспрестанно делается все ниже и все недальновиднее, она распространяется на все его минутные прихоти, которые нужно удовлетворить, но ограничивается лишь горизонтом его короткой жизни, — можно бы сказать, что современное общество имеет то число детей, которое оно в состоянии прокормить на средства, оставшиеся после удовлетворения всех искусственных потребностей.

Не так легко выразить одной формулой закон преступности, но мне кажется, что накопление искусственно привитых потребностей и возрастающее стремление их удовлетворить должны считаться одними из главнейших причин преступности и бездетности. Сравнение французских департаментов, так же как и сравнение провинций в различных европейских государствах, открыло Тальки-

сту постоянное, полное соответствие между относительной плодовитостью браков и количеством книжек сберегательных касс и страхований от пожара. Та же причина — прогресс предусмотрительности (такой, каким я его только что охарактеризовал), по его справедливому мнению, объясняет эти параллельно идущие явления.

Но страны со слабой рождаемостью отличаются как будто большим количеством преступлений против собственности и меньшим — против личности[1], страны же с высокой рождаемостью — наоборот.

То же объяснение пригодно и в следующем случае: корыстолюбие — выражение предусмотрительности, направленной на стремление к богатству, возрастая, должно увеличить воровство и уменьшить население.

При исследовании вопроса о физических факторах преступности поднимается общий вопрос о том, какую роль играют эти факторы на поле общественной науки. Эта изменчивая проблема с некоторыми вариантами воспроизводится в праве, лингвистике и т.д. Можно сказать, что прения повсюду открыли преобладание «социальных факторов». Все доводы Монтескье были в этом случае разбиты. Если есть какая-нибудь отрасль человеческой деятельности, благоприятствующая развитию его точки зрения, то это ни в каком случае не право, на которое были направлены его попытки, но язык, потому что эта сложная система сочетаний и расчленений звуков яв-

---

[1] В большом атласе Guerry (моральная статистика) ясно видно, что английские провинции со слабой рождаемостью значительно превосходят остальные числом преступлений против собственности. Во Франции это преобладание выражается в следующих цифрах: в 18 департаментах, где рождаемость наиболее высока, на 100 преступлений против личности приходится 135 преступлений против собственности; в 50 других департаментах, где она слабее, пропорция преступлений против собственности доходит до 175; в 18, где рождаемость еще слабее, пропорция равна 202; а в департаментах Сены, где рождаемость доходит до minimum'a, пропорция достигает 445. Это очень знаменательное явление.

ляется самым неблагодарным из всех видов деятельности, на которые мы тратим свои силы. Многие делали также попытки объяснить термическими, пирометрическими и климатическими различиями фонетические изменения, и эти законы фонетики настолько определенны (приведенные Гриммом, например), что своей точностью напоминают законы физики.

По этому поводу один итальянский лингвист — Ascoli (Италия отдает заметное предпочтение такого рода толкованиям) — говорит о филологических изотернах.

Однако нет ничего более неопределенного и недостаточного, чем этот призыв к точной науке. Даже поползновение объяснить большинство спорных явлений этнологическими влияниями, устройством горла и рта, свойственным известным расам, не выдерживает критики. Во всяком случае, иллюзия охарактеризовать каждую расу особенностями ее языка или общей семьей языков, ей присущих, рассеяна совершенно.

Когда применят к изучению языка во всей его глубине и ширине то, что до сих пор еще не применялось, то есть принцип подражания, то тотчас откроется, что отдельные законы, установленные филологами, законы фонетики, привычки, аналогии и другие... объясняются общей, преимущественно социальной, склонностью подражать частью окружающим, родным и чужим, сознательно или бессознательно, частью — самому себе, в силу рефлексии, когда стремление к речи имеется.

Таким путем создается машинальная привычка говорить и вытекающие отсюда аналогичные упрощения.

Что же касается причин каждого фонетического или грамматического изменения, которое делается сознательно или бессознательно и которое входит ежедневно во всеобщее употребление, если удостаивается подражания, то можно ли считать их преимущественно физическими или органическими? Нет, если принять во внимание, что, с одной стороны, эти постоянно делаемые незначительные лингвистические нововведения объясняются

случайностями и интенсивностью общественной жизни и что, с другой стороны, у них нет никаких шансов войти во всеобщее употребление, если высшие классы общества и большие города не усвоят их.

Переходя с юга на север и с севера на юг, из уст галла в уста кельта и из уст кельта в уста германца, язык ломается благодаря постоянному переходу одних согласных в другие подобно тому, как блестящий луч преломляется под тем или другим углом в зависимости от состава кристалла, через который он проходит. Но законы этого преломления языка, при всей своей определенности, не дают ключа к тому, что есть наиболее существенного в образовании языка, как законы оптического преломления не дают формулы образования света. Свет зависит сначала от горения, которое появляется в точке исхождения луча, затем от его фокуса и, наконец, от упругости колебаний рассеивающей его эфирной сферы. Горение относится к свойству эфира вибрировать так же, как изобретательная способность в наших обществах, изучаемых с любой точки зрения, — к пассивной подражательности. Если такова была или должна быть таковой участь физиологических и биологических объяснений, то мы тем более должны устранить их, когда дело идет о вопросах религии, права, искусства и промышленности, а также и преступности.

Первые мифологи (по примеру первых филологов и криминологов) не преминули установить связь между различными особенностями богов, мифов и обрядов и особенностями климатов и рас, как между следствием и причиной. Религиозный человек по этой гипотезе обожествлял повседневные и необычайные явления, особенно флору и фауну своей земли, следуя тем приемам обожествления, которые неизменно внушались ему особенностями. Эта натуралистическая точка зрения оказалась несостоятельной; она могла объяснить лишь изменения в частностях данного явления, сущность которого при переходе от расы к расе и от климата к климату не изменится, и происхождение которого объясняется главным

образом социальными причинами. Эта точка зрения понемногу уступает место социологическим теориям: или той теории, по которой мифология есть болезненный нарост языков, или теории эвгемеризма Спенсера (в которой неоспоримо то положение, что всякая выдающаяся, возвышающаяся над средним уровнем яркая личность, всякий инициатор, всякий изобретатель, сумевший показать себя, прославляется, и что всякое прославление, доведенное до крайности, есть уже обожествление), или тем системам, которые во всяком человеческом божестве видят воплощение если не изобретателя, то по крайней мере изобретения, открытия, как, например, великое и плодотворное открытие идеи приручения животных, символически выразившееся в культе коровы; или, наконец, вообще всякому историческому объяснению последовательности и изменений религий случайностями, вроде побед и поражений, борьбы или смешения различных цивилизаций. Можно было бы также заметить, что постоянный и всеобщий переход от кастовых религий к прозелитским или переход каждой из этих религий от фазы замкнутости к фазе общедоступности является в общем лишь одной из трансформаций, производимых великим общественным явлением, о котором мы будем говорить дальше, — вытеснением подражания-обычая, неразрывно подчиняющегося физиологической наследственности, подражанием-модой, подражанием свободным и победоносным.

Почему же теория Тэна о совместном действии климата, расы и времени, теория, применением которой к преступности является закон трех факторов Ферри, не могла удовлетворить требований историков? Потому что автор ее (который, впрочем, в своих последних исторических трудах, быть может, своих shefs d'oeuvr'ах, очень остерегался ею пользоваться) уделил слишком мало места случайному, индивидуальному гению и особенно социальным причинам его появления, развития и плодотворности. Он обнаружил блестящий талант в своей философии искусства при освещении физических влияний на скульп-

туру и живопись, и действительно, его теза, казалось, могла иметь место в этой области.

Однако, говоря нам об особенности голландской живописи в эпоху ее расцвета, он не сообщает нам, почему, несмотря на то, что климат Голландии нисколько не изменился, ее искусство процветало только в эпоху ее политического и торгового могущества. Успехи голландского книгопечатания в XVII веке также, по-видимому, можно объяснить физическими факторами; но не правда ли, что действительной причиной является свобода мысли, которая была тогда монополией этой нации, и которая вызвала к действительности столько блестящих умов?[1]

Расцвет изящных искусств и каждая цивилизация проходят в свое время, то есть тогда, когда в обществе, широко воспользовавшемся открытиями и изобретениями, идущими отовсюду, начинается брожение этих цивилизующих элементов объединения.

В этом расцвете отражается тот подъем духа, которым сопровождается и облегчается происходящая внутри общества работа.

В продолжение этой фазы самостоятельного развития человеческих обществ, под какой бы то ни было широтой, художники вдохновляются красотами окружающей фло-

---

[1] Еще несколько слов, чтобы вернуться к работе Монтескье, вновь обработанной с таким блестящим талантом в эти последние годы Mougeoll'ом. Если географические условия имели на развитие народов влияние, приписываемое им историками, то древние мексиканцы и перуанцы, будучи жителями морского побережья и обладая большой площадью берегов, должны бы были быть по преимуществу моряками, как карфагеняне, венецианцы и жители Лондона. Однако же они не были даже знакомы с мореплаванием. Заметьте, что американцы могли пользоваться для коммерческих целей (в душе они все были коммерсантами) Антильским морем. Они должны бы были овладеть этим морем. Тем более что по недостатку вьючных животных мореплавание необходимо должно было представляться им единственным способом перевозки. И, несмотря на все это, они не были мореплавателями. Почему же? Это очень просто: им не посчастливилось придумать тех изобретений, которые необходимы для мореплавателей.

ры и фауны (гораздо меньше, разумеется, чем религией), и все-таки источник искусства кроется не в этом. Преступность для своих перемежающихся взрывов (не говоря о ее обычном течении) тоже имеет свой определенный час; она сильно проявляется в моменты кризиса, когда цивилизующие элементы не согласованы между собой. Только вместо того, чтобы содействовать их гармонии, она нарушает ее; их брожение она старается заменить брожением революционных элементов.

4. Физиологическое влияние пола на преступность

Все сказанное мною о физических влияниях вообще позволяет мне ограничиться лишь несколькими словами о физических влияниях в частности. Побуждение к преступлению, социального или другого происхождения, проявляется только в индивидууме, более или менее предрасположенном органически к его восприятию; а правильность статистических цифр показывает, что в известной расе эти врожденные предрасположения развиваются в пропорции, остающейся приблизительно той же, несмотря па постоянное обновление населения. Классифицированные с точки зрения большего или меньшего роста различные категории населения, как указал Кетле, распределяются по пропорциям, симметрически расположенным вокруг цифры среднего роста и повторяющимся почти без изменений. Классифицированные с какой бы то ни было точки зрения, они представляют иерархию не менее постоянную. Нужно, как будто бы, чтобы в любой момент налицо было определенное количество карликов и определенное количество гигантов; точно так же нужно, чтобы в каждый момент налицо было известное число благородных натур и известное число натур развратных. В этом заключаются естественные компенсации.

Во всяком случае, при ближайшем рассмотрении под этой кажущейся неподвижностью замечается медленное движение: пропорции низкорослых людей, например, не-

одинаковы в различные эпохи, как доказывает измерение рекрутов. Затем, как усовершенствовавшаяся военная организация позволяет принимать на службу рекрутов, обладающих ростом, который считался раньше неудовлетворительным, так легко может случиться, что усовершенствованная общественная организация найдет когда-нибудь возможным извлекать пользу из известных природных недостатков. Наконец, если мы вернемся к вопросу о причинах, мы увидим, что пропорция опасных натур является результатом исторического прошлого.

Пропорция убийц выше в Корсике и Сицилии, чем в Милане и Бордо, но эта разница зависит не от расы; раса корсиканская, сицилийская (очень, впрочем, сложный металл, явившийся результатом сплава многих металлов, как коринфская медь) отличались бы теперь совсем иным составом, если бы дух клана или Мафия не наложили бы на него с давнего времени своего отпечатка, или если бы идеи континента, врожденные этому духу, проникли не вчера только, а несколько веков тому назад на оба эти острова.

Это соображение значительно уменьшает важность возражения, выставленного Ферри против Колаянни. «Очевидно, — говорит он, — между социальной средой северных и южных провинций разница не так страшно велика, как между числом самых тяжких преступлений против личности в этих провинциях. Отсюда следует, что огромная разница в числе убийств между этими провинциями зависит главным образом от климата и расы». То, что Ферри называет здесь расой, как это делают и многие другие авторы, есть не что иное, как результат исторических условий, сложное наследие вошедших в плоть и кровь исторических привычек. Несомненно, что самое могущественное физиологическое влияние на преступность оказывает пол. Женская преступность не с виду только, но действительно значительно ниже мужской: на общую цифру населения обоего пола по официальному отчету 1880 года еже-

годно насчитывается в 5 раз более осужденных мужчин, чем женщин, а мужчин подсудимых — в 6 раз больше.

Весьма поучительно сопоставить с этими цифрами те, которые сообщает Марро, ссылающийся на Теофиля Русселя, и которыми выражается отношение наказаний, заслуженных мальчиками и девочками в общих школах. На 100 мальчиков приходится 7 наказанных за кражу, на 100 девочек — ни одной.

Из 100 мальчиков 54 были наказаны за ссоры и драку; из 100 девочек — только 17. Окончательным доказательством врожденного нравственного превосходства женщин служит, по нашему мнению, то, что это преимущество проявляется в ней главным образом в детском возрасте и в сельской обстановке, то есть до того, как она подвергается влиянию развращающего ее мужчины и особенно влиянию городской жизни.

И действительно, из английской статистики несовершеннолетних и совершеннолетних лиц обоего пола, осужденных за время от 1861 до 1881 года, видно, что среди несовершеннолетних женская преступность приблизительно в 6 раз ниже мужской, а среди взрослых — женская преступность ниже только вдвое или втрое; по Майру, из статистики Баварии видно, что причастность женщин к преступлению больше заметна в городском и сплоченном населении.

Но разве не доказывают все эти цифры того, что физиологическое влияние, о котором идет речь, несмотря на свое исключительное и неоспоримое могущество, побеждается и нейтрализуется общественными влияниями?[1]

---

[1] Между мужской и женской преступностью разница больше в Италии и меньше в Англии; больше в деревнях и меньше в городах. Messedaglia объясняет первое тем, что английская женщина принимает большее участие в общественной жизни. Колаянни думает, что здесь, как и везде, главную роль играют экономические условия. В этом он легко может ошибаться. Участь женщины в этом отношении в Великобритании, наверное, не хуже, чем в Италии, и в городах не хуже, чем в деревнях, где хозяйка терпит столько лишений. Мне кажется, что глав-

Отметим по этому поводу одну из особенностей статистики: число женщин, убитых в течение 10 лет молнией, приблизительно вдвое меньше числа мужчин. Зависит ли это от более замкнутой, домашней жизни женщин? Во всяком случае, это может зависеть лишь от особенностей их социальной и отнюдь, кажется, не физической жизни.

В общем, тот открытый статистикой факт, что известные времена года, известные климаты совпадают с уменьшением или увеличением числа известных преступлений, не больше доказывает действительность физических причин преступления, чем открытый антропологией факт преобладания среди преступников субъектов, владеющих обеими руками одинаково, левшей, заик и проч. доказывает существование преступного типа в биологическом смысле слова. Но этого отрицательного заключения нам недостаточно[1].

Отклонив физическое и физиологическое объяснение преступления, нам остается показать, в каком направлении надо искать законов преступления. Мы найдем их в специальном применении общих законов, на которых покоится, как нам кажется, социальная наука.

Часть II

1. Подражание и преступность

Прежде всего мы должны определить и анализировать вкратце могущественный, всего чаще бессознатель-

---

ное значение имеет здесь разница понятий: не нужно забывать, например, что относительно большая религиозность женщины по сравнению с мужской ослабевает по мере того, как она цивилизуется и начинает жить городской жизнью. Вот отчасти почему, быть может, чем больше она обогащается, тем скорее деморализуется, по крайней мере, на некоторое время.

[1] По поводу неудовлетворительности с натуралистической точки зрения объяснения явлений свойствами расы и климата я отсылаю читателя к основательным и убедительным доказательствам, собранным Колаянни в двух томах его Sociologia criminale.

ный, всегда немного загадочный фактор, которым мы объясняем общественные явления, — подражание.

Чтобы судить о его могуществе в чистом виде, нужно проследить сначала формы его проявления у идиотов. У них наклонность к подражанию не сильнее, чем у нас[1], но она действует, не встречая препятствий ни в понятиях, ни в нравственных привычках или в воле.

Так, рассказывают об идиоте, который, «увидав, как режут поросенка, взял нож и бросился с ним на человека». У других склонность к подражанию выражается в поджигательстве.

Все главнейшие акты общественной жизни совершаются под владычеством примера.

Женщины рождают и не рождают детей из подражания — нам доказала это статистика рождений.

Убивают и не убивают из подражания: кому пришло бы в голову драться на дуэли или объявить войну неприятелю, если не было известно, что так всегда делалось в данной стране? Кончают жизнь самоубийством тоже из подражания: известно, что самоубийство — явление в высшей степени подражательное; во всяком случае, невозможно отказать в этом признаке «массовым самоубийствам побежденных народов, которые прибегают к смерти, чтобы не терпеть ига чужеземцев, как это было с сидонийцами, разбитыми Артаксерксом-Оркусом, тирийцами, побежденными Александром, сагонтинцами — Сципионом, ахейцами — Метеллом», как сомневаться после этого, что воруют и не воруют, убивают и не убивают из подражания?

Эту характерную силу общественной жизни следует изучать в особенности в наших многолюдных городах.

Она появляется наружу во время великих сцен наших революций подобно тому, как во время сильных бурь об-

---

[1] Вообще известно, что даже для сумасшедших, страдающих так называемым импульсивным помешательством, характерной является не сила побуждений, а слабость внутреннего противодействия им.

наруживается наличность атмосферического электричества, незаметного, но оттого не менее реального в промежутках между ними.

Странное явление представляет собой толпа — это собрание разнородных, незнакомых друг другу элементов[1]. Тем не менее, достаточно одной искры страсти, кем-нибудь брошенной и наэлектризовавшей эту смесь, чтобы вызвать в ней что-то вроде внезапной, самопроизвольно зародившейся организации. Бессвязность превращается в связь, шум в голос, и тысячи сплотившихся людей превращаются вскоре в одно животное, в безымянного и чудовищного зверя, с непреодолимым упорством идущего к своей цели. Большинство явилось сюда чисто из любопытства, но лихорадка некоторых быстро охватила сердца всех и у всех усилилась до горячки. Прибежавший исключительно за тем, чтобы противодействовать убийству невинного одним из первых заражается жаждой убийства, и, что еще более странно, ему не приходит в голову удивиться этому. Мне нет надобности напоминать бессмертные страницы Тэна о дне 14 июля и его последствиях в провинции.

Каким образом это происходит? Проще всего на свете. Способ действий толпы обнаруживает силу, под господством которой она организовалась. Перенесемся ко временам коммуны; человек в белой блузе, переходя через площадь, проходит мимо возбужденной толпы; он кажется кому-то подозрительным: тотчас же с быстротой огня подозрение передается другим, и что же происходит? «Этого подозрения достаточно, всякое сопротивление бесполезно, всякое доказательство бесплодно: уверенность слишком глубока».

Представьте каждого из этих людей в отдельности у себя дома. Никогда ни у одного из них простое подоз-

---

[1] Разумеется, необходимо, чтобы все эти люди походили в главном друг на друга, чтобы объединяла их национальность, религия или общественное положение.

рение, не подкрепленное доказательствами, не могло бы превратиться в уверенность. Но они собраны вместе, и подозрение каждого из них благодаря действию подражания, более живому и быстрому в минуты возбуждения, усиливается подозрительностью других; отсюда происходит то, что как бы ни была слаба уверенность в виновности несчастного, она тотчас же делается очень сильной, и для этого нет надобности даже в тени доказательств. Взаимное подражание, когда основой его служат сходные убеждения и особенно подобные психологические состояния, является настоящим усилием интенсивности, присущей этим убеждениям и этим состояниям, у каждого из тех, кто их переживает одновременно с другими.

Когда, наоборот, подражая друг другу, несколько лиц обмениваются различными состояниями, что так обычно в социальной жизни, когда, например, один пробуждает в другом интерес к музыке Вагнера, а тот, в свою очередь, развивает в первом любовь к реалистическому роману, то, конечно, эти лица устанавливают между собой связь взаимной ассимиляции так же, как если бы они привили друг другу два понятия или две потребности, сходные с теми, которыми они уже обладали, и эти понятия в них, таким образом, укоренились бы, но в первом случае ассимиляция для каждого из них является усложнением его внутреннего состояния, — в этом и состоит действие цивилизации, во втором случае ассимиляция в каждом из них лишь усиливает внутреннюю жизнь. Между обоими случаями существует то же различие, что и в музыке между аккордом и диссонансом. Толпа обладает простой и глубокой мощью сложного унисона. Этим объясняется, почему так опасно жить долго в общении с лицами, в которых встречаешь свои собственные мысли и чувства; можно скоро дойти до сектантства, аналогичного со стадным чувством.

Воинственное помешательство, этот перемежающийся кризис народов, находит себе объяснение в сказанном выше.

В стране, где цивилизация увеличила сношения между людьми, то есть развила силу подражательности, тридцать или сорок миллионов людей обмениваются своими фантазиями и понятиями, страстями и желаниями; внутренний мир каждого из них усложняется вследствие разницы общественных положений, интересов, привычек и настроений, стремящихся слиться воедино.

Отсюда — пыл вожделений и лихорадочное стремление к роскоши. Но в то же время в одном отношении их внутренняя связь благодаря их сношениям должна усиливаться; я имею здесь в виду чувство, которое внушает враждебная или почитаемая таковой нация.

Эта ненависть, в сравнении с совокупностью других желаний, была бы у каждого из них, взятого в отдельности, очень слабой; но она у всех общая; они выражают ее друг перед другом; подражательность действует здесь особенно сильно и от времени до времени дает место высоким или экстравагантным проявлениям того патриотизма, который в наш рассудительный век, к великому недоумению мудрецов, разгорается с энергией, соответствующей процессу цивилизации.

Но чему же тут удивляться? Это неизбежно[1].

---

[1] Происхождение самой непонятной популярности и непопулярности во время выборов дает другой прекрасный пример той роли, которую играет подражание в общественной жизни. Когда несколько избирательных голосов подряд называют одно и то же имя или стоят за одну и ту же идею, голос одного департамента увлекает за собой голос другого, и голоса за и против поднимаются как морской прилив. После нескольких баллотировок человек самый обыкновенный вдруг делается великим и повсюду возбуждает искренний энтузиазм людей, не знающих его, но слышащих, как его не менее искренно превозносит толпа, которой он также совершенно неизвестен. Бывает и наоборот: к человеку сначала относятся подозрительно, потом с явным презрением, затем смотрят на него как на последнего мошенника, и, наконец, негодование честных рантье становится так велико, что они убили бы его, если бы он имел несчастье им показаться. История буланжизма в этом отношении весьма поучительна.

Вернемся к толпе; она интересна с точки зрения социальной эмбриологии, потому что показывает нам, каким образом новое общество могло и даже должно было образоваться вне семьи; я не говорю — раз образовавшись, удержаться без семьи. Я утверждаю, что существуют два различных зародыша обществ — семья и толпа; и смотря по тому, из какого источника нация главным образом возникла, и откуда происходили влияния, под которыми она развивалась, она может принять самые различные оттенки. Разумеется, обе формы происхождения во многом сходятся: как в том, так и в другом случае общество возникает по внушению, а не по договору. Договор, как встреча нескольких желаний, независимо друг от друга появившихся и оказавшихся в согласии друг с другом, — чистая гипотеза. Напротив, внушение как акт, вызывающий стремления, согласные с той высшей волей, в которой они имеют свой источник, — вот элементарное социальное явление.

Всякая толпа, как и всякая семья, имеет главу и безусловно ему подчиняется.

Но суеверное уважение и подчинение сына отцу у домашнего очага — одно, а мимолетное увлечение, вызванное вожаком толпы, — другое. Когда в общественной жизни царит семейное, земледельческое или сельское начало, то в ней господствует исключительно подражание обычаю, с преобладанием чисто личных интересов и с тем величественным спокойствием, которое так характерно для египтян и китайцев.

Когда на смену является стадность, то начинает действовать уже подражание — мода, внося сюда свою нивелировку и свои изменения, свою ассимиляцию на больших расстояниях и свои быстрые трансформации.

В деревенских обществах господствует семейное начало: там население поддерживается и увеличивается только в силу своего естественного прироста; в городах господствует общество — толпа: со всех сторон стекают-

ся туда люди, оторванные от своего крова и соединившиеся случайно.

Вот, отчасти, почему в предыдущей главе я счел нужным придать такое большое значение разнице между сельской и городской формой грабежа.

Но безразлично знать, явилась ли склонность к преступлению плодом плохого домашнего воспитания или вредного влияния товарищей. Неустойчивого человека всегда толкают на преступление или семья, или секта, или собрание товарищей в кафе; в последнем случае увлечение, которому он поддается до известной степени, напоминает народное движение, которое толкает мятежника на убийство.

После этих нескольких слов о силе и формах подражания следовало бы изложить его общие законы, которым преступление подчиняется, как и всякое другое общественное явление. Но рамки этого труда заставляют меня ограничиться лишь несколькими краткими указаниями. Мы уже знаем, что пример одного человека, приблизительно так же, как сила притяжения тела, как бы рассеивает вокруг него лучи, сила которых, однако, ослабевает по мере увеличения расстояния между ним и теми людьми, которых коснулся его луч. Слово «расстояние» следует понимать здесь не в геометрическом, а в психологическом значении слова; умножение связей между людьми при помощи писем и печати, духовное общение всякого рода между согражданами, рассеянными по обширной территории, уменьшает, в этом смысле, расстояние между ними. Возможно, повторяем, что благородный пример всего окружающего общества благодаря его отдаленности может нейтрализоваться в душе бродяги влиянием нескольких товарищей.

В экономическом, лингвистическом, религиозном и политическом отношении наблюдается то же самое: по соседству с большими городами существуют еще деревни, имеющие мало сношений с городом; в них сохраняются старинные потребности и понятия, там заказыва-

ют полотно ткачу, любят есть черный хлеб, творят только на простонародном наречии и верят в колдунов и в колдовство. Это замечание никогда не следует терять из виду. Теперь, вместо того, чтобы брать каждый пример отдельно, рассмотрим соотношение нескольких примеров и поищем результатов их обмена. Прежде всего, каким бы низким и презренным ни был субъект, постоянное сношение с ним очень высокопоставленных и очень гордых людей не преминет оставить в последних известное смутное стремление ему подражать; доказательством того служит заразительность произношения, самый высокомерный хозяин, если он живет в деревне один со своими слугами, кончает тем, что заимствует у них некоторые интонации и даже обороты речи так же, как самое холодное тело все-таки сообщает свою теплоту телу более теплому. Но как в общем согревание теплого тела холодным почти ничтожно в сравнении с значительным согреванием холодного теплым, так в наших обществах часто, даже всего чаще, действие, производимое примером рабов на хозяина, детей на взрослых, светских людей на духовенство (во время благоденствия нашей теократии), невежд на литераторов, наивных на опытных, бедных на богатых, плебеев на патрициев (в блестящие периоды господства аристократии), поселян на горожан, провинциалов на парижан — словом, действие, производимое примером низших на высших, можно игнорировать и считаться только с действием обратным, заключающим в себе верное объяснение истории. Во всякую эпоху существует чей-нибудь признанный всеми (иногда несправедливо) авторитет; он составляет привилегию того, кто, будучи более богат потребностями, идеями, дает больше примеров для подражания, чем получает их. Неравномерный обмен примерами, управляемый этим законом, имеет своим результатом тяготение социального мира к состоянию общей нивелировки, аналогичной тому универсальному однообразию температуры, которое стремится установить закон испускания телами тепловых лучей.

Иногда, и даже слишком часто, бывает, что политическое и военное могущество находится в руках нации или класса, наиболее бедного просветительными примерами. В этом случае подчиненная нация или класс, считая себя выше господствующей нации, ограничивается подчинением и отказывается ассимилироваться.

Вот частая причина как притеснений, так и кровавых революций. Победитель прежде всего сознательно или бессознательно хочет, чтобы ему подражали, и если этого нет, он не верит в реальность своей победы.

До такой степени ясно он всегда чувствует, что подражательное условие есть социальное действие по преимуществу. Он старается поэтому всевозможными способами, грубым насилием или открытым давлением, навязать побежденному не только свое иго, но еще и свой тип.

Филипп II, например, применил первый способ к андалузским маврам. Это были самые трудолюбивые, самые богатые, самые культурные и не менее верные, чем другие, его подданные. Но они ревниво охраняли их национальные обычаи, их костюм, пищу, жизненную обстановку, не позволяя себе проникаться испанскими нравами. Отсюда происходило все, что говорилось тогда против них, и вся та ненависть, которую они внушали народу и духовенству победителей. «Победивший народ, — вполне основательно замечает по этому поводу Forneron, — всегда будет недоволен теми, кто пользуется покровительством его законов, не сливаясь с ним воедино»[1], то есть против тех, кто подчиняется, но не подражает ему. Декреты Филиппа II, изданные в 1566 году против мавров при одобрении всех христиан, имели целью сделать подражание мавров христианам везде и во всем обязательным. «С 1-го января следующего года, — говорит Форнерон, — ма́вры не могли иметь ни армии, ни рабов, ни костюмов по своему вку-

---

[1] Тот же автор прибавляет: «То же отвращение замечается теперь по отношению к евреям у христиан и к китайцам у жителей восточной Америки».

су: они немедленно должны были облечься в панталоны и куртки, и не скрывать под чадрой и фередже лица и плечи своих женщин, вынужденных носить с этих пор токи и фижмы, забыть свой язык и в течение 6-ти месяцев изучить испанский и т.д.». Вот деспотизм, доведенный до безумия; известно, сколько потоков крови пролилось благодаря ему. Но разве среди эпох и наций, хвастающихся своей демократической веротерпимостью, не бывало, чтобы какая-нибудь господствующая секта, якобинская или пуританская, преследовала, в сущности, ту же цель, захватывая в свои руки национальное воспитание и переделывая по-своему души детей или попросту, без декретов и битв, отрешая от всех должностей и подвергая всем формам отлучения от церкви тех, кто упорно оставался иным, чем были они? Тем не менее, справедливо, что внушаемое таким образом подражание не распространяется и не проникает глубоко; другими словами, социальное превосходство, более богатое просветительными идеями, кончает тем, что берет верх над политическим могуществом даже в том случае, если последнее не принадлежит ему и даже ему враждебно; я исключаю такие случаи как радикальное истребление, имевшее место по отношению к маврам в XVI веке. История изобилует иллюстрациями этой истины. Зайдите в жилище крестьянина и присмотритесь к его обстановке: от вилки и стакана до рубашки, от точила до лампы, от топора до ружья нет ни одной вещи из его мебели, одежды или инструментов, которая бы прежде, чем попасть в его хижину, не была раньше, в качестве предмета роскоши, в употреблении у королей, высших военных и духовных сановников, затем сеньоров, буржуа и, наконец, соседних землевладельцев. Поговорите с этим крестьянином: вы не найдете у него ни одного представления ни о праве, ни о земледелии, ни о политике, ни об арифметике, ни одного семейного или патриотического чувства, ни одного желания или стремления, которое по происхождению не оказалось бы открытием или смелой инициативой, идущими с верхов общества и постепенно спускающими-

ся до самого его дна. Его французский язык, на котором он начинает правильно говорить, — эхо соседнего города, который, в свою очередь, перенял его из Парижа, точно так же и его местное наречие, которым он еще пользуется (предположим, что дело идет о южной Франции), или передано ему из соседних замков, копировавших провансальские дворы, или тот латинский язык, на котором он начал говорить после Юлия Цезаря, потому что галльская аристократия вынуждена была говорить на языке победителей. Даже его ненависть к старому порядку была внушена ему лицами, стоящими во главе старого порядка; его потребность равенства исходит из якобинских клубов, которые, в свою очередь, усвоили ее из философских салонов, где в обществе красавиц и остряков той эпохи обсуждались новые произведения Руссо. Его ревнивое пристрастие к земле перешло к нему от крупных феодальных собственников, которые всей душой были преданы земле, и которых его предки имели двойное основание копировать в течение целых веков как своих соседей и господ. Социальная иерархия всего больше благоприятствует распространению примеров. Аристократия — это как бы водоем, из которого последовательно распределяются, падая один за другим, каскады подражания. Если крупная промышленность сделалась теперь возможной, если проникновение в самые недра народных масс населения новых потребностей, вкусов и одинаковых понятий открыло ей широкие и необходимые для нее рынки, то не обязан ли настоящий процесс уравнения всех прежним неравенствам? Но подождем думать, что движение это остановится; в эпоху демократии дело аристократии продолжается, и притом в более широком масштабе, столицами[1]. По-

[1] И наоборот, дело столиц продолжает образованная ими же аристократия, которая их переживает. В сущности, все относительно, и под словом «столица», когда речь идет о лесах старой Германии или о первобытном Лациуме, следует разуметь всякое местечко, более крупное, чем соседние деревни. Там всегда зарождается и образуется патриархат. Со своей обычной глубиной Нибур отнес главную внутреннюю

следние во многом походят на первую. Аристократия во дни своего величия блистает гениальностью, роскошью, великодушием, храбростью, любезностью, предприимчивостью, она покупает эти блестящие качества дорогой ценой безумия, преступления, самоубийств, дуэли, незаконных рождений, всевозможных пороков и болезней. Столица не менее роскошна, не менее тлетворна, не менее гениальна и пристрастна к новизне: она проявляет тот же эгоизм и ту же дерзость, она глубоким презрением платит провинции за ее глубокий восторг перед ней и относится к ней так же, как дворянство относилось когда-то к простонародью, с удовольствием оплачивавшему его долги и его капризы; она страдает меньшей рождаемостью и усиленной смертностью, и благодаря язвам, которые ее точат, — туберкулезу, сифилису, алкоголизму, нищенству, проституции, — она неизбежно погибла бы, если бы, как и всякая существующая аристократия, не обновлялась притоком новых элементов[1].

борьбу римской истории, борьбу плебеев с патрициями, на счет различия между Римом-городом и Римом-деревней, которое и послужило источником этой борьбы. Такая борьба, собственно, составляет сущность всякой истории. Каждый день перед нашими глазами обостряется тот конфликт, который является ее последней формой, это — состязание на выборах между крестьянином и рабочим. Ее основание заключается в человеческом организме, мускулы которого, лучше питаемые деревенской жизнью, соприкасаются с нервами, которые городская жизнь развивает до крайности.

[1] Как дворянство старого порядка, современная столица осталась хранительницей дуэли. В моей статье по этому поводу я пытался доказать, что дуэль стала главным образом городским явлением, и что без больших городов этот предрассудок исчез бы очень быстро. С 1880 до 1889 год из 598 дуэлей, внесенных в ежегодник Ferreus, 491, по моим расчетам, — парижского происхождения; остальные 107 ведут происхождение из Марселя, Лима, Лиона, Лиможа и т.д., не существует, так сказать, сельской дуэли, как будто потому, что сельская честь слишком мизерна, чтобы заслуживать обращения оружия против ее нарушителя. Преобладающая форма городской дуэли — литературная, довольно, поэтому, безобидная.

Она поддерживается иммиграцией, как римский патриархат — усыновлением. Таким образом, современный моралист, чтобы предсказать, какова будет мораль будущего, должен иметь в виду примеры больших городов, как прежний моралист вполне основательно изучал то, что происходило в жизни дворов, салонов и замков.

2. Пороки высших слоев общества и преступность

Посмотрим, какое отношение к нашему предмету имеет все сказанное. Как это ни странно, есть очень серьезные основания утверждать, что современные пороки и преступления, гнездящиеся в низших слоях общества, проникли туда с верхов его.

Во всяком зарождающемся или возрождающемся обществе, когда производство вина редко и затруднительно, пьянство сначала бывает лишь королевской роскошью, а потом аристократической привилегией. Короли Гомера пьянствовали, наверное, больше, чем их подданные, вожди меровингов — больше, чем их вассалы; средневековые сеньоры — больше, чем их крепостные.

Еще в XVI веке, в Германии, «известная автобиография рыцаря Швейнихена доказывает, что самое грубое пьянство не считалось позорным для лица знатного происхождения». Он рассказывает, как вещь самую обыкновенную, что три первые ночи после свадьбы он ложился в постель совершенно пьяным, как и все новобрачные.

Привычка курить, такая распространенная теперь во всякой среде, может быть, даже больше распространенная среди народа, чем среди привилегированных классов, где начинают уже против нее бороться, развивалась таким же образом. Яков I Английский, сообщает Роше, обложил табак в 1604 году очень высоким налогам, «потому что, гласит закон, низшие классы, зараженные примером высших, портят себе здоровье, оскверняют воздух и заражают почву».

Неверие масс, кое-где составляющее контраст с относительной религиозностью последних отпрысков старой аристократии, происходит, тем не менее, от последней. Бродяжничество в тысяче современных видов — порок главным образом плебейский; но, заглянув в прошлое, мы увидим, что не ошибаемся, если будем считать предшественниками наших бродяг и бродячих музыкантов благородных пилигримов и менестрелей средних веков. Браконьерство, другой рассадник преступления, игравшего в прежние века вместе с контрабандой роль, подобную роли современного бродяжничества, еще более непосредственно связано с жизнью сеньоров. В «Старом порядке» Тэна указано значение браконьерства в XVIII веке во всех местных землях. Это значение объясняется, несомненно, тем, что охота была привилегией феодалов, и бедняк, с оживлением, смелостью и невероятным увлечением принимавший в ней участие, стремился к ней не столько из бедности, сколько из смутного представления, что охота его некоторым образом облагораживает.

Существовали браконьерские предприятия по примеру больших королевских охот; браконьеры в числе от 25 до 50 человек обменивались смертельными ружейными выстрелами со стрелками охраны и учились, таким образом, разбою.

Отравление стало теперь преступлением невежд[1]; а в XVII веке оно еще было преступлением высших классов, как доказывает эпидемия отравлений, свирепствовавшая при дворе Людовика XIV, от 1670 до 1680 года, вследствие ввоза какого-то яда итальянцем Exili. Маркиза Бренвилье — по прямой линии прародительница Локуст из простонародья в наших деревнях. За столом всех прежних королей, а затем и главных сеньоров в средние века, вплоть до XVI века, утвердился обычай не подносить

[1] Есть исключения из этого правила; таково, например, драматическое дело Ain Fezza, разбор которого заканчивается теперь, когда я исправляю корректурный лист этой страницы.

хозяину ни одного блюда, не попробовав его раньше, из страха, не отравлено ли оно. Эта черта доказывает, насколько часто практиковалось это преступление при дворах и замках, особенно в Италии. В средние века Италия была образцом для наций.

Обычное в средние века убийство через наемных убийц и так называемых bravi, очень распространенное в Италии и Германии, не было ли переходной фазой, которую оно должно было пройти, спускаясь из верхних слоев общества в нижние?

Возможность убивать, из которой вывели потом право убивать, было во всяком первобытном обществе отличительной привилегией высших классов. Великие дни Оверни, как бы ни были они прекрасны в превосходном рассказе Flèchier, достаточно ясно доказывают, каковы были тенденции дворянства в остальных странах.

Очень поучительна эволюция политического убийства.

Были времена, когда короли и главы республик убивали собственноручно, Клавдий, например. Мало того, они убивали преимущественно своих ближайших родственников; отцеубийство, братоубийство, женоубийство, детоубийство, совершаемые хладнокровно à la Тропман, были специальностью меровингов, как можно видеть из каждой страницы Григория Тура. Позднее принцы убивали через наемных убийц; доказательства этого имеются в архивах Венеции. Lamansky, который пользовался ими, нашел там, от 1415 до 1768 года, более 100 постановлений Совета Десяти, относящихся к подобного рода поручениям. Вот, наудачу, один образчик: «1448 г. 5 сентября. Совет Десяти поручает Лоренцо Миньо найти какое-нибудь лицо, которому он мог бы предложить убить графа Франческо (Сфорца), и которому, после приведения этого в исполнение, он может обещать от 10 до 20 тысяч дукатов»[1].

---

[1] Жан-Мари Висконти пользовался убийцами иного рода: он травил собаками миланских буржуа.

Наконец, наступает время (и повсюду, к счастью, раньше, чем в Венеции), когда государственные люди начали краснеть за подобные поступки; в это время цареубийства и убийства тиранов уже по собственному почину совершаются возбужденной толпой.

Нужно заметить, что сильное увеличение числа частных убийств, насколько можно судить о прошлом, не имея статистических данных, следовало непосредственно за вспышками внешних или междоусобных войн, то есть после крупных злоупотреблений официальным убийством в пользу государства. Не будет ли уместно предположить, что жестокость древних карательных мер, таких кровопролитных, служила ужасным примером, торжественно преподаваемым высшими классами общества жестоким людям, и что излишества при публичном преследовании преступлений могли только еще более разжечь и частную месть?

Поджог — это преступление низших классов нашего времени — был преимуществом феодалов.

«Разве не известно, что маркграф Бранденбургский хвалился однажды, что в течение своей жизни сжег 170 деревень?».

Чеканка фальшивых монет производится теперь в каких-нибудь горных вертепах и городских подвалах, но раньше она долго была монополией королей. Правительство ограничивается теперь распусканием фальшивых слухов. Презираемое теперь воровство имело блестящее прошлое. Montaigne, без особого негодования, сообщает, что многие из его знакомых молодых дворян, которым родители давали слишком мало денег, пополняли свои ресурсы воровством. Зачем им было особенно стесняться, когда в ту же эпоху король Генрих III разорял и облагал данью по своему усмотрению парижских купцов; когда было в обычае, даже среди самых дисциплинированных войск, разорять захваченные города и вымогать огромные выкупы за военнопленных, взятых при помощи засады и измен, даже при междоусобных войнах? Ли-

шение свободы[1], еще недавно практиковавшееся разбойниками Сицилии, очень походит на этот прием вымогательства, как abigeato (угон скота) напоминает военные набеги — razzia.

В одной из немецких народных песенок XVI века, сообщенных Янсеном (Janssen), говорится, что «разбой дворянства нестерпим», что дворяне считают воровство «почетным занятием» и что доходит до того, что разбою обучаются так же, как «обучают грамоте людей». Вернер Ролесвинк (Wemer Roleswinck) дает нам несколько подробностей относительно того, как воровали молодые дворяне в Вестфалии (1487).

Когда они отправлялись в деревню, то пели на простонародном наречии их страны: «Будем разорять и грабить без пощады! Лучшие люди страны умеют хорошо это делать».

Те же нравы в менее вопиющих, но более коварных формах приписывают, как и подобает, легистам; здесь чувствуется разница между грабительством городским и сельским. Во всех планах германской реформы XV века говорится о «разбое дворянства». Хроникер той же эпохи говорит, что благодаря рыцарям-грабителям дороги не безопасны. Гетц фон Берлихинген и Франк фон Зикинген — блестящие воплощения аристократического грабительства XV века.

В Италии наблюдается тоже нечто подобное: помещики грабят и требуют выкупа с путешественников, купцов и судохозяев. Франция в этом отношении имеет некоторые преимущества; наше дворянство и особенно наши короли, кроме исключений, особенно размножавшихся благодаря влиянию Италии в XVI веке, отличаются среди остальных

---

[1] В одном уголовном процессе, о котором сообщил мне один уважаемый археолог, виконт de Gérard, разбиравшемся в 1653—1654 годах в сарлатском суде, один из потерпевших целых 8 дней содержался в подземной темнице в замке некоего М... на хлебе и на воде, и был освобожден только после уплаты крупной суммы.

замечательной кротостью и великодушием. Правда, наши короли не брезговали произвольной конфискацией имуществ, и наши дворяне даже в XVII веке, если судить по многочисленным литературным примерам того времени, имели очень растяжимые понятия о деликатности.

В Bourgeois gentilhomme Дорант (Dorante), представляющий собой тип элегантного кавалера, модного щеголя, совершает настоящее злоупотребление доверием в ущерб Журдену; он обязывается от имени последнего снести Доримене драгоценный бриллиант (довольно странное, впрочем, поручение) и дает ей его от своего имени.

Вот маленькая проделка, которая в то время не казалась предосудительной для придворного. И однако же, известно, каким хорошим царедворцем был Мольер. В мемуарах Рошфора есть черта, доказывающая, что важные сеньоры времен Франции делали забаву не из убийства только, но и из воровства. Однажды, рассказывает он, был он в веселой компании, «предложили пойти грабить на Pont Neuf: это развлечение ввел тогда в моду герцог Орлеанский». Рошфор говорит, однако, что он лично чувствовал к нему некоторое отвращение, тем не менее, он наблюдал за ходом дела, забравшись на бронзового коня. Остальные принялись хватать прохожих и забрали 4 или 5 штук плащей. «Но один из ограбленных на нас донес, явилась полиция, и все наши разбежались».

И подумать только, что последние потомки этих феодальных карманников стали теперь чистейшими представителями чести и гордости Франции! Могло ли бы это случиться, если бы наследственность была главным «фактором» в деле нравственности? Кроме того, всюду в Европе существовало право казны на пользование наследством иностранца, что было уже настоящим правом грабежа в пользу сеньоров и в ущерб потерпевшим кораблекрушение у их берегов. Это распространение сверху в нижние слои общества одинаково присуще как городской, так и сельской преступности. Когда в такой стране как Сицилия мы видим процветание сельского грабительства, причем

представители его постоянно вербуются из низших земледельческих классов, мы можем быть уверены, что в минувшую эпоху высшие земледельческие классы, которые теперь ограничиваются лишь покровительством этому дерзкому грабительству, занимались им когда-то сами.

Точно так же, когда шайка взбунтовавшихся злодеев терроризирует столицу и держит в страхе правительство, то нужно вспомнить, что в свое время государственные люди не стыдились пускать в ход резню и вымогательство, против которых они теперь принимают меры репрессий[1].

Мне нет надобности в конце концов напоминать, что во все эпохи их благоденствия дворы монархов и аристократов, как теперь столица, были для остальной нации школами прелюбодеяния, самовластия и нравственной распущенности. Все преступления против нравственности имеют причиной примеры, идущие с верхов общества.

Изнасилование считалось еще большим, чем грабеж, убийство и поджог, развлечением для военных и правящих классов, когда город или замок брался приступом и тотчас же разорялся. Brântam весело рассказывает об этих ужасных оргиях.

А сколько преступных посягательств, совершенных в мирное время в сфере промышленного и земледельческого населения, породил военный обычай насиловать и грабить в военное время, считавшийся как бы правом войны?

---

[1] По поводу истории испанской литературы Brunettière (Revue des Deux Mondes, март 1891) замечает, что рыцарский роман был отцом уголовного романа, посвященного подвигам разбойников и мошенников. От Амадиса до Картуша и Мадрена буквально один шаг. Разве эти последние не «странствующие рыцари» в своем роде? Нельзя ли сказать, что по мере того как общество складывается, организуется и упорядочивается, лица, которые в прошлом были бы рыцарями, превращаются в настоящих мошенников? Не играет ли здесь роли своеобразный взгляд на возможность, не ударяя палец о палец и не имея полушки, жить на дворянскую ногу, — как на своего рода point d'honneur? В наше время такое point d'honneur легко приводит к тюрьме и каторге. История говорит нам о временах Карла V, когда такой взгляд приводил к завоеванию Мексики или Перу.

Из всего этого вовсе не следует, что было время, даже в эпохи самые варварские, когда убийство, воровство, изнасилование и поджигательство были исключительной монополией высших слоев нации; но это доказывает, что когда человек, принадлежащий к низшим слоям, оказывается убийцей, вором, stuprator'ом или подражателем, он выгодно отличается от других благодаря внушаемому им ужасу, — в некотором отношении облагораживался и, так сказать, со взломом входил в правящие круги. Во время варварства, то есть общественной неурядицы, раздробленности и хронической враждебности, всякий деятельный, предприимчивый и отважный человек стремится сделаться главой шайки, как в эпоху мира и тесной общественной жизни он хочет быть главой дома. Затем, если его преступный промысел имеет успех, он уже хочет заставить величать себя королем, как что сделал калабрийский разбойник Маркой, провозгласивший себя в 1560 году королем. Этот факт, часто наблюдаемый в Италии, может отчасти служить объяснением происхождения не только христианского, но и всякого другого феодализма, например, греческого и индусского[1].

«Маленькие (итальянские) государи, начавшие с какого-нибудь разбойничьего подвига (речь идет о XV веке), очень многочисленны и отличаются жестокостью», — говорит Gehbart. Разве эта преступная жестокость правящих

[1] Не забудем, однако, что это заражение преступностью от аристократии всегда вознаграждалось и, по большей части с избытком, в особенности же в XVIII веке, ее благотворным влиянием. Особый характер как добродетелей, так и пороков народа ведет свое начало от прежних вождей. Если чувство рыцарской чести вульгаризовалось во Франции, где оно выражается в частых дуэлях, если высокомерная гордость и независимость характеризуют теперь испанца, а энергия и любовь к свободе — англичанина, то это не простой только вопрос расы: позволительно видеть в этом результат векового влияния аристократии на все эти нации. Ясно, что из подражания когда-то правившим классам всякий испанец хочет быть идальго, и самый последний французский плебей дерется теперь на дуэли. Прежде поединок был аристократической привилегией, как и рыцарская честь.

классов в Италии в XV и XVI веках не могла способствовать объяснению печального факта распространенности кровавой преступности среди современного итальянского народа? И не обязаны ли французы своей меньшей склонностью к убийству относительно мягкому характеру своих предков?

3. Крупные города, миграции и преступность

Если преступления распространялись некогда от высших классов к низшим, как и все продукты промышленности, все хорошие и дурные понятия, и если дворянство в эти далекие времена привлекало к себе грубые и преступные элементы народа, то теперь можно видеть, как преступление распространяется от городов в деревни, от столиц в провинции, и как столицы и большие города с непреодолимой силой притягивают к себе всех выброшенных за борт общественной жизни: и деревенских, и провинциальных негодяев, которые стремятся туда с целью цивилизоваться, конечно, на свой лад, — новый род облагораживания.

На некоторое время этот факт выгоден для провинции, она очищается благодаря этой эмиграции и переживает эру относительного спокойствия: никогда, быть может, деревни и села не имели меньших оснований бояться убийства и вооруженного грабежа, чем теперь. Но, к несчастью, привлекательность больших городов для преступников тесно связана с их влиянием на остальную нацию и с обаятельным могуществом их примера во всем. Поэтому есть основания опасаться, что выгода этого улучшения провинции недолговечна. Столицы передают провинции не только их политические и литературные вкусы, их ум или глупости, покрой их платья, фасон их шляп и их акцент, но еще и свои пороки и преступления. Покушение на невинность детей — преступление преимущественно городское, как показывает карта этого рода преступности: на ней можно видеть, как, распространяясь, оно образует грязное пятно вокруг больших городов. Ка-

ждая разновидность убийства и воровства, придуманная гением зла, прежде чем распространиться по всей Франции, рождается или насаждается в Париже, Марселе, Лионе и проч. Ряд трупов, разрезанных на куски, фигурировал впервые в 1876 году в деле Биллуара; в то время это разрезывание трупов локализовалось в Париже, Тулузе и Марселе, но потом перешло в Loir et Cher, в Eure et Loir К

Женская выдумка обливать купоросом лицо любовника — чисто парижского происхождения. Честь этого изобретения принадлежит вдове Грас и относится к 1875 году; я знаю деревни, где посев дал богатую жатву, и где крестьянки упражняются в обмывании купоросом.

В 1881 году молодая актриса Клотильда У... в Ницце обливает купоросом своего любовника. Когда ее спросили, с каких пор ей пришла в голову мысль о мщении, она ответила: «В тот день, как я прочла в одном парижском журнале статью о женской мстительности».

Другим орудием женской мести служит револьвер: вслед за появлением его в одном громком процессе в Париже последовал аналогичный выстрел в Оксерре.

В 1825 году в Париже Генриетта Корнье совершила жестокое убийство вверенного ей ребенка; через некоторое время другие няньки последовали непреодолимому влечению перерезывать горло детям своих хозяев без всякого для того повода. Нет ни одного примера мошенничества, фигурирующего на деревенских ярмарках, который не появился бы прежде всего на парижском тротуаре. После дел Пранцини и Брадо, говорит д-р Corre (Crime et suicide), было несколько попыток произвести то же самое над публичными женщинами. Но существует и более разительный пример совершения преступления вследствие внушения и под влиянием подражания, чем серия изувечений женщин, начавшаяся в сентябре 1888 года в Лондоне в Уайтчепельском квартале. Никогда, быть может, пагубное влияние «Смеси» в журналах не проявлялось с большей очевидностью. Журналы были наполнены описаниями подвигов Джека-потрошителя, и меньше чем за год

совершилось около 8 совершенно тождественных преступлений на различных модных улицах в самом центре города.

Но это еще не все. Подобное же явление продолжается вне столицы и вскоре отзывается даже за границей: в Сутамптоне — изувечение ребенка; в Бреффорте — жестокое изувечение другого; в Гамбурге — убийство маленькой девочки с извлечением внутренностей; в Соединенных Штатах — вспарывание живота у четырех негров (Бирмингем) и вспарывание живота и изувечение одной мулатки (Мильвиль); в Гондурасе — вспарывание живота и т.д. Вслед за преступлением Гуффе почти тотчас же совершается такое же преступление в Копенгагене... Заразные эпидемии переносятся с тучами и ветром, эпидемия преступлений передается по телеграфу.

Правда, глядя на карту французской преступности, мне могут возразить, что и на большом расстоянии от крупных центров многие сельские местности идут по пути увеличения преступности. Но изучим подробнее эту карту, присмотримся к деталям — и, вместо того чтобы уклониться от предыдущих соображений, мы вынуждены будем к ним вернуться.

Мы увидим, что пример больших городов оказывает не только прямое влияние, но также, и даже в большей степени, косвенное, подобно влиянию старинной аристократии, распространившемуся благодаря привлекательности ее наслаждений, роскоши и пороков — этой прелюдии и подготовки к восприятию заразы ее преступности. Большие города привлекают деревни, потому что последние начали с подражания им во всем. Прогресс этого подражания можно измерить прогрессом сельской эмиграции, которая почти целиком направляется в Париж и другие большие центры.

Внутренняя и внешняя эмиграция к центру все время увеличивается, в то время как пропорция сельского населения в сравнении с общей цифрой населения все уменьшается и меньше чем в 25 лет спустилась с $^{3}/_{4}$ до $^{2}/_{3}$.

Итак, кто говорит о переселении, почти всегда говорит о смешении классов; а когда люди оказываются вне рамок в социальном отношении, то они не замедлят оказаться и вне закона. В 1876 году было высчитано, что на 100 000 французов, оставшихся у себя на месте, было только 8 преступников; на такое же число эмигрировавших к центру пришлось 29 преступников; а на то же число иностранцев, проживающих во Франции, их пришлось уже 41.

Человек тем неосмотрительнее, чем больше он оторван от семьи и почвы. Когда он находит себе семью и отечество, он тотчас же становится лучше. «На севере, например, натурализовавшихся иностранцев вдвое или втрое больше, чем в Дубсе, и преступность среди них в три или четыре раза слабее».

Это не все; пример крупных центров действует не только на людей молодых, деятельных и предприимчивых, которые туда стремятся; он затрагивает и незаметно кладет глубокий отпечаток на людей семейных; и если кто-нибудь из них при помощи разведения виноградников, или при помощи индустрии, или спекуляции разбогатеет и станет на ноги, то первое употребление, которое он сделает из своего богатства, будет состоять в подражании какому-нибудь парижанину, насколько это будет достижимо при его первобытной наивности; затем он будет увлекать этим неуклюжим и стеснительным подражанием всех своих соседей. Таким образом, в pandant к Bourgeois gentilhommes старого режима и в качестве следующего номера появляется ruraux — citadins. Это — Париж в карикатуре, появившийся среди деревни. Так бывает со всеми слишком быстро разбогатевшими виноделами в Геро, скотоводами в Нормандии и выскочками коммерческого мира, рассеянными всюду.

4. Очаги преступности

Посмотрим еще раз на карту. Я не говорю о той, где каждый департамент окрашен соответственно числу обвиняемых в преступлениях и проступках, имевших там

место, без различия между местными обвиняемыми и подсудимыми и пришельцами со стороны. Joly оказал нам услугу, составив карту, где намечены различными красками соответствующие числа обвиняемых в преступлениях и проступках из местного населения департамента, привлеченных к следствию как в пределах, так и вне пределов последнего. Таким образом, он отнес к каждому департаменту все преступления, совершенные его обитателями вне его или внутри его, и отметил только эти преступления; склонность каждого департамента к добру и злу, таким образом, ясно определяется. Замечательно, что эта карта, являющаяся точным и полным отражением преступности каждого департамента, выясняет также и точное распределение последней по всей стране. Это уже не простая шахматная доска, какую собой представляли старые карты; тут большие массы начинают принимать известную физиономию. Как кажется, департаменты, одинаковые или близкие по окраске, группируются приблизительно на пространстве одного и того же бассейна реки. Бассейн Сены очень темен, Париж, эта большая черная точка, ясно выступает, как фокус темных лучей. Напротив, бассейн Луары почти весь чистого белого цвета. Луара орошает департаменты Алльe, Шер, Ньевр, Луарет, Луар и Шер Индр и Луару, Мэн и Луару, Нижнюю Луару. Кроме Луаре та, окрашенного в серый цвет, несомненно, благодаря Орлеану, все эти департаменты отличаются своей относительной нравственностью. То же самое замечается по всему бассейну Шаренты, включая и Вандею. Я мог бы сказать то же самое и о бассейне Гаронны, если бы соседство Бордо не бросало черной тени на департамент Жиронды; удивительно, что Тулуза — город, правда, неподвижный и преданный старым традициям, — не влияет на окраску Верхней Гаронны. Все департаменты, орошаемые Сеной, белы, кроме первого, пограничного, и как такового довольно темного. На границе двух государств происходит нечто вроде преступного эндосмоза и экзосмоза иммиграции и эмиграции подозрительных личностей, что и

выражается в высоких цифрах общего итога судебной статистики[1].

Наконец, даже бассейн Роны в большей своей части, на левом берегу по крайней мере, дает лишь светлые оттенки. Разумеется, нужно исключить департаменты, в которых находятся Лион и Марсель.

Нам, впрочем, нечего удивляться, что один и тот же уровень нравственности царит на одном и том же судоходном пути и в прилегающей к нему области. Не будем забывать, что реки были когда-то единственными проводниками заразительных примеров, и в отношении обычаев, промышленности, мод, так же как и нравственности, они постепенно уравняли прибрежную землю[2]. Я упоминаю об этом из боязни, чтобы какой-нибудь приверженец «физических факторов» не основывался ошибочно на этом квазигидрографическом распределении преступности во Франции. Но особого внимания заслуживает факт благоприятного воздействия, производимого на нравственность земледельческим или полупромышленным богатством черноземной земли, богатством старинным и прочным, рожденным трудом и землей[3].

Таково правило, и тем яснее выступает такое крупное исключение как бассейн Сены вокруг Парижа, и осо-

---

[1] В повышенной преступности этого странствующего персонала виноват не только плохой подбор: известно, что независимо от безнравственности всякий меньше стесняется убить или обокрасть чужеземца, в среде которого он живет, у которого он даже гостит, чем своего соотечественника.

[2] Другой пример: посмотрите внимательнее на первую карту *Atlas de statistique financeire* 1889 года, относящуюся к сбыту крепких напитков, — вы увидите на ней, что тот же самый цвет простирается на бассейны Луары, Дордоньи и Гаронны.

[3] Земли, быстро обогащающиеся, бывают лучше в нравственном отношении, если их богатство является плодом усиленного труда. Двадцать лет тому назад бретанские департаменты считались среди 30 наиболее преступных: теперь они находятся в числе 30 наилучших. В этот промежуток времени Бретань обратила на себя внимание прогрессом земледелия.

бенно Нормандия; это же исключение выдает, по крайней мере отчасти, влияние столицы, точно так же, как в меньших размерах такие исключения как Жиронда, Рона, устья Роны выдают влияние Бордо, Лиона и Марселя. Нормандия, самая старинная из французских земель, раньше и упорнее всех отличалась преступностью, несмотря на то, что была одной из лучших в материальном отношении. Еще лучше, что наиболее бесплодные части Эйра и Кальвадоса, как указал Жоли, на западе этих двух департаментов наименее преступны; это на первый взгляд опровергает наше предыдущее замечание, но это прекрасно объясняется меньшим соприкосновением этих земель с деморализирующими влияниями, сказывающимися в более плодородных участках. Здесь пример быстро разбогатевшего при помощи спекуляции на скоте сельского хозяина (потому что старшее лицо, которому подражают, — теперь лицо наиболее богатое, а современный богач и есть разбогатевший) вызывает в его ближних, недовольных своим подчиненным положением, жалкое соревнование, выражающееся в подражании его комфорту, жадности, пьянству, его мальтузианской предусмотрительности. Вот два следствия одной и той же причины: прогресс жадности и возрастающее стремление походить per fast et пе fas на тех, кто обогащается. Сравним то, что гам происходит, с тем, что делается на противоположном конце Франции, в Геро. С 1860 года, то есть с того времени, как началось быстрое и легкое обогащение этого департамента, числившегося среди самых светлых, он окрашивается все темнее и темнее, так что теперь уже принадлежит к самым темным.

Округ Монпелье, больше других разбогатевший, в то же время и самый испорченный; в этом округе главным полем преступной заразы служит порт Сет, самый богатый и благоденствующий в стране. «Можно сказать, что три четверти обитателей Геро состоят из лиц, быстро и непонятно разбогатевших». Какую же роль, скажут мне, может играть здесь влияние больших городов, и особен-

но Парижа? Большую, чем можно подумать[1]; слишком быстрое обогащение является своего рода высшей деклассацией, не менее опасной, чем другая (низшая деклассация) как для лица деклассированного, так в особенности и для публики. Значит, есть и такой вид деклассированных, как и многие другие виды; большой город, или пример большого города, их привлекает и ослепляет; особенно пример Парижа, где деклассированные этого вида изобилуют как нигде больше, потому что нигде спекуляция, зачастую мошенническая, не создает ни такого колоссального, ни такого быстрого обогащения.

Это не должно заставить нас забыть постоянно преобладающего участия обычая и традиции, родительских и наследственных примеров, в своеобразной окраске, присущей проявлениям порочности и преступности каждой провинции, даже самой модернизированной. Городскому пришельцу никогда не подражают в такой степени как своему собственному отцу, который, в свою очередь, подражал соседнему помещику или клерку. Эти два вида подражания высшим нужно скомбинировать вместе, чтобы получить почти полное представление о действительности. В Нормандии преступность и безнравственность современных крестьян поразительно напоминают во многом неурядицы нормандского духовенства, черного и белого, какими представляет их нам с таким высоким беспристрастием архиепископ Эд Риго.

Эти развеселые капитулы и монастыри, по которым водит нас этот святой человек, больше заслуживали бы визита Рабле. Пьянство и сластолюбие, изнеженность и жестокость, смесь эпикурейства со скупостью и алчности с ленью являются здесь побудительными причинами всех прегрешений. Там все игроки, все сутяги мало мстительны для своего времени, и еще меньше гостеприимны и милосердны. В существе дела, все до сих пор оста-

[1] Несомненно, что имеет значение и иммиграция иностранных рабочих, и алкоголизм, как и при устьях Роны.

лось по-старому, несмотря на внешние видоизменения... Вместо сидра и алкоголя тогда опьянялись вином. Роскошь у монахов состояла в том, чтобы носить рубашки и иметь подушки и занавески из полосатой шелковой материи, а монахини носили пояса с металлическими украшениями. Мы ушли вперед с тех пор. Монахи и монахини, по крайней мере, до назначения в их епархию благочестивого епископа и в начале его архипастырской деятельности, держали при себе своих незаконнорожденных детей, как и их правнуки впоследствии. В заключение нужно заметить, что епископ Риго нигде не нашел полного состава монахов; где нужно было быть 20 монахам, насчитывалось всего 12-15. Ясно, что настоятели из экономических соображений, в высшей степени эгоистических, стремились насколько возможно ограничить пределы их духовной семьи, как нормандские отцы семейств ограничивают теперь пределы своих семей, по крайней мере законных. В действительности монастырское мальтузианство имеет еще немало аналогий с настоящим мальтузианством и, подобно последнему, не мешает увеличиваться количеству внебрачных детей. Я не останавливаюсь на многих других сопоставлениях подобного рода. Отсюда, по-видимому, вытекает, что от средних веков до нашего времени нормандец остался таким же, каким он был создан, быть может, по образцу и подобию господствовавших когда-то классов, влияние которых сказывается еще и теперь под действием новейших образцов.

Во Франции есть провинции, где влияние последних не играет никакой заметной роли. Департаменты центрального плоскогорья, преимущественно Лозеры, дают темную окраску, которая невыгодно противопоставляется общей белизне департаментов равнины. Нужно остерегаться смешивать преступность этих горных местностей, хранительниц прежних нравов, с преступностью городских участков. Подражание старшим проявляется там в старинной форме подражания аристократии или домаш-

ним; религиозный жестокий и мстительный отец, чаще всего браконьер и в этом отношении копия своих прежних аристократических властителей, — вот тип, к которому стремится приблизиться сын, и до известной степени эта горная преступность, целомудренно-жестокая, вся состоящая из мести и гнева, может считаться следствием и вульгаризацией преступности феодалов, с которой познакомили нас великие дни Оверна. К той же категории принадлежит и Корсика. Можно было бы включить сюда и Бретань до современного смягчения ее нравов. Но эта архаическая форма преступности заметно исчезает, и всюду, где мы видим на карте постепенное сгущение краски, мы можем быть уверены, что подражание деревенским предкам заменилось там подражанием городским пришельцам или соседям, живущим на городскую ногу. Если бы для всей такой большой страны как Франция можно было разложить сырой материал общей суммы статистических цифр на его составные элементы, реальные и живые, то был бы ясно, как очень удачно выразился Joly, что под этими цифрами в действительности скрываются тысячи очагов незаметной вредной заразы или не менее глубоко спрятанных благотворных воздействий, то вспыхивающих, то погасающих и здесь, и там, по деревням и селам. Повышение и понижение, констатируемые статистикой, суть только алгебраические выражения этих маленьких положительных и отрицательных величин. Тогда выяснилось бы значение подражания высшим. Оказалось бы, что каждый из этих очагов преступности представляет собой социальную вершину положительного или отрицательного свойства, что каждый из них сумел стяжать себе, дурно ли, хорошо ли, благополучие и авторитет, которые ярко выступают на фоне населения, до тех пор погруженного в рутину своих традиционных пороков или добродетелей. Вместе с тем, нетрудно было бы заметить, что если эти центры и кажутся самопроизвольно возникшими, то эта их самопроизвольность призрачна. Даже совпадение

и сходство их возникновения указывает, что они заимствовали свое пламя или первую искру у какого-нибудь центрального очага, который называется большим городом.

5. *Познание будущей преступности*

Изучение преступности наших больших городов особенно заслуживает нашего внимания как наиболее надежный путь к познанию будущей преступности государств. Уголовная статистика дает в этом отношении неутешительные сведения. Во всяком случае не следует этим особенно огорчаться. В действительности столицы — еще только образующаяся аристократия, как показывает их быстрый рост. От 1836 года до 1866 население Парижа увеличилось вдвое, в то время как население всей Франции — лишь на одну восьмую.

Как всякая растущая аристократия, столицы имеют свои лихорадочные периоды роста и с жаром предаются мотовству и всяческим излишествам. Их фатовская самоуверенность развивается наряду со священным благоговением перед ними провинциалов. Но всякая аристократия, уже установившаяся и возмужавшая, становится скромнее, и в то время как уменьшаются ее преимущества, обнаруживаются ее положительные качества; ничто не может сравниться с очарованием аристократического общества, когда оно теряет свое могущество. Начиная с Людовика XIV французское дворянство и духовенство пали под игом королевской власти и сделались образцом мягких и мирных нравов. Этому примеру, разумеется, подражали, как и их вежливости, и это благотворное воздействие, погашающее большую часть морального зла, которое можно было бы вменить правящим классам прошлого, нам объясняет, быть может, почему накануне революции французская преступность, не считая периодов голода и нищеты и исключая районы деморализованных бичом банкротства, по-видимому, была очень слабой. «Грабители и воры по Франции становятся все более и более редки в XVIII веке»;

и в эту эпоху «безопасность больших дорог изумляет английских путешественников», особенно Юнга (Joung).

Так, быть может, в свое время будет со столицами, этими аристократами наших дней, после какого-нибудь победоносного восстания в провинции, потому что столицы, как и аристократия, несознательно стремятся сделать себя бесполезными или безвредными самой продолжительностью своего влияния. Опустевшие, разрушенные, бессильные, но не развенчанные, не лишенные былого ореола, они сохраняют гегемонию в деле искусства и вкуса и престиж аристократизма, переживший падение дворянства. Их лучший цвет — чистота эстетического вкуса — сохранится за все время их постепенного падения. Так было с Афинами, подпавшими под иго Римской империи; так было, в свою очередь, с Римом после вторжения варваров. А пока нужно сознаться, что с точки зрения порочности и преступности столицы представляют собой печальное зрелище. Разумеется, как замечает в их пользу Майр в своей статье «Statistica e vita sociale», в их оправдание можно привести то, что в них пропорция взрослых людей от 18 до 50 лет, то есть в возрасте как наибольшей активности, так и наибольшей преступности, заметно выше, чем в деревнях, где, наоборот, число детей и пожилых людей пропорционально значительнее. Но в этом заключается лишь смягчающее обстоятельство, поскольку оно в то же время не является отягчающим; разумеется, самой здоровой и самой деятельной части нации не стоило стремиться в город для того только, чтобы направить свою силу и деятельность в сторону порока. Помимо этого указанное различие, хотя и заслуживающее внимания, слишком незначительно, чтобы оправдать разницу сравниваемых мной степеней преступности.

Прежде всего, что касается собственно преступлений (crimes), деяний, подлежащих суду присяжных, то, если составить, по примеру Boumet, таблицу преступлений против собственности и таблицу преступлений против личности, отметив для каждой из них тремя различ-

ными кривыми годичную цифру обвиняемых с 1826 до 1882 года: 1) во всей Франции; 2) в сельских районах; 3) в городских районах, то есть во всяком поселении с числом душ свыше 2000 человек, мы увидим, что в то время как первая, и особенно вторая, в течение этого 50-летия все понижаются, третья повышается на первой и на второй картограмме одновременно. Я должен, впрочем, обратить общее внимание на то, что понижение числа преступлений в деревнях есть оптический обман статистики и ничуть не указывает на действительное понижение преступности в настоящем смысле слова. Многие из деяний, причислявшихся старым уголовным кодексом 1810 года к разряду преступлений, классифицировались последующими законами как проступки; к этим коррекционализациям в законодательном порядке присоединился с каждым днем все более входящий в практику институт судейской коррекционализации, который применяется прокуратурой с согласия суда и подсудимого. К этой оговорке я прибавлю, что если бы, следуя методу Boumet, начали изучать отдельно преступность департамента Сены, другими словами, Парижа, от 1826 до 1882 года, то были бы поражены тем замечательным фактом, который, как мне кажется, мало согласуется с гипотезой неминуемого смягчения нравов вследствие прогресса цивилизации: это — рост кровавых преступлений.

Они почти утроились в Париже, в то время как на целую треть уменьшились в деревнях и лишь немного увеличились в других городах. Не восходя к 1826 году, я констатирую, что в 1857 году в Париже было 5 умышленных убийств и 9 предумышленных, а в 1887 году — 16 умышленных и 36 предумышленных убийств; в промежутке между этими годами открывается серия других цифр и прогрессии, правда, неправильной, но в общем возрастающей и притом заметно превышающей рост парижского населения.

Сравнивая этот результат с тем, который дают нам кровавые преступления во всей Франции между 1856 и 1888 годами, я позаботился отбросить цифры, относящие-

ся к Корсике, так как преступность этой страны вносит в вычисление беспорядочность и спутывает их. Сделав это вычитание, я нашел, что пять лет между 1856 и 1860 годами дали в общем 1299 умышленных и предумышленных убийств, и что пять лет между 1876 и 1880 годами довели эту цифру до 1533.

Это увеличение — приблизительно на одну седьмую, в то время как кровавые преступления в Париже увеличились в 3 раза, то есть с 14 поднялись до 45.

Есть основание верить, что в действительности увеличение не больше, чем кажется. Я должен сделать по этому поводу одно примечание, которое, несмотря на всю его простоту, ускользнуло как будто бы от статистиков. Чтобы узнать, увеличилось или уменьшилось число убийств, грабежей или других преступлений от одной эпохи до другой, одно время довольствовались цифрой выносимых судами обвинительных приговоров, относящихся к ним преступлениям, не заботясь о том, что даже и окончившиеся оправданием дела той же категории также свидетельствуют о совершении преступления, правда, кем-нибудь другим, а не заподозренным лицом, не обвиняемым, но это совершенно безразлично с точки зрения общей нравственности или безнравственности. Теперь это приняли к сведению и стали считаться не с количеством осуждений, но с общей цифрой предъявленных обвинений или возбужденных предварительных следствий. Но достаточно ли этого? Разумеется, нет. Действительно, теперь, как и раньше, принимаются в расчет лишь те деяния, которые прошли через руки прокурорского надзора, или в силу постановления судебного следователя, или приказа об аресте, отданного обвинительной камерой. Но сколько жалоб или протоколов, обнаруживающих очень серьезные преступления и проступки, предумышленные и умышленные убийства, квалифицированные кражи, отнесены в разряд оставленных без последствий в судебном портфеле или прекращены по недостатку улик? Все это нужно включить в общий подсчет преступности, если хотят, чтобы он был верен. Но

по собранным нами сведениям этого никогда не делалось. Если пополнить этот пробел, то обнаружится следующее. Прежде всего, общее число преступлений и проступков, оставшихся таким образом без преследования, не переставало увеличиваться. Средняя цифра таких преступлений за пятилетний период между 1840 и 1850 годами была 114 014; от 1861 до 1865 года — 134 554; от 1876 до 1880 — 194 740 и от 1880 до 1885 — 225 680... Если мы разложим эти цифры, то найдем, что средняя годичная цифра предумышленных убийств, не дошедших до суда, была: в 1861-65 годах — 217; в 1876-80 — 231; в 1880-85 — 253; средняя цифра умышленных убийств была в первый из этих периодов 223; во второй — 322; в третий — 322; в те же периоды побои и нанесения ран, не подвергшиеся преследованию, отмечаются последовательно цифрами: 12 000, 16 397, 18 234; цифра поджогов (умышленных или признанных нечаянными): 12 683, 13 186, 16 470; краж: 41 369, 62 223, 71 769; мошенничеств: 4 044, 5 998, 7 663; нарушений доверия: 3 336, 6 453, 11 760; подлогов: 373, 696, 637; прибавьте сюда нарушение общественной нравственности: 800, 1087, 1088; оскорбление властей при исполнении обязанностей: 1 843, 2 669, 2 217 и т.д.

Теперь сложим вместе средние цифры дошедших и не дошедших до суда преступлений и проступков каждой из рассмотренных нами эпох. Средняя цифра преступлений и проступков, не дошедших до суда, в указанном выше порядке такова между годами 1881 и 1865, 1876 и 1880, 1880 и 1885: предумышленные убийства 175, 197 и 216; умышленные 105, 143, 186; удары и нанесения ран 15 520, 18 446, 20 851; простые кражи 30 087, 33 381, 35 466; мошенничества 3 314, 2 993, 3 502; нарушения доверия 2 800, 3 378, 3 696 и т.д.

Я опускаю другие не менее красноречивые цифры; достаточно и приведенных для оценки воображаемого уменьшения в наши дни кровавых преступлений; поразительный же рост преступлений, обнаруживающих лукавство и чувственность, не вызывает сомнений. Бы-

строе возрастание преступлений, соединенных с насилием, как следует из вышеприведенных цифр, должно быть бесспорно приписано влиянию больших городов. В самом деле, с одной стороны, мы знаем, что, судя по делам, дошедшим до суда, пропорция городских преступлений преобладает, с другой стороны, представляется весьма вероятным, что то же самое a fortiori относится и к делам, не дошедшим до суда. Непрерывное увеличение числа последних было бы необъяснимо, если бы дело шло только о сельском населении. Именно в больших городах встречаются и умножаются условия, благоприятные для инкогнито или бегства преступников. Устраним одно второстепенное возражение: могут сказать, что среди убийств, не сопровождавшихся преследованием, было известное число таких, относительно которых доказано, что в них не нашлось состава преступления или правонарушения. Это правда; но зато сколько необнаруженных убийств среди смертей, признанных случайными, цифра которых более чем утроилась в течение 58 лет, и среди самоубийств, цифра которых поднялась с 1759 в 1827 году до 7902 за 1885 год и до 8202 за 1887 год?

Если мы предположим, что в течение этого полувека пропорция ошибок в определении причин смерти осталась одна и та же, и что лишь одно убийство на 1000 (а это очень мало) ошибочно включалось в число тысячи случайных смертей и самоубийств, то тогда цифра убийств очень заметно повысится. Но я думаю, что таких убийств гораздо больше. Затем, сколько еще настоящих самоубийств, будучи самоубийствами, являются в то же время, только в другом смысле, настоящими убийствами? Сколько несчастных, покончивших с собой, в сущности, убиты вероломством их соперников, привычным мошенником-спекулятором, разорившим их, диффаматором, который их обесчестил, всеми этими «честными» убийцами нашего времени, незаметно и безнаказанно из-за угла убивающими своих жертв?

Следовательно, установить цифру предумышленных и умышленных убийств труднее, чем установить их побудительные причины.

Эти последние во Франции изменили и, следовательно, глубоко преобразили их природу. Пропорция предумышленных и умышленных убийств из корысти, по официальному отчету 1880 года, почти удвоилась: за время от 1826 до 1880 года процент их увеличился с 13 до 22, в то время как процент убийств из мести понизился с 31 до 25. Значит, не в больших ли городах по преимуществу, где убийца и жертва зачастую даже не знают друг друга, корысть является душой предумышленного и умышленного убийства? С этой точки зрения Сена и Корсика представляют антитезу, и между предумышленными и умышленными убийствами двух этих департаментов Франции, то есть между сельским убийством из мести одного и городским убийством из корысти другого, общего только имя. Городские убийства преобладают — это неизбежно. Но как бы ни был поразителен этот контраст, тем не менее, остается справедливым, что один и тот же закон подражания низшего высшему объясняет эти противоположные друг другу категории преступлений. Культы семейной мести, переходящей по наследству, действительно ошибочно считать примитивным чувством, врожденным человеку; ничто так мало не согласуется с беззаботностью и забывчивостью дикарей, как эта настойчивая и упорная память об обиде. Насколько естественна немедленная месть, настолько неестественна месть через долгое время. Повышенная семейная гордость, обнаруживающаяся в vendetta, по происхождению могла быть только аристократической. Вот почему древние народы, представлявшие себе свои божества в виде их вождей, смотрели на мщение как на наслаждение богов. По воззрениям некультурных или всего на три четверти культурных обществ, развить в себе упорство коллективной мести — значит облагородить себя. Убийст-

ва из мести так часты в Корсике, Сардинии и Испании только потому, что семейное начало там еще замечательно крепко. По мере того как эта солидарность, имеющая старинное аристократическое происхождение, вытесняется индивидуализмом современного города, потребность наслаждаться жизнью идет на смену потребности вызывать уважение и страх, потребность богатства заменяет потребность мести. Поэтому нет ничего удивительного, что в городах процветает убийство из корысти. Но среди преступлений против личности к пассиву крупных центров должно в особенности относиться изнасилование и посягательство на невинность детей. С непрерывающейся правильностью, которая служит статистическим показателем всякой подражательной пропаганды, годовая цифра этих возмутительных деяний возросла во Франции с 136 за 1836 год до 791 за 1880 год; она увеличилась в пять раз. Socquet вынужден был признать, что это чрезмерное увеличение ложится главным образом на города, и особенно то, что ответственность городов за это преступление значительно превосходит ответственность деревень. Департаменты, занимающие здесь первое место соответственно своему населению, — как раз те, которые заключают в себе крупные центры: департамент Сены, Северный, Нижней Сены, Жиронды, Роны, устьев Роны и т.д. Последнее место принадлежит сельским департаментам.

Это преступление исключительно мужское и старческое, так же как и исключительно городское; чем больше оно распространяется, тем более, по-видимому, увеличивается возраст его совершителей; пропорция осужденных в возрасте 60 лет и выше все растет и обнаруживает воздействие патологической причины. Не является ли то обстоятельство, что привычка к распутству под владычеством возбуждений города укоренилась и стала общей как для юношей, так и для вполне сложившихся мужчин, и вместе с тем у пожилых людей и стариков сделалась

причиной чудовищных извращений полового чувства как следствия развратной жизни[1]?

Изумительно на первый взгляд, что посягательства на невинность подростков немного сократились (с 137 до 108), в то время как посягательства на невинность детей моложе 14 лет стали чаще в 5 раз.

Что это значит? В сущности, это сокращение и это учащение имеют здесь одно и то же значение. Действительно, совершенные без насилия, то есть с согласия субъекта, над лицами старше 13 лет, относимыми к категории подростков, те же самые акты, которые преследовались бы, если бы совершались при помощи насилия, остаются без последствий. Следовательно, мы не можем сомневаться, судя по возрастающему количеству насилий над детьми, что и подростки делаются предметами все более и более многочисленных покушений. Если это так, то понижение числа преследований по суду за покушение на невинность подростков лишь доказывает, что последние все реже и реже оказывают сопротивление, проникаясь развращенностью окружающих. Рост числа посягательств на невинность детей не дает, впрочем, оснований думать, что дети больше сопротивляются; доказательством противного служит снисходительность присяжных именно к этому преступлению вследствие того, что показания жертвы всего чаще бывают благоприятны для обвиняемого. Но здесь согласие не избавляет от судебного преследования.

Значительная часть преступлений и проступков, совершенных подростками обоего пола, — другая характе-

---

[1] В последние годы заметно небольшое уменьшение этих преступлений, но было бы несвоевременно основывать серьезные надежды на числовом колебании, может быть, случайном, может быть, чисто кажущемся, так как это преступление — одно из тех, относительно которых прокурорскому надзору предоставляется самое широкое усмотрение. Если снисходительность публики доходит и до сердца судей, то нет ничего удивительного, что они относят теперь к *оставленным без последствий* протоколы, которые несколько лет тому назад были бы поводом для возбуждения следствия.

ристическая черта городской преступности. Раннее проявление у молодых людей порочности, талантливости и всякого рода способностей, как известно, чаще встречается в городской среде, чем в деревенской; это объясняется замечательной чувствительностью детей к воздействию подражания. Все более и более пополняемый преступниками от 16 до 21 года бюджет преступления мы можем приписать влиянию крупных центров.

Число мальчиков этого возраста, осужденных или обвиняемых, учетверилось меньше чем в 50 лет: с 5933 за 1831 год оно поднялось до 20 480 за 1880 год. Число девушек этого возраста почти утроилось: в тот же промежуток времени оно с 1 046 дошло до 2 830. Этот прогресс продолжался: в 1885 году цифра мальчиков равнялась 25 539, а цифра девочек — 3 149. Это прямо ужасно[1].

В общем, все эти цифры указывают на изнеженность наших нравов.

Прогрессия вытравлений плода и детоубийства подтверждает этот вывод. Что же касается вытравления плода, то открыть его настолько трудно, что попытка определить его цифру является довольно химеричной. Заметим только, что, несмотря на необъяснимые колебания, оно заметно повышается (8 в 1826 году, 20 в 1880), и что на один миллион деревенских жителей (от 1876 до 1880 года) насчитывалось 4 таких обвиняемых, а на миллион парижан их приходилось 14.

Детоубийство ускользает от правосудия реже, чем вытравление плода; с 1831 года, по крайней мере, оно точно

---

[1] Англия в этом отношении, как и во многих других, выгодно отличается от континента. Из составленной Колаянни статистической таблицы (см. его «*Sociologia criminale*», т. II) видно, что на этой островной территории пропорция несовершеннолетних преступников-мужчин в промежуток между 1861 и 1881 годами с 7373 спустилась до 4688, а пропорция несовершеннолетних женщин — с 1428 до 795. То же исключительное понижение замечается в Испании. Нужно заметить, что чем меньше рождаемость, тем хуже воспитываются дети. В Англии семьи остались сильными и многочисленными.

так же идет, непрерывно повышаясь, до 1863 года (в среднем за время от 1831 года до 1835 — 94; за время от 1850 до 1860 — 214), и если после этого времени оно немного повышается, то только потому, что закон 1863 года относит вытравление плода, которое раньше квалифицировалось как детоубийство, к простым проступкам; впрочем, понижение это довольно слабо, и за ним опять следует повышение (средняя цифра за период от 1856 до 1860 года — 186; от 1876 до 1880 года — 194).

Я хорошо знаю, что по нашим статистическим данным на одно и то же количество сельских и городских жителей деревни дали бы большее количество этих преступлений, чем города; но это оттого, что наша статистика принимает во внимание лишь место рождения обвиняемых, не считаясь с тем, в городе или в деревне они жили до совершения преступления; а сколько девушек-матерей, родившихся в деревне, никогда не стали бы преступницами, если бы не жили некоторое время в каком-нибудь городе! И сколько сельских жителей подчиняются внушению и влиянию городов, даже оставаясь на месте!

Статистика, повторяю еще раз, — это иероглифы, которые нужно еще разобрать с помощью познаний, взятых нами из другого источника. Распространение детоубийства так тесно связано с распространением безнравственности, несомненным очагом которой является городская жизнь, что каково бы ни было происхождение преступника, за преступлением нельзя признать сельского происхождения.

Было бы ошибочно думать вместе с несколькими выдающимися приверженцами итальянской позитивной школы, что взаимным соотношением между преступлениями против личности и преступлениями против собственности управляет обратный закон и что там, где увеличивается число одних, уменьшается число других. Относительно Франции, карты Ивернеса, приложенные к его официальному отчету о статистике преступлений за вре-

мя от 1826 до 1880 года, обнаруживают скорее заметное согласие, чем несогласие в географическом распределении этих двух видов преступлений по департаментам; таблицы Листа для Германской империи еще меньше подтверждают этот предполагаемый антагонизм. Между этими двумя видами преступности установлено не обратное, а прямое соотношение. Для Италии Бодио составил очень подробные карты, которые, по внимательном рассмотрении, нигде не подтверждают тезисов его соотечественников. Я нашел, например, что окрашенная на карте в белое область Сиенны — белая также и на карте убийств и преступлений против собственности, что окраска Римской провинции в большей или меньшей степени, но все-таки постоянно темна на обеих картах, также как окраска Сардинии, Сицилии и т.д.

Корсика, правда, как будто подтверждает предположение, о котором идет речь: совершенно черная на карте убийств, она совершенно белая на карте краж. Но это лишь хороший пример тех иллюзий, к которым располагает нас статистика. Можно подумать благодаря этому, что этот остров является одним из тех департаментов Франции, где собственность всего более уважается. Но нет департамента, где она уважалась бы меньше. Седьмая часть острова покрыта лесом и кустарником только потому, что закоренелая привычка жителей к грабежу и мародерству мешает обрабатыванию почвы.

Я скажу то же самое о Париже, к которому возвращаюсь теперь после моего отступления. Преступления против собственности, по-видимому, убавились там наполовину (средняя годовая цифра за время от 1825 до 1827 года с 519 упала до 261 за время от 1876 до 1882 года). Но примем во внимание законы 1832 и 1862 годов, переименовавшие в проступки столько прежних преступлений, и институт судебной коррекционализации, применяющейся главным образом к имущественным преступлениям. Посмотрим теперь таблицу проступков, и мы увидим, что

цифра простых краж, для которых прокурорский надзор не нашел удобным указывать на отягчающие вину обстоятельства, не переставала расти в Париже, так же как цифра мошенничеств и злоупотреблений доверием.

Нескольких указаний будет достаточно: за время от 1865 до 1885 года цифра простых краж почти регулярно возрастала с 3 205 до 5 364; цифра мошенничеств — с 532 до 809; цифра злоупотреблений доверием — с 921 до 983.

В общем, продолжительное влияние больших городов на преступность выразилось, нам кажется, в постепенной замене не столько насилия хитростью, сколько мстительного и дикого насилия насилием корыстным, вероломным и утонченным. Благодаря большим городам или возбуждаемой ими лихорадочной жажде наслаждений всякая здоровая цивилизация неминуемо придет к смешению стремлений, враждебных друг другу, если против этого не будут приняты меры. Что же удивительного в том, что большие города накладывают свою печать на преступление? Что удивительного даже в том, что они его вызывают? Они же вызывают и безумие, и даже больше — гениальность, этот другой предполагаемый невроз, в создании которого природа, конечно, играет большую роль, чем в создании преступности. В своем Uomo di genio[1], любопытной книге, настолько же содержательной и не менее интересной, чем Uomo delinquente, Ломброзо поместил карту Италии, представляющую географическое распределение артистических талантов и гениев по полуострову. Меня поразил тот факт, что все они распределяются вокруг старых столиц — Флоренции, Рима, Генуи, Милана, Пармы, Палермо, Венеции и т.д. Вполне возможно, что во всех странах происходит то же самое. У нас, наверное, из статистических вычислений Якоби следует, что число замечательных людей, выдвигаемых каждым департаментом, стоит в прямом соотношении с сплоченностью населения и с пропорцией преобладания городского населения. Это

не одна только хорошая сторона городской медали, но какова ее оборотная сторона![1]

Несмотря на все это, наша мысль была бы понята неверно, если бы из нее вывели заключение, что, по нашему мнению, цивилизация притупляет и развращает человека.

Как бы выгодно ни отличалась мстительность, как более благородный мотив, от корысти, она все-таки угрожает (хотя совсем иначе) безопасности личности и имущества. Если сравнить эпоху варварства и эпоху цивилизации, то всякий должен радоваться, что родился во вторую эпоху.

---

[1] Факт, который, если бы он был точно установлен и обоснован на удовлетворительных статистических данных, мог бы нас успокоить, это — уменьшение *военной преступности*. Это новая тема, с которой доктор Корр (*Archives d'Anthropologie criminelle*, 15 марта 1891) выступил одним из первых. Он задался мыслью вычислить отдельно собственно военные преступления и преступления против общего права. Оставив в стороне первые, которые нас мало касаются и пропорция которых тоже, впрочем, уменьшилась почти на одну треть за 50 лет, он нашел, что французская армия насчитывает по одному преступлению или проступку против общего права на 466 человек в 1839 году; на 483 человека в 1849 году; на 437 человек в 1865-66 годах и на 738 в 1885 и 1886 годах. Улучшение зависит, конечно, от обязательной для всех службы. Прежде право замещения себя другими наполняло полки заместителями из подонков общества. По мере того как стирались различия между нацией и армией, нужно было ожидать, что дурные или хорошие особенности, свойственные последней, станут менее резкими. Итак, военная преступность, самоубийства (если не дуэли) военных уменьшились. Следовательно, хотя военная преступность, несмотря на свое уменьшение, и остается выше преступности остальной нации (как бы ни оспаривал этого д-р Корр), нужно все-таки радоваться этой новой, уже настолько заметной, по крайней мере во Франции, тенденции: ведь престиж армии в среде нашего народа стал не менее заразителен, чем престиж столиц, и разделил с последними наследство аристократии старого режима. Настоящие современные аристократы — это офицеры наших полков, которым все больше и больше все подчиняются и подражают, так как все служат или служили в солдатах. Разница между *военным* и *штатским* соответствует до известной степени разнице между *горожанином* и *сельским жителем*. Полк — это очень сплоченный и хорошо организованный город.

Во времена племенной жизни ни в одной стране Европы не проливалось столько крови, как в Шотландии; теперь же она отличается исключительной мягкостью нравов.

С тех пор как Италия решительно и всецело вошла в течение современной жизни, она ежечасно отмечает уменьшение кровавых преступлений и преступлений против собственности; доказательством служат статистические таблицы Бодио. Испания по мере ее обновления отмечает то же. Две уже указанные географические карты преступности, составленные Листом, представляют в Германии постепенную градацию темных красок по мере того, как переходишь от запада к северу, то есть от областей более просвещенных и богатых к восточным славянским областям, где царят относительная бедность и невежество. Как в преступлениях против личности, так и в преступлениях против собственности (устранив значение побудительных причин) эти последние провинции, едва вышедшие из состояния варварства, берут верх над провинциями запада и севера. Даже Берлин дает сравнительно небольшое для столицы число преступлений, за исключением преступлений против нравственности, в отношении которых он, как и Париж во Франции, занимает первое место. Бросив взгляд на сравнительную уголовную статистику Европы, тотчас можно заметить, что наиболее кровожадные страны наименее культурны: южная Италия, южная Испания, Венгрия и т.д. То же самое, по-видимому, было и раньше. В средние века Германия была самой некультурной страной в Европе. Она же была и одной из самых преступных. Мужская преступность должна была быть там действительно ужасающей, хотя по отношению к женской преступности этой страны и той же эпохи было найдено следующее свидетельство Конрада Сельта, публициста XV века. Рассказав о страшных пытках, которым подвергались женщины (их зашивали в мешки и зарывали живыми в землю, замуровывали в стену и т.д.),

он прибавляет: «Все эти наказания и мучения не мешают им совершать одно преступление за другим: их развращенный ум богаче на выдумки новых злодеяний, чем ум судей — на изобретение пыток».

Как же согласовать моральное усовершенствование, которое всюду вносит с собой культура, с деморализацией, распространяемой большими городами, этими вершинами и источниками цивилизации? Противоречие сводится, я думаю, к простому недоразумению. Но прежде чем думать о разрешении этого затруднения, мы должны сделать несколько разъяснений, после которых оно разрешится само собой. Прежде чем решить эту животрепещущую проблему о соотношении между ходом цивилизации и движением или изменением преступности, нужно ее точно определить. Выразим ту же мысль иначе. Принимая во внимание, что преступность в своих характерных формах и выражениях есть проявление распространения подражательности, нужно узнать, благоприятствуют или мешают прогрессу распространения преступности другие многочисленные формы распространения подражательности, которые вкратце называются цивилизацией: распространение школьных знаний, домашних и церковных верований и обрядов; политических идей при помощи журналов; чувства товарищеского долга благодаря соприкосновению с товарищами; промышленных и артистических способностей и талантов через посредство ателье, бюро, ремесел и т.д. Или, еще лучше, нужно бы сначала узнать, если бы это было возможно, какие из этих различных областей примеров, называющихся наукой, религией, политикой, коммерцией, индустрией, благоприятствуют, и какие мешают распространению преступления.

6. Преступность как тунеядствующая ветвь общественного дерева

Наша постановка вопроса уже сама по себе показывает, что преступление, на наш взгляд, есть социальное яв-

ление особого рода, но в конце концов все-таки такое же социальное, как и всякое другое[1].

Это — тунеядствующая ветвь общественного дерева, но, как и другие его ветви, она питается общим соком и подчиняется общим законам. Мы видели, что, взятая в отдельности, она растет согласно закону подражания сверху вниз, как и все остальные плодоносные и полезные ветви того же ствола. Мы могли бы прибавить, что так же, как они, она трансформируется и развивается благодаря периодическим прививкам новых отпрысков и новых черенков подражания-моды, которые обновляют и питают, иногда вновь восстанавливают запас подражания-обычая, но сами стремятся укорениться и увеличить наследие привычек и традиций. Всякая индустрия точно так же питается совокупностью различных усовершенствований, нововведений — сегодня, традиций — завтра; всякая наука, всякое искусство, язык, религия подчиняются этому переходу обычая в моду и наоборот — моды в обычай, но в обычай распространенный. Потому что с каждым таким шагом вперед район господства подражания увеличивается, после социальной ассимиляции человеческого братства расширяется, и это, как нам известно, далеко не самый благотворный результат действия подражания с моральной точки зрения.

Некоторые разъяснения здесь необходимы. Что мы видим в начале или, скорее, в каждом начале истории? Сколько семей или семейных групп, столько и языков, культов, зачатков законности, артистических и ремесленных приемов, видов морали, столько же, прибавим еще,

---

[1] Аристотель в своей «Политике» выражается так: «Разведение скота, агрикультура, *разбой,* рыбная ловля, охота — вот естественные для человека формы промышленности, которыми он пользуется для обеспечения своего существования». Если бы экономисты постигли, что всякое богатство, приобретенное помимо труда, обязано своим появлением грубому или утонченному грабежу, то они получили бы правильное представление об огромной роли преступления в функционировании социального организма.

видов порока и преступления. И, наконец, что мы видим, когда один и тот же цивилизующий двигатель долгое время волновал все эти племена? На всем континенте, где царила раньше первобытная раздробленность, распространился один и тот же язык, общая религия или наука, общий кодекс законов, форма правления, промышленность, искусство, мораль, наконец, одинаковая форма безнравственности и преступности[1].

Каким образом произошло это изменение? Нам объясняет это обзор этих эпох, потому что недостаточно сказать, что война или победа создали наконец это единство; они его только вызвали. Победа объясняет подчиненность, но не ассимиляцию побежденного. Но, разрушив преграды между племенами, она объединяет их в города, позднее города сливаются в федерации, еще позднее из федераций она организует государства, и в государства, все более и более обширные, она открывает с каждым веком все более и более широкий доступ иноземным влияниям, сливающимся с влиянием обычаев старины. Но дверь для вторжений извне остается открытой лишь на некоторое время, также как и для смешения слов, кумиров, прав, ремесел, правил, вкусов, пороков и преступлений; и всегда можно увидеть, что язык, религия, закон, мораль, эстетика, форма правонарушений и разбоя, распространив свое владычество благодаря обогащению их фонда, ревниво закрываются своими расширившимися, но ставшими снова неприступными оплотами, и продолжают свое существование, подчиняясь авторитету одного только обычая. Отсюда это странное сопротивление, которое диалект или культ, местный, провинциальный или национальный, выставляет навстречу наречию или убе-

---

[1] В свою очередь, если вначале все было различно для каждого отдельного места, то все оставалось в течение веков неизменным; было много различий, но мало дифференциации; и наконец все становится одинаковым в данный момент, но все очень быстро изменяется: различия во времени и различия в пространстве кажутся друг для друга противовесами.

ждениям, занятым у ближайших соседей, в промежутках между благотворными эпидемиями моды.

В первобытной Германии, например, до вторжения в пределы Римской империи каждый маленький народец имел свой катехизис, свои законы и т.д. Следствием вторжения было то, что они сами поддались влиянию моды, которая сделала престиж побежденных предметом подражания. Все их постановления тогда приняли отчасти отпечаток христианских и римских влияний, так же как их язык, вследствие всеобщего увлечения примером побежденных. Тем не менее, их новая религия, новые наречия, новые гражданские и уголовные законы и т.д. не замедлили стать для них такими же дорогими, как и обычаи их предков. Но я оставлю в стороне эти темные времена меровингов и каролингов, заметив во всяком случае, что царствование Карла Великого ознаменовалось, как эра вторжений, всеобщим потрясением юридических, политических, промышленных и иных основ под всемогущим напором новых веяний. Но затем границы воздвигаются вновь, и каждая национальность начинает вновь замыкаться в себе самой; но если понимать под словом «национальность» социальную величину, а не политическую выкройку, то будет ясно, что со времен меровингов национальности, то есть группы в достаточной мере приспособленных друг к другу индивидуумов, уменьшились количественно, но увеличились в объеме. Эпический момент крестовых походов до Людовика внятно отличает другой сильный ураган подражания во всем внешним примерам; это тот период, когда несколько новых широких течений подражания, идущих от нескольких изобретений или капитальных открытий, например, реставрированного римского права, вновь найденных сочинений Аристотеля, идей готического стиля или так называемый chanson de geste, заливают и оставляют свой осадок на всех местных обычаях, на всех местных философских и теологических доктринах, местных литературных и архитектурных произведениях, затапливая одни и воскрешая

другие. Затем следует период относительного спокойствия при Людовике Святом, когда расширившиеся государства организуются каждое отдельно, когда высшие школы юриспруденции, философии, архитектуры, поэзии сосредоточиваются и замыкаются в самих себе, преобразуются и приобретают постоянные особенности, наследственно передаваемые в качестве национальных или местных традиций. Эпоха Возрождения, открытие Америки и эпоха Реформации кладут конец этой созидательной работе, и в потоке бесчисленных нововведений быстро применяется язык, убеждения, наука, литература, искусство, коммерция.

Вместо преобразования мог бы произойти полный разгром, если бы XVII век не явился вовремя связать в снопы отдельные колосья этой жатвы, и если бы не освятила ее традиционная основательность его успехов. Затем наступает XVIII век и с таким же энтузиазмом, только в более широких размерах, возобновляет дело XVI века; но не замечается ли уже теперь некоторое понижение уровня космополитизма, вызванного нашими французскими философами, и стремление конца нашего века обособить нации, правда, очень увеличившиеся, так же, как предыдущая эпоха стремилась объединить их?

Следовало бы применить закон этого неправильного, но продолжительного ритма к каждой отдельной веточке и ветви социальной деятельности, если бы это не грозило завести нас слишком далеко[1].

Отсюда можно было бы вывести много заключений; я отмечу только одно из самых простых, но заслуживающих не меньшего внимания с точки зрения будущего морали. Путешественник, идущий через дикий или варвар-

---

[1] Было бы совершенно ошибочно видеть в этом ритме случай ритмического колебания, как понимает его Спенсер, то есть действие, за которым наступает противодействие. Не будем смешивать *действие* и *противодействие*, с одной стороны, с *обсеменением* и *укоренением*, с другой: там второе уничтожает первое, здесь первое находит себе продолжение и дополнение во втором.

ский архипелаг или континент, встречает там повсюду мелкие племена, до такой степени привязанные к дедовским обычаям, что на первый взгляд у них все кажется самобытным. Каждое из них уверено, что оно должно иметь исключительно ему принадлежащий язык, иметь собственный угол, то есть что называется «boire dans son verre», особенные религиозные, политические и артистические понятия и т.д.

Но в то же время этот путешественник замечает, что на очень большом пространстве, несмотря на различие рас, эти разные племена, герметически в себе замкнутые в данный момент, имеют известный комплекс общих корней, у их религий — общий источник легенд и мистерий, в их искусстве — общие формы, приемы и задачи и т.д. Если при наличности этого замечательного сходства он захочет удержать гипотезу об их самобытности, с которой он начал, то он встретит то же затруднение, которое встречали все до Дарвина[1], чтобы согласовать сходство между отдельными особями одного и того же рода, семейства и порядка с гипотезой об их независимом происхождении. Это затруднение как будто устраняется, когда гомологии и аналогии между людьми, открытые сравнительной анатомией обществ, объясняются предполагаемым тождеством человеческой природы и предполагаемой неизменностью ее необходимого везде и всегда развития. Но, в частности, эта теория приводит к абсурду, что и обнаруживается при помощи наблюдений над нашими цивилизованными и полуцивилизованными обществами, где встречаются подобные же гомологии и аналогии, причина которых обрисовывается с достаточной для нас ясностью. С энергией, свойственной всякому унаследованному от предков обычаю, католицизм целыми веками держится в Ирландии и

---

[1] Заметим мимоходом, что закон Мальтуса и Дарвина о стремлении всякого рода к распространению и бесконечным видоизменениям, несомненно, должен быть пополнен поправкой о стремлении не обратном, но постепенном и чередующемся с первым, к закреплению.

Бретани; но мы, тем не менее, не знаем имен тех миссионеров, которые внесли и пропагандировали его там под защитой широкого идейного движения, восприимчивого к новому, враждебного старине, как и все наши революционные кризисы. Во всем свете первые машины были введены на заводах и фабриках всякого рода, ставших меньше чем в столетие там, где турист их теперь видит, наследственными и неискоренимыми местами промышленного труда.

Но мы знаем, что паровую машину изобрел Уайт, что мало-помалу из небольшого уголка Англии она распространилась повсюду, и везде, где рабочие почитают ее теперь как старую знакомую, они раньше смотрели на нее неприязненно.

Нет ни одной ткацкой, вязальной или швейной машины, которую не постигла бы та же участь. Как ни национальна немецкая музыка, она пришла в Германию из Италии; как ни характерна для Греции греческая скульптура, зерно ее занесено было в Грецию с Востока; при всей своей своеобразности этрусское искусство идет из Финикии. Многие выражения и обороты нашего языка, употреблявшиеся сначала из любви к новшествам, удержались позднее только благодаря пристрастию к архаизмам. Нет ни одного литературного нововведения, которое, распространяясь, не стало бы классическим, иначе говоря, традиционным.

Особенно настаивать на этом нет надобности: мы можем заключить, что всякое общественное явление, то есть всякая личная инициатива, всякая своеобразная манера мыслить, чувствовать и действовать, пущенная кем-нибудь в обращение, имеет тенденцию распространиться в качестве моды как среди первобытных, так и среди культурных людей и, распространившись, сделаться коренным обычаем как у тех, так и у других.

Для нас важнее всего то, что не только язык, догмат, орудия и промышленные и артистические таланты стремятся сделаться общими и таким образом утвердиться, но

и чувства и привычки положительного или отрицательного свойства.

Сколько африканских племен, среди которых пьянство дошло до того, что стало целым учреждением, получили от нас менее чем 100 лет тому назад первый стакан водки, выпитый ими с гримасами! Сколько миллионов европейцев похожи в этом отношении на дикарей! Скверная привычка курить, занесенная в Европу и весь Старый Свет некоторыми американскими племенами, так укоренилась у нас, что сигара в Испании стала тем же, чем была трубка у краснокожих — национальной эмблемой. Бутылка во всех странах, издавна предающихся пьянству, стала тоже чем-то вроде фетиша, как ружье в Сицилии и Корсике является объектом священного уважения[1] в качестве орудия традиционных убийств или как кремневый нож у жрецов ацтеков, служивший для вскрытия человеческих жертв по требованиям обрядов, был предметом религиозного почитания. Изображение мужского члена, которое носили на шее дети во времена Римской империи, символизировало культ религии наслаждений, начавшийся в Сирии, охвативший Рим и все вокруг него и пустивший крепкие корни. Эпидемия как в деле пороков, так и в деле добродетелей немедленно делается диатезой.

Всякая варварская или культурная добродетель, гостеприимство или честность, храбрость или трудолюбие, целомудрие или благотворительность, прежде чем утвердиться в каком-нибудь народе, непременно были сперва занесены к нему извне. Нет жестокости, причуды, формы разврата, суеверия, каковы, например, антропофагия, ритуальное убийство стариков и больных, татуировка, чародейство, разгадывание снов и предзнаменований, убийство политических преступников или конфискация их имуществ, допрос с пытками, дуэль, инквизиция и т.д., которые повсюду, где они встречаются водворившими-

---

[1] Не уступают «ни ружья, ни жены», говорит одна сицилийская пословица. Ружье упоминается раньше жены.

ся подобно конституциональной болезни, не развились из чужеземного зародыша, занесенного ветром общественности. Не нелепость ли дуэль? А каким значением она пользуется у многих поколений в цивилизованных обществах и на целых континентах!

Возможно ли, однако, сомневаться в том, что она была, как и всякая ордалия, всякая денежная пеня, индивидуальным изобретением, совершенно не заслуживающим своего громадного успеха? Разумеется, идея Суда Божия в виде борьбы между двумя жалобщиками не могла самопроизвольно зародиться в нескольких местах зараз, в то время когда достаточно было бы обратиться к суду, чтобы избежать поединка.

Было бы ошибочно думать, что все народы, у которых мы находили местный обычай съедать пленников, приносить в жертву стариков, продавать или убивать новорожденных, бесчеловечно обращаться с рабами и вообще иметь рабов или пристращиваться к кровавым играм цирка, к auto da fe, к бою быков, жестоки от природы; или что народы, предающиеся педерастии, каковы арабы или греки, от природы развратны; или что народности и классы, занимающиеся по национальному обычаю конокрадством, контрабандой, ростовщичеством, финансовыми спекуляциями, родились ворами. Истина в том, что они сделались такими, так как имели несчастье допустить проникновение к ним извне микробов какого-нибудь дурного примера. Было бы такой же ошибкой считать, что крепость, честность и врожденное целомудрие некоторых культурных народов Европы защищают их от вторжения и утверждения у них известной жестокости, разврата и гнусности, при одном упоминании о которых их коробит.

Чем цивилизованнее народ, и чем больше подчиняется он владычеству моды, тем внезапнее и стремительнее несется лавина примеров от высших слоев городского населения в самые последние закоулки сел и деревень. Население Римской империи, мирно расположившееся вокруг своего голубого моря, было самым мягким, самым

человечным, даже самым изнеженным, какое только можно было видеть до XVIII века во Франции, но и оно все могло отказать себе в удовольствии посмотреть в большой праздник резни тысяч гладиаторов, потому только, что таков был римский обычай, заимствованный, вероятно, из Тарента. Подобно этому, XVIII век закончился для нас резней французской революции, причем каждое убийство в Париже, повторяясь в нем же, повторялось в виде резни и грабежа во всей Франции. Это было не что иное, как мода, но она заметно стремилась перейти в традицию при помощи авторитета «великих предшественников».

Несчастье в том, что как только для какого-нибудь преступления или порока оказывается возможность прикрываться авторитетом предков, они начинают считаться извинительными, даже уважаемыми и патриархальными и снискивают себе всеобщие симпатии и снисхождение присяжных: таковы нанесения ран ножом (coltellate) в Италии, убийства из мести в Корсике, sfregio в Неаполе, или в известной коммерческой среде подделка торговых документов, или поджог имущества самим хозяином с целью получения страховой премии. Есть округа и кантоны, где это последнее преступление до такой степени вошло в обычай, что страховые общества отказываются возобновлять страхования от пожара.

Sfregio настолько же в обычае у неаполитанских любовников, насколько купорос у французских обманутых любовниц. Оно позволяет первым насильно заставить обвенчаться с собой под угрозой шрама на лице, вторым — под угрозой ожога, еще более обезображивающего. Первый и второй способы носили сначала эпидемический характер, а затем, первый по крайней мере, приобрели характер местный.

Удар бритвой по лицу женщины до такой степени национализировался в окрестностях Неаполя, что, по словам Гарофало, «есть деревни, где ни одна молодая девушка, кроме таких, которую охраняет ее некрасивая наружность, не имеет шансов избежать его, если она не решится

на брак с первым сделавшим ей предложение». Тем не менее, присяжные были до того снисходительны к этому обычаю, что дела такого рода пришлось изъять из их компетенции. Императорский Рим считал игры в цирке и амфитеатре до такой степени невинными, что искренно и благородно возмущался человеческими жертвоприношениями у друидов, приблизительно так же, как мы приходим в ужас от обычая полигамии у арабов, забывая о проституции в наших городах, или как Англия боролась против торговли неграми, но не постеснялась заживо хоронить тысячи женщин и детей в своих каменноугольных копях. Чтобы заметить возмутительный характер обычая, надо смотреть на него со стороны и издалека. Мы упрекаем дикарей в том, что они отравляют свои стрелы, а сами изощряем свой ум в придумывании неслыханно разрушительных снарядов, митральез и торпед, которые могут во мгновение ока взорвать самое крепкое военное судно или скосить на поле битвы 200 000 человек в течение одного часа. Ничто не может сравниться с прогрессом нашей военной и политической жестокости, кроме глубины его бессознательности; наша политическая печать внушает только презрение к смерти; призыв к убийству и прославление убийства никого не удивляет. Но такая узаконенная преступность развивается главным образом окольными путями. Вторжение безнравственных софизмов в область морали, обмана — в область честности столь же постоянны, сколько и нечувствительны.

Салонное остроумие, как известно, упражняется на крайней границе приличий и ловко отодвигает эту границу все дальше и дальше, так что в один прекрасный день в самом утонченном обществе люди заговорят о неприличнейших в мире вещах, сохраняя все приличия. Роль остроумия в веселых собраниях светского общества та же, что роль ловкости в серьезных делах.

Она действует на границе между порядочностью и безнравственностью и отодвигает эту границу так далеко, что в самой цивилизованной и деловой среде можно по-

зволить себе вполне честно делать величайшие подлости при всеобщем одобрении.

Если бы не было правосудия, то разве пристрастие к окрашиванию вина фуксином у виноторговцев, то есть отравление потребителей, не сделалось бы вскоре упорной привычкой, таким же упорным обычаем в винных погребах как clauses de styles в нотариальных актах?

7. Противоречия подражания и преступность

В результате пороки и преступления, как и обязанности, и привычки порядочности, как слова и понятия, как все какие бы то ни было подражательные действия подчиняются этому закону безграничной прогрессии и бесконечного упорства, который одновременно господствует в общественном и органическом мире. Но этот закон и здесь, и там выражает только стремление, иногда находящее поддержку, иногда, напротив, сопротивление при встрече с подобными же стремлениями, то благоприятствующими им, то конкурирующими с ними. Возможно, мне кажется, формулировать последний вывод из этих поддержек и конфликтов, и мы увидим тогда, что вопрос о том, каким образом преступность то поддерживается, то задерживается просвещением, наукой, религией, промышленностью и богатством, искусством и красотой, должен разрешиться при помощи общих законов, управляющих взаимным соотношением религии с наукой, или науки с промышленностью, или видов промышленности между собой. Но эти отвлеченные формулы ничего не объясняют; перейдем лучше к частным и понятным подробностям. Два снопа лучей различных примеров, исходящих от двух различных и часто очень отдаленных друг от друга очагов мозга, начинают скрещиваться между собой в мозгу человека. Таким образом два луча подражания встречаются друг с другом. Можно, действительно, дать название луча группе людей, поочередно копирующих один другого, передающих, так сказать, из рук в руки одну какую-нибудь идею, потребность или приемы, на-

чиная с изобретателя их и кончая индивидуумом, интересующимся ими. Они сцепляются, как атомы эфира, которые передают друг другу одно и то же светлое колебание. Предположим, что дело идет об ученом, в котором встретились два таких луча. Один, идущий к нему от Кювье, приносит ему убеждение в независимом происхождении каждого вида, другой, идущий от Дарвина, убеждает его в общем происхождении видов[1].

Очевидно, что один из этих лучей должен остановиться в нем и уже не двигаться дальше, потому что оба эти воззрения противоречат друг другу; одно говорит да, другое нет. Если бы он тогда же случайно бессознательно отнесся к этому противоречию, как это часто бывает с не менее крупными противоречиями между известными религиозными догматами и известными научными теориями, которые иногда без затруднения совмещаются в некоторых сложных умах, то не было бы вопроса об остановке.

Но рано или поздно всякое противоречие дает себя знать. Наоборот, если в мозгу какого-нибудь астронома скрещивается идея Ньютона о всемирном тяготении и идея Леверье относительно открытия Нептуна, то его первое убеждение усилится, потому что второе независимо от первого утверждает определенно то, что утверждает и первое, говорит да там, где первое говорит тоже да, что и принято называть согласованием.

Интерференция в этом случае является созиданием, в предыдущем — разрушением. Представим себе врача,

---

[1] Заражение людей убеждениями и желаниями друг от друга так похоже на заражение действием и так смешивается с последним, что как первому, так и второму я считаю возможным дать название подражания. Подражание убеждениям и подражание желаниям, правда, непроизвольны, в то время как подражание действием произвольно, но они тоже производятся сознательно и одинаково связаны с тождеством личности. Сущность личности часто лучше выражается в фатальных для нее убеждениях и страстях, чем в самых обдуманных действиях. Вот почему как те, так и другие обусловливают, по-нашему, полную ответственность.

страстно любящего путешествовать по железной дороге, — это желание специальное, и оно перешло к нему по прямой линии от первых путешественников, вошедших в вагон; он в то же время с жаром старается излечить своих клиентов — желание профессиональное, переданное ему по восходящей линии врачей начиная от Гиппократа. Эти два желания сталкиваются в нем; они тоже противоречивы, но в ином смысле, а именно в том, что одно мешает другому идти к цели. Каждое из них по отношению к цели другого является препятствием. Удовлетворить одно — значит не удовлетворить другое; одно хочет, чтобы было да, другое — чтобы было нет. Если, наоборот, оба желания согласуются, как это может быть, например, с желаниями провинциального кандидата прав быть депутатом и жить в Париже, то можно сказать, что одно подтверждает другое, так как осуществление первого совпадает с осуществлением второго.

Я извиняюсь в том, что так долго останавливаюсь на таких простых и ясных случаях, но они одни только позволяют мне разобраться в этих трудных и запутанных вопросах.

Представим себе теперь человека, не только убежденного и стремящегося, но и действующего; вот когда должно проявиться противоречие между его убеждениями и желаниями. Приходится ли ему говорить или действовать, он должен выбирать между противоречивыми понятиями и страстями, которые им овладевают. Но разве он встречает в этот момент новые затруднения? Нет, все то же, только под другими названиями. Чтобы выразить одно понятие или одно убеждение, к его услугам являются два слова или два способа выражения: два луча словесного подражания, различное происхождение которых часто бывает вполне возможно установить, отыскав их у двух известных писателей, которые ввели их в употребление; эти два луча тоже сталкиваются. Почему же? Потому что для оратора весь вопрос заключается в том, который из двух ораторских приемов лучше; следовательно,

утверждать, что один лучше, — значит отрицать это в другом. Подобно этому, чтобы осуществить известное желание, сфабриковать какой-нибудь продукт, удовлетворить потребность тратить деньги, деловому человеку, фабриканту и потребителю предоставляются два средства, два приема, два пункта; эти средства и приемы принадлежат различным изобретателям. Таковы, например, колесо или винт для парохода, медные или стальные жернова для размалывания зерна, газ или электричество для освещения, рожь или маис для пищи и т.д. Вопрос в том, который из приемов или пунктов выгоднее; избрать один — значит найти его выгодным, а другой — невыгодным. Поэтому если не принимать во внимание цель, которой они в данный момент удовлетворяют, то прием, пункт, орудие, труд, деление вовсе не противоречат друг другу, как не противоречат друг другу понятия, носящиеся в воздухе, независимо от всяких положительных или отрицательных предположений. Так, во всех случаях, где не приходится конкурировать с винтом, колесо может употребляться свободно, и распространение винта не будет служить ему препятствием.

Точно так же булыжный жернов, за исключением тех случаев, когда дело идет о размалывании зерна, и электричество, если дело это касается освещения, могут свободно развиваться, не встречая препятствий в распространении медных жерновов и т.д.; употребление одного слова не мешает употреблению другого независимо от их смысла, если они не синонимы. Точно так же развитие самоубийства мешает развитию убийства лишь там, где, как, например, на Востоке, то и другое являются двумя различными средствами отомстить за себя врагу: пытаться найти у нас в Европе, вместе с Ферри и Марселли, обратный закон в ходе этих двух бичей человечества, столь глубоко различных между собой, — значит обманывать себя.

Эта иллюзия и была разрушена.

То же самое, если развитие труда в какой-нибудь стране оказывает сопротивление развитию воровства и наобо-

рот, то это делается в зависимости от того, насколько труд и воровство являются двумя различными средствами для добывания денег, предоставленными одновременно одному и тому же лицу. У дегенератов и лентяев, не желающих работать, ни этот выбор, ни это столкновение двух мнений не имеют места.

Поскольку речь идет о дегенератах и лентяях, прогресс полезной деятельности не задерживает прогресса тунеядства; возможно даже, что первая косвенно благоприятствует второму, если, например, благодаря чрезмерному напряжению промышленных и интеллектуальных сил она истощает рабочие и интеллигентные классы и увеличивает среди них количество случаев вырождения и неизлечимой лени. Так, развитие железных дорог ничуть не повредило пользованию лошадьми, потому что если, с одной стороны, оно уничтожило дилижансы, то, с другой, помогло увеличиться числу коротких путешествий в карете или омнибусе, для которых безразлично, какой силой пользоваться — паровой или лошадиной.

Как бы то ни было, мы можем установить следующий принцип: каждый раз как статистика открывает нам между двумя одновременными пропагандами заметное обратное соотношение, как, например, между религией и наукой, просвещением и отравлением виноторговцами клиентов, между эмиграцией в известную страну и самоубийством, между предупреждением деторождения и рождаемостью, так, что одна развивается за счет другой, то это значит, что одна предполагает отрицание там, где другая настаивает на утверждении, хотя иногда и трудно бывает отличить, где именно скрывается это глубоко лежащее и неясное противоречие. И наоборот, где статистика обнаруживает нам между двумя одновременными пропагандами совершенно ясную параллель, как, например, между распространением страхований и поджогами, бродяжничеством и воровством, городской жизнью и преступлениями против нравственности, то мы можем быть уверены, что одна предполагает утверждение там, где другая тоже

утверждает, и что одна преследует те же цели, что и другая; в обоих предположениях (остается еще только третье предположение распространения разнородных примеров, скрещивающихся без ущерба друг для друга, как звуковые волны в воздухе) общество совершало над собой логическую работу. Оно стремилось упразднить антитезу и утвердить синтез и сделало шаг вперед к логическому единству, мечта о котором составляет смысл его жизни, как смысл жизни философа заключается в медленной и дорогой для него обработке его системы, «быть может, и обманчивой, но всегда, наверное, пленительной».

8. Религия, мораль и преступность

Я сказал, что в своей непрестанной борьбе и состязании подражаний общество совершает логическую работу; но не лучше ли было бы назвать ее телеологической? Скажем и то, и другое; но логика освещает телеологию, как геометрия или алгебра освещают механику, а не наоборот. Говоря правду, нет действия, которое не выражало бы собой скрытого убеждения. Мыться для мусульманина значит свидетельствовать об истинности Корана; подавать милостыню для христианина значит свидетельствовать о божественной природе Христа и бессмертии души; работать для земледельца значит утверждать, что земля — мать всякого богатства; лепить, писать красками, сочинять стихи для художника значит утверждать, что назначение природы состоит в том, чтобы служить источником тем для статуй, пейзажей и стихов для скульптора, живописца или поэта.

Точно так же всякая, даже просто теоретическая идея, противоречащая какому-нибудь из этих утверждений, дойдя до лица, самые заветные убеждения которого она отрицает, рискует тем, что источник ее деятельности иссякнет; и нет силы, более могущественной, чем это непрестанное влияние, от которого никто себя не охранит. И разве порочные и преступные действия не предпо-

лагают, как и всякие другие, только, быть может, в меньшей степени, существования какого-нибудь особого убеждения, известной жизненной, если не мировой, теории, привитой преступнику? Последний, даже если он суеверен, как это бывает в Италии, имеет свой оптимизм и свой пессимизм, очень давнего происхождения, которые, не заключая в себе ничего научного, просто слишком последовательны; он думает только о деньгах, о чувственном наслаждении, о власти; он не только практикует, но и исповедует право убивать и грабить, как другие — право трудиться, и без Дарвина он представляет себе жизнь как борьбу за существование, где убийство чередуется с грабежом. Я не хочу намекнуть этим на то, что популяризация теории Дарвина послужила, быть может, закваской преступности, по крайней мере, в ее высшей и очищенной форме; потому что всякая научная система, материалистическая или спиритуалистическая, есть акт веры в божественность знания и в долг пожертвовать ему своей жизнью, точно так же, как всякое произведение искусства с чертами чувственности или аскетизма, реалистическое или идеалистическое, есть акт веры в божественность искусства и в долг ради него умерщвлять свою плоть и умереть за него[1].

---

[1] Думая, что человек науки обязан отвечать за преступления, которые может вызвать чтение его произведений в каком-нибудь негодяе, автор *Disciple* становится на столько же ложную, сколько и банальную точку зрения, совершенно недостойную его блестящего таланта. Ему меньше чем кому-либо другому приличествует считать преступным отрицание свободной воли, отрицаемой всеми его романами, содержание которых состоит в иллюстрировании всемогущества психологической наследственности. Чтобы продолжить *Disciple*, он должен был бы для своего последующего труда изучить недоброкачественное действие, производимое на читателей романистами, а не философами. Его собственные произведения, я боюсь в этом за него, с их изобилием тончайших анализов, из которых выводится глубоко внедряющаяся мысль, что только для любви, даже для призраков любви, стоило родиться на свет, должны были ввести в соблазн многих молодых людей и многих женщин; и я сомневаюсь, чтобы на совести авторов теорий детерми-

Во всяком случае, наверное, уже не свойство научного ума или артистического чувства способно вдохновлять преступление; эти теории рисковали бы тогда тем, что иссякнет их источник, и если дарвинизм приведет к нигилизму, а реализм — к порнографии, то ни Дарвин, ни Золя за это не отвечают.

Точно так же нерелигиозному чувству свойственно поддерживать грубое credo преступной души; оно является его более ярым обличителем и еще более сильным противником. Пускай христианство проповедуется лицемерами и вырождается иногда, очень редко, впрочем, в суеверие, способствующее даже преступлению, пускай оно выражается в ношении на шее разбойниками образков и в молитве за успешный исход женоубийства, тем не менее, убийцы и воры даже в Западной Европе в общем отличаются своей относительной нерелигиозностью.

Но есть чувство, которое, становясь общим, может согласоваться с одним дорогим для преступников принципом, если оно развивается в душе, не встречая достаточного противовеса. Это то, что можно назвать чувством меркантильным — исключительным культом золота и непосредственных наслаждений. Точно так же, хотя привычка к промышленному труду, всюду, где она конкурирует с привычкой к воровству, и отличается тем, что отбрасывает последнюю как противоречивое и низкое средство для достижения той же цели или выражения того же взгляда на жизнь, но легко может случиться, что промышленность, удвоив свое стремление к этой цели или веру в этот взгляд на жизнь, может вызвать рост преступности. Точно так же распространение железных дорог, возбуждая страсть к путешествиям, увеличило косвенным образом количество общественных и принадлежащих частным ли-

---

низма было столько прелюбодеяний или других преступлений этого рода, которые могли привести к злодеяниям более серьезным и другого характера.

цам экипажей и в результате развило езду в них, хотя вагон и исключает надобность пользоваться общественным или частным экипажем, всюду, где они соперничают между собой, история промышленности полна такими примерами. Хотя печатный станок и вытесняет переписчика всюду, где им приходится соперничать, но печать, развивая любовь к чтению и пристрастие к букве, увеличила в конце концов число переписчиков, занятых писанием и переписыванием в бюро. Хотя механические ткацкие фабрики убили все мелкие предприятия ткачей в своем соседстве и всюду, где произведения тех и других вступают в серьезное состязание в уме потребителя, но прогресс первых, развивая потребность одеваться и понятие о личном достоинстве, связанном с заботой о костюме, вызвал увеличение числа вторых во многих селах, куда произведения фабрик не успели еще проникнуть, но где потребность в них уже дает себя чувствовать; потому что потребности и понятия, вызванные тем или другим родом производства, развиваются с большей быстротой, чем это последнее, так как люди заражаются друг от друга скорее, чем растет сбыт товаров. Это несоответствие в быстроте двух видов подражательного распространения — распространения целей и распространения средств, распространения идей и распространения способов их выражения, заслуживало бы внимания экономистов; в их области оно объяснило бы очень многое[1]. В нашей области его не следу-

---

[1] Например, распространение финикийской торговли по побережью Средиземного моря, венецианской — в христианском мире, английской — в целом свете оно объяснило бы тем, что потребность потребления известных продуктов развивается всегда быстрее, чем потребность и умение производства соответствующих предметов. Всегда и везде догадливая нация пользовалась более или менее долгим промежутком, протекающим между возникновением двух потребностей у народов, среди которых производился сбыт товаров. Этим народам, чтобы употреблять то, чего они еще не умеют или не хотят производить, остается только выбирать между двумя следующими решениями: согласиться на цену, предлагаемую иностранным фабрикантом, или покорить его с помощью военной силы и вынудить фабриковать продукты

ет терять из виду, когда приходится изучать соотношение между преступностью и просвещением, воспитанием, богатством, трудом и т.д.

Бесполезно повторять то, что уже говорилось повсюду о доказанной теперь недействительности первоначального обучения, самого по себе рассматривавшегося отдельно от религиозного и морального воспитания. Такой результат не должен быть для нас неожиданным. Умение читать, писать, считать, разбираться в некоторых элементарных понятиях географии или физики ни в чем не противоречит затаенным понятиям, выражающимся в преступных наклонностях, и ничем не противоречит преследуемой этими наклонностями цели; этого совершенно недостаточно для того, чтобы внушить ребенку, что существуют лучшие средства для достижения его цели, чем преступление. Это только поможет преступлению найти новые ресурсы для усовершенствования своих приемов, ставших менее жестокими, но более коварными, а иногда даже укрепить его. В Испании, где пропорция неграмотных составляет две трети всего населения, приблизительно только около половины их насчитывается среди преступников. Марро констатировал, что среди преступников, обследованных им очень внимательно, пропорция лиц, получивших первоначальное образование, достигает 74%, в то время как среди людей с безупречной нравственностью, с которыми он их сравнивает, эта пропорция составляет лишь 67%. Но разве смягчение грубых свойств человеческого разума при помощи высокой культуры не должно бы было иметь морального воздействия па его природу? До возвышенных и трудно достигаемых истин можно дойти только медленным, размеренным шагом, не поддаваясь усталости и избегая ложных шагов; нет более высокой моральной дисциплины, чем этот трудный путь

за бесценок. Этот последний способ, часто встречающийся в истории, осуществляется в частной жизни в виде воровства, мошенничества или убийства из корысти.

и этот порыв сердца к конечной цели, который не имеет ничего общего с сонным спокойствием низкой души. Что требуется в этом случае от статистики? Я знаю, что во Франции либеральные профессии давали очень низкий процент преступников, пока их смешивали вместе с собственниками и рантье, но когда их отделили от последних, то этого уже не наблюдалось. Тогда нашли, что пропорция их преступлений сильно увеличилась, выразившись в 28 на 100 000 человек, в то время как на 100 000 земледельцев приходится лишь 16, а на ту же цифру рантье и собственников — 6 преступников. Я знаю также, что в Пруссии и, быть может, в Италии статистика выяснила те же результаты. Но разве это доказывает что-нибудь кроме того, что нравственная польза, приносимая высшим образованием, обращается в недостаток, если она служит только для добывания денег там, где конкуренция сильнее и опасности многочисленнее, чем где бы то ни было? Нужно заметить, что из так называемых либеральных профессий та, к которой принадлежат люди без высшей теоретической подготовки, — нотариат, с некоторого времени отличается ужасающим прогрессом преступности.

Число исключенных из сословия представителей адвокатуры, колебавшееся еще в 1881 году между 18 и 25 в год, дошло постепенно до 75 в год в 1887 году.

Один новый писатель в наслаждении, доставляемом произведением искусства, видит противовес наслаждению, которое получается от осуществления какого-нибудь славного предприятия военным или гражданским государственным деятелем; этим он объясняет упадок военных и политических способностей у народов, среди которых процветает литература и искусство; он прибавляет, что уменьшение жестоких преступлений в данной среде с момента проникновения туда литературного вкуса объясняется тем же. Это сопоставление не лишено справедливости. Известно, что потребность в сильных ощущениях не стремится больше к удовлетворению путем изнасилования или убийства, совершаемых на деле, если она уже удовлетво-

рена чтением, как это бывает у любителей реалистических романов, принадлежащих к разряду самых нетребовательных читателей. Современная литература, далекая обыкновенно от того, чтобы стать побудительной причиной преступления, как думали раньше, благодаря свойству ее тем (я не говорю о литературе, состоящей из подробных отчетов о заседаниях суда присяжных) могла бы сделаться отвлекающим от преступления средством. К несчастью, нельзя сказать того же по отношению к ее действию на порочные наклонности, которые она, несомненно, возбуждает, а ведь порочность часто предрасполагает к преступлению. Но прогресс преступности идет медленнее, чем связанный с ним прогресс порочности. Впрочем, даже и на порочность самая безнравственная литература оказывает скорее кажущееся, чем действительное влияние, хотя это влияние, несомненно, существует, потому что здесь, как и везде, «мечта заменяет действие».

9. Криминология как часть социологии

Я не замедлю указать на облагораживающее влияние домашнего воспитания на детей. Что же касается труда, о котором мы сказали лишь несколько слов мимоходом, то этот вопрос заслуживает более продолжительного внимания. Полетти установил по этому поводу оригинальную теорию, которая уже оживленно обсуждалась во Франции и Италии.

Не возобновляя этого исчерпанного уже вопроса, мы должны сказать, в чем именно, на наш взгляд, состоит вытекающая из него истина. Полетти соглашается с тем, что общее число пороков и преступлений утроилось в течение полувека во Франции, и с тем, что приходится констатировать такое же повышение во всех наших цивилизованных странах; правда, он считает необходимым вывести отсюда, что прогресс нашей промышленной цивилизации связан с прогрессом преступности, но его восторг перед нашей промышленной цивилизацией от этого не страдает. Почему же? Потому что, по его мнению, если

индустрия и вызывает преступность, но все же она сама растет скорее, чем эта преступность, а меньший рост преступности уже подразумевает ее действительное относительное уменьшение. Во Франции (статистика этой страны и подала мысль рассматривать этот вопрос именно таким образом) с 1826 года до 1878 ввоз увеличился со 100 до 700, вывоз приблизительно настолько же, стоимость движимого и недвижимого имущества, оставленного по наследству, судя по публикациям, поднялась приблизительно со 100 до 300. Из этих и подобных этим сравнений можно вывести, что народное богатство Франции, другими словами — ее производительная деятельность, в этот промежуток времени учетверилось, а ее преступность увеличилась лишь со 100 до 254; значит, на равное число актов созидания приходилось в 1878 году меньшее количество актов разрушения, чем их было в 1826 году; отсюда чистая прибыль преступности, если мне позволят перевести так мысль Полетти, заметно понизилась, в то время как ее валовая прибыль увеличилась. Здесь две ошибки: одна состоит в том, что зло, которое случайно, косвенно и временно связано с индустрией, рассматривается как ее логическое, постоянное и неизбежное следствие; другая — в слепом самообмане мыслью, что это зло есть, в сущности, добро. Первое заблуждение обнаруживает слишком мрачный взгляд на промышленность, второе — слишком большое пристрастие к ней. Первая ошибка ставит его в противоречие со Спенсером, по словам которого, в промышленном обществе должно быть «очень небольшое, если не совершенно ничтожное количество» преступников, и если статистика противоречит в этом Спенсеру, то не менее верно то, что труд, по его мнению, за исключением зловредного влияния, производимого в некоторых случаях потреблением его продуктов, является самым могущественным двигателем нравственного усовершенствования.

Вторая ошибка создает противоречие с разумом. Предположим на минуту, что цивилизация вызывает преступление, как колебание зефира вызывает световое ощу-

щение; но из того, что по знаменитому психофизическому закону ощущение растет только как логарифм его возбуждения, вовсе не следует, что если я зажигаю девять свечек вместо трех или 27 вместо девяти, то я буду видеть хуже, потому что интенсивность моего зрения увеличивается лишь от двух до трех и от трех до четырех. Нельзя судить о преступности нации и эпохи, как судят о безопасности способов передвижения; имеют, конечно, право говорить, что, несмотря на ежегодное и с каждым годом растущее число случайно убитых и раненых, железные дороги становятся все менее и менее опасным способом передвижения, потому что число смертных случаев и увечий по отношению к числу пройденных локомотивом километров постепенно уменьшается. Но почему можно степень опасности путешествий выражать не количеством несчастных случаев, взятых отдельно, но отношением этого количества к расстоянию? Основание этого состоит в том, что действительно существует неизбежная и нерасторжимая связь между ростом числа путешествий и происходящих время от времени крушений. Даже в том случае, если бы все деловые люди и путешественники возымели твердое и определенное желание избегать крушений, последние неизбежно происходили бы; в то время как если бы весь мир вполне серьезно и раз навсегда решил, чтобы не было преступлений, то их не было бы. Предположим, что предусмотрительность и осторожность деловых людей и путешественников будет всегда одинакова, число крушений будет все-таки увеличиваться соответственно увеличению количества поездов. Но если при постоянно одинаковом уровне общественной нравственности и всех остальных условий увеличится количество труда, то только будет расти преступление? A priori можно предсказать противное; a posteriori доказательство можно найти там, где случайно встречаются условия, желательные для наблюдения над изолированным влиянием труда на преступность, независимо от вмешательства всяких других влияний. Можно думать, что с 1860 по 1867 год нравствен-

ность почтовых чиновников осталась все той же, и труд их не изменился, но интенсивность его сильно увеличилась; число денежных писем увеличилось в $2^1/_2$ раза, в то время как число таких писем, ежегодно исчезавших, другими словами, украденных, постепенно опустилось с 41 до 11. Значит, сознание профессионального долга растет тем больше, чем чаще представляются случаи его выполнить, и вследствие этого оно должно все больше и больше брать верх над силой дурных инстинктов, при условии? что она остается все той же.

Всякий педагог очень удивился бы, если бы его спросили, не увеличивается ли в его классе число наказаний по мере того, как этот класс становится трудолюбивее?

Но дело в том, что труд бывает разный; если в каком-нибудь классе, наиболее трудолюбивом, труд распределен плохо, — непосилен для одних, которых он утомляет и которым разбивает нервы, недостаточен дня других, которые от него отвыкают, или если он плохо направлен благодаря неумело поставленным занятиям сочинениями и вредным чтением, возбуждающим чувственность, тщеславие и жажду преждевременных наслаждений или соперничества ввиду предстоящей награды; в таком случае легко может быть, что прогресс труда сопровождается прогрессом невоздержанности, порочности и всевозможных школьных недостатков. Аналогичное явление происходит в наших городах, где безумное стремление к роскоши превышает стремление к труду, и где преступления против нравственности увеличились в 6 и 7 раз, в то время как народное богатство увеличилось только втрое или вчетверо. Социалисты, значит, правы, ставя на счет неправильного распределения или ложного направления производительной деятельности моральное зло, которое увеличивается вместе с ней и, с другой стороны, не уменьшается, когда она ослабевает. Ведь начиная с той эпохи, которой Полетти закончил свое исследование имущественной состоятельности французского народа, оно перестало уже расти и начало быстро понижаться, даже слишком быстро, в то

время как преступность продолжает идти вперед, заметно развиваясь. В конце концов от закона, установленного этим почтенным ученым, не остается ничего, что и обнаружила статистика.

Преступность, по замечанию Гарофало, так мало пропорциональна коммерческой деятельности, что Англия, где порочность и преступность уменьшаются, является самой замечательной нацией по необычайному развитию торговли, а Испания и Италия, по количеству преступлений превышающие все главнейшие государства Европы, остаются далеко позади их в смысле развития коммерческой деятельности. Прибавим, что во Франции наиболее трудолюбивый класс — без сомнения, класс земледельческий, и что он при сравнении одинаковых цифр населения оказывается одним из наименее преступных, несмотря на неблагоприятные условия жизни[1].

Можно заключить отсюда, что труд — сам по себе противник преступления, и если благоприятствует иногда последнему, то косвенно и отнюдь не безусловно, что соотношение между трудом и преступностью таково же, как соотношение между собой двух видов труда, противоположных друг другу. Еще раз: криминология — это не что иное, как часть социологии, как мы ее понимаем. Общие законы, выработанные политической экономией относительно производства товаров, должны быть применены к развитию преступности, если хотят уяснить себе перипетии этого специального вида индустрии. Это тем более верно, что, локализируясь в известных категориях дегенератов и лиц деклассированных, преступление все чаще и

---

[1] *Jacobi* не находит возможным судить о нравственном уровне какого-нибудь народа по цифре его преступности. В действительности, ответил бы я, этот уровень должен быть гораздо ниже в тех странах, где статистика, как она указывает, обнаружила самые печальные результаты. В странах, где у многих людей есть зоб, говорит сам Якоби, даже те, у которых нет его, обладают более толстой шеей, так что портные делают там рубашки с более широкими воротами. Точно так же, как в развращенных странах сами моралисты развращены более, чем в других.

чаще делается их карьерой. На этот счет мы встречаем кажущееся затруднение. С одной стороны, преступники все реже и реже образуют сообщества для совместных действий, как это можно вывести на основании данных статистики 1826 года до нашего времени путем сравнения числа обвинительных приговоров с числом обвиняемых. Эти два числа, из которых первое неизбежно превышает второе, мало-помалу сближаются, откуда можно вывести, что совершаемое отдельно преступление носит характер случайный, менее привычный и менее профессиональный. Но, с другой стороны, правильная, непрерывная и фатальная прогрессия рецидивов во всех европейских странах доказывает совершенно обратное. Замечу мимоходом, что при старом режиме, напротив, число сообщников одного преступления было выше, но что собственно рецидив играл небольшую роль в преступности того времени. Во время голода и неурожая шайки, организовавшиеся в группы от 40 до 50 человек, разоряли и грабили все, но они тотчас же рассыпались.

В сущности, это обратное соотношение между численным преобладанием шаек и рецидивом ничуть не страшно. Первое объясняется непрерывным прогрессом полицейских мер, но никак не прогрессом нравственности; второе действительно опасно.

Более случайная и общая преступность прошлого носила характер эпидемической болезни; современная преступность, более ограниченная и укоренившаяся, прогрессирующая медленно и продолжительно, имеет вид конституциональной болезни.

Где рецидив прогрессирует всего скорее? В больших городах, потому что, дойдя до известного предела скученности и пространства, это море людей позволяет преступникам отыскивать те же вертепы, какими они пользовались в прошлом, только под видом кафе и контрабандных убежищ. «В 40 городах, имеющих более 30 000 жителей, — гласит один официальный отчет, — на 307 человек приходится 1 рецидивист, в то время как в городах с менее

густым населением 1 рецидивист приходится только на 712 жителей». Но главным образом в городах, насчитывающих более 100 000 жителей, пропорция рецидивистов относительно общей цифры всего населения или только осужденных подымается до значительного уровня. Преступность там огромна, но в противоположность обыкновенным шайкам, главное правило которых состоит в том, чтобы жить отдельно и собираться вместе только тогда, когда нужно действовать, эта скрытая армия действует врассыпную, под бдительным оком полиции, и собирается прокучивать вместе добычу. Но, тем не менее, эта корпорация теперь процветает, и легко понять почему. «Отчего вообще зависит, — говорил я в одном из моих предыдущих сочинений, — процветание какого-нибудь ремесла? Прежде всего от того, что затраты на него невелики, наконец, и главным образом от того, что умение им заниматься и необходимость в нем стали появляться чаще. Следовательно, все эти условия соединились в наше время для того, чтобы покровительствовать промышленности особого рода, состоящей в том, чтобы обирать все другие виды промышленности»[1].

«В то время как в течение 50 лет бесконечно увеличилось число предметов, ради которых стоит украсть или смошенничать, и число наслаждений, которые достаются

[1] Обирать их, то есть эксплуатировать их *без взаимности;* только этим преступность и отличается от других ремесел. Мы сказали бы, что она представляет собой индустрию, пользующуюся прогрессом всех других индустрий, в силу «закона сбыта» Жана Батиста Сея, согласно которому производство какого-нибудь нового продукта вызывает производство других, иногда даже, как мы уже сказали, производство тех самых прежних продуктов, которые новый должен собой заместить. С этой точки зрения между преступлением и всяким другим ремеслом существует полная аналогия. Но преступное ремесло отличается тем, что не служит никакому другому ремеслу, кроме контрабандных профессий, которые им живут. Правда, это последнее исключение очень растяжимо: разве мелкая пресса не живет судебной хроникой? И если бы преступление приостановилось в своем развитии, то разве не сократилось бы до чрезвычайности количество ее экземпляров?

путем воровства, насилия, мошенничества, злоупотребления доверием, обмана и убийства, тюрьмы проветривались, беспрестанно улучшались в смысле питания, помещения и комфорта, судьи и присяжные с каждым днем становились все снисходительнее. Выгоды, значит, увеличились, а риск уменьшился до того, что в наших цивилизованных странах профессия карманного вора, бродяги, специалиста по подлогам, банкрота, даже убийцы стала одной из самых безопасных и самых выгодных из тех, между которыми предстоит выбор для лентяя. В то же время социальная революция увеличила число деклассированных и недовольных — этот рассадник преступления и бродяг, цифра которых учетверилась с 1826 года», и так как инстинкты милосердия не развились еще в нашем деловом обществе, то оставшиеся еще честными после совершения первого преступления обвиняемые и «отбывшие наказание, колеблющиеся между примером большого и честного, но негостеприимного общества и примером небольшой преступной партии, которая готова принять их в свою среду, кончают тем, что роковым образом скользят по этой наклонной плоскости, как девушки-матери кончают проституцией».

Я спрашиваю себя, до какой же цифры поднялась бы преступность средних веков, если бы столько причин зараз поддерживали отвагу преступников, которые должны были быть исключительно неустрашимыми, чтобы осмеливаться пренебрегать наказаниями того времени? Женщины-прелюбодейки существовали даже в ту эпоху, когда их побивали каменьями, и когда общественное мнение преследовало их своим негодованием; что же странного в том, что теперь их так много?

О преступлении, как и о всякой другой индустрии, можно сказать, что самые очевидные препятствия и выгоды не всегда бывают для него и самыми существенными; вследствие всего сказанного выше это значит, что самые глубокие и безусловные противоречия и подтверждения, которые больше всего подходят для разрушения или

подкрепления какого-нибудь предположения, входящего в общий план действий, не всегда оказываются и самыми действительными. Для развития какой-нибудь индустрии выплачиваемая ею премия редко оказывается лучшим средством; точно так же, как редко оказывается лучшим средством для разрушения какой-нибудь индустрии обложение ее налогом.

Я соглашусь также с Ферри, признав, что суровость наказаний не может служить лучшим средством для борьбы с преступностью, и прибавлю еще, что перспектива, открытая преступникам в виде более благоустроенных тюрем, не может служить наилучшим объяснением роста преступности. Покровительственные и запретительные меры, тем не менее, остаются могущественным оружием в руках правительств, даже единственным, при помощи которого они могут свободно и быстро действовать на пользу выгодных для них индустрий и в ущерб тем, которые им кажутся не заслуживающими доверия; доказательством может служить пример Германской империи и Соединенных Штатов. Полицейские и уголовные законы аналогичны запретительным пошлинам: умело направляемые твердой властью, они дают заметный результат, иногда скорее поверхностный, чем глубокий, но часто решительный.

Если бы можно было управлять гениальностью, то самым верным средством для искоренения данного вида преступления, как и для того, чтобы достичь процветания данной индустрии, было бы, разумеется, содействие усиленному развитию великих открытий, этих могущественных центров лучеиспускания примеров, без заметной связи с преступностью или трудом.

К несчастью, нет ничего неожиданнее этих великих идей, и нет ничего более непредвиденного, чем их последствия, потому что противоречия и согласования, которые они вносят в установленные обычаи и господствующие понятия, косвенны и неопределенны, сложны, запутанны

и остаются такими вплоть до того дня, как, приняв реальную форму, они обнаруживаются. Когда Papin открыл двигательную силу водяных паров, кто мог бы догадаться, что это открытие было зародышем промышленного могущества Англии, условием sine qua поп открытия Уайта? Мог ли Христофор Колумб, открывая Америку, думать, что его чудесное путешествие в результате даст заметное понижение преступности в Англии? Тем не менее, по исследованиям историка Пика (Pike), это едва ли можно оспаривать. С открытием Нового Света вследствие очищающего действия эмиграции, которую оно вызвало, связаны серьезный прогресс нравственности, понижение жестокости и грубости нравов в Англии в конце XII и XIII веков. Американское эльдорадо всех авантюристов и искателей vita nuova производило обаяние, подобное обаянию Святой земли в средние века. Трансатлантическая колонизация была современным крестовым походом и, подобно крестовым походам средних веков, она оздоровляла континент.

10. Влияние богатства и бедности на преступность

Влияние богатства и бедности на преступление составляет вопрос, одновременно и отличный, и зависящий от вопроса, касающегося влияния труда[1].

Это излюбленное поле сражения двух соперничающих фракций позитивной школы — фракции социалистической и фракции ортодоксальной.

По мнению Турати и Колаянни, настоящей причиной преступлений, совершаемых бедняком, служит его бедность, как, по Ферри, настоящей причиной многочисленных преступлений, совершаемых летом, служит высокая температура.

Но если Ферри не добился признания своей гипотезы, то добился ли он, по крайней мере, опровержения

---

[1] Я позволяю себе отослать читателя к моей статье *Misere et criminalite*, опубликованной в *Revue philosophique*, май 1890 года.

гипотезы своих противников? В Socialismo e criminalita он пускает для этого в ход все свои силы, как и Гарофало в своей Criminalogia. В довольно интересной таблице первый из этих авторов показывает нам, что во Франции с 1844 по 1858 год повышение или понижение цен на хлеб, мясо и вино ежегодно соответствовало понижению и повышению насильственной или чувственной преступности. Годы, на которые падает наибольшее количество убийств, как раз те же, в которые больше всего пьют. Таким образом, благосостояние могло бы быть источником преступлений против личности; но зато оно отплатило бы уменьшением преступлений против собственности. Гарофало не хочет признавать даже этой последней уступки. «Вполне справедливо, — говорит он, — что воровство — эта самая грубая форма посягательства на чужую собственность, более широко распространено среди низших классов общества, но оно уравновешивается подлогами, банкротством и взяточничеством высших классов, эти злодеяния — не что иное, как видоизменения того же естественного преступления». Опираясь на это уверение, он ссылается на итальянскую статистику 1880 года, из которой он не без усилий рассчитывает сделать сомнительные выводы, состоящие в том, что 14 524 преступления приходятся на долю пролетариев и 2 011 — на долю собственников, что составляет пропорцию соотношения между 88 и 12, в то время как пропорциональное соотношение между пролетариями и собственниками всего итальянского населения равняется соотношению между 29 и 10. На богатых падает, значит, большая в пропорциональном отношении часть общей суммы преступлений в Италии. Я позволяю себе придать совсем особое освещение одному отрывку из официального отчета по уголовной статистике во Франции 1887 года, где сказано, что ежегодно на 100 000 жителей, принадлежащих к классу домашней прислуги, то есть к одному из самых бедных классов, приходится

20 обвиняемых[1]. На 10 000 лиц, принадлежащих к либеральным профессиям, включая сюда рантье и собственников, приходится 12 обвиняемых. Что же касается самого бедного класса — бродяг и праздношатающихся, то они дают 139 обвиняемых. В действительности насчитывается еще 24 человека обвиняемых из торговой и 26 из промышленной среды, что составляет уже очень высокую цифру, принимая во внимание значительные преимущества этих двух профессий, которыми они пользовались в промежутке между двумя указанными датами, и только 14 — из земледельческой среды, цифра очень невысокая, если иметь в виду относительную бедность крестьян. Но нельзя ли согласовать между собой эти, по-видимому, несогласуемые результаты?

Не будем забывать, что желание разбогатеть — обычный и притом все более и более преобладающий двигатель преступления, как и единственный двигатель промышленного труда. Обладание богатством должно отдалить от преступления самого нечестного человека, и от промышленного труда — человека самого трудолюбивого (потому что желание обладать тем, что уже имеешь, само себе противоречит), если, по крайней мере, удовлетворение этого желания не вызвало стремления обладать еще большим, что бывает часто, но лишь до известной степени и не всегда.

В деловой среде, где благодаря взаимному лихорадочному заражению скорее процесс наживы, чем само бо-

[1] Обратим по этому поводу внимание на быстрое увеличение числа домашней прислуги. В Париже оно с 112 031 в 1871 году поднялось до 178 532 в 1881 году. Это тем более прискорбно, что, особенно по словам *Parent Duchatelet*, этот класс значительно пополняет контингент проституток, так же как и преступников. Но удивительно ли, что в то время как потребность в равенстве, отрицание всякого господства над людьми делают такие успехи, многие стремятся еще к относительному рабству? Не заключает ли в себе эта потребность равенства, о которой идет речь, больше гордости, чем искреннего желания; согласуется ли такое желание с возрастающей ленью и жадностью, которые заставляют обращаться к прибыльному ремеслу домашней прислуги?

гатство, является преследуемой целью, богатство похоже на крепкий ликер, который скорее возбуждает, чем утоляет жажду; несомненно поэтому, что рядом с оживленностью этой среды идет и ее преступность, равносильная преступности домашней прислуги. Точно так же и в испорченной среде больших городов, местах скопления рабочего люда, покушения на целомудрие тем чаще, чем легче достигается удовлетворение чувственных наслаждений. Но можно было бы возвести в принцип то, что там, где богатство является препятствием к деятельности, оно служит также и препятствием к преступлению, приблизительно так же, как политическая власть перестает быть опасной в момент, когда она перестает быть жизнедеятельной и честолюбивой; то же наблюдается и среди сельских мелких и крупных собственников, среди рантье и даже среди большей части либеральных профессий там, где они, как во Франции, не слишком жадны и не так лихорадочно деятельны. Довольный своим относительным благосостоянием, человек отдыхает там в умственном полубезделье, скорее артистическом, чем механическом, скорее почетном, чем продажном, и воздерживается путем преступлений увеличить свои доходы, желание которых в нем довольно умеренно. Французский крестьянин в общем разделяет эту умеренность желаний, богатый своей трезвостью, своим стоицизмом, своей бережливостью и своим куском земли, которого он наконец добился; он счастливее миллионера, финансиста или политика, направляемого своими миллионами на то, чтобы при помощи их снять подозрительные спекуляции, мошенничества и взяточничество в самых широких размерах. Наиболее зажиточные крестьяне — в общем самые честные люди. Не будем говорить ни о богатстве и бедности, ни о благосостоянии и недостатке, будем говорить о счастье и несчастье и поостережемся отрицать старую как мир истину, что злого человека можно простить, потому что он часто бывает ни больше ни меньше как несчастный. В качестве детей нашего века, признаемся, чего бы это ни стоило на-

шему сыновнему самолюбию (потому что нет более уважаемого отцовства, чем это), что при всей своей блестящей внешности наше общество несчастливо, и если бы у нас не было других доказательств его великих страданий, кроме многочисленных преступлений, не говоря даже о самоубийствах и о все возрастающем числе случаев помешательства, не слушая криков зависти, страдания и ненависти, которые преобладают в шуме наших городов, мы все- таки не могли бы сомневаться в его страданиях.

От чего же оно страдает? От своего внутреннего смятения, от своего несвязного и непрочного существования, от внутренних противоречий, которые возбуждаются в нем даже его неслыханными успехами, открытиями и изобретениями, которые поспешно появляются одни за другими, становятся пищей для противоположных друг другу теорий и источниками необузданных, эгоистических и антагонистических потребностей. В этом хаотическом движении одно великое Credo, одна общая великая цель еще заставляет себя ждать; то мироздание до Fiat Lux. Знание расширяет понятия, оно вырабатывает высшее понимание вселенной, на основании которого она, надеюсь, кончит тем, что водворит между нами согласие. Но где же высокое понимание жизни, жизни человечества, которое оно готово поставить на первый план? Индустрия увеличивает число продуктов, но где общее дело, которое она порождает? Предустановленная гармония общего блага была мечтой Бастиа, слабой тенью мечты Лейбница. Граждане какого-либо государства обмениваются научными или иными сведениями, но на пользу их сопернических интересов; чем больше они взаимно осведомляют друг друга, тем больше питают этим свои главные несогласия, которые в другое время могли быть такими же глубокими, но никогда не были бы такими сознательными и ощутительными, а потому и такими опасными. В чем же они все соглашаются? Во имя чего они все вместе трудятся? Если бы мы стали искать желание, общее им всем, из-за которого

они не спорили бы, то нашли бы только одно: вести войну с соседом.

Наш век не придумал ничего лучшего, чем это старинное и жестокое разрешение проблемы интересов, которое состоит в установлении порядка с помощью беспорядка и в созидании мира отдельных лиц при помощи войны между нациями. Предположите всеобщий мир, обеспеченный окончательным триумфом государства, как это было при Римской империи, и скажите, каким образом без внешних войн мы избежали бы войн междоусобных?

Время от времени, когда благодаря быстрому распространению избирательных прав умножившиеся массы избирателей, подобно озерам, которые неожиданно превратились в моря и поражаются своим собственным половодьем, вдохновляются великим всеобщим движением, можно подумать, что из них произойдет Мессия.

Но это лишь шаг на месте, раскачивание грандиозных качелей. В известные эпохи — в Египте при фараонах, в средние века христианства — общий порыв всех сердец был не только воинственным; сюда примешивалось единодушное стремление к воображаемой конечной цели, которая водворила между ними согласие, к пункту, находящемуся вне и превыше реального мира, к загробной жизни, к чему-то вроде неявно присущего средоточия стремлений. Действовали сообща не для того только, чтобы уничтожить врага, но чтобы возродиться для счастья, созданного мечтой. Теперь как на «возрождение», как на единую спасительную мечту, как на путеводную звезду можно рассчитывать только на искусство, на философию, на высшую культуру разума и воображения, на эстетическую жизнь, и, действительно, это безграничная Америка, которая открывается людям и дает им нераздельные богатства, бесконечно растяжимые, без разрушения границ, без распрей и борьбы, через долгое время после того, как долины Far West и Ла-Плата будут возделаны и заселены гостеприимными земледельцами. Именно культ искусства пластического и, правда, поверхностного был гос-

подствующей страстью и защитой Римской империи, если мы будем судить об этом по чрезвычайному обилию статуй, фресок, монументов, артистической домашней утвари, которые создают странный контраст между провинциальными городами тех и наших времен. Но наше время не удовольствовалось бы этим праздником чувств; оно проповедует более серьезное искусство, более интенсивные наслаждения разума; это еще только попытка, и пройдут многие годы, прежде чем большинство людей водворится в этом будущем земном раю, предполагая, что оно войдет туда когда бы то ни было.

11. Цивилизация и преступность

Вопрос о том, уменьшает или нет цивилизация — общее название для воспитания, обучения, науки, искусства, промышленности, богатства, политического строя и т.д. — преступность, вопрос двусторонний. В нем заключаются два понятия или, вернее, всякая цивилизация проходит две стадии; первая — когда изобретения и обновляющие инициативы в беспорядке смешиваются друг с другом, как это мы видим теперь в Европе. Вторая — когда этот приток иссякает, и его элементы начинают приобретать стройность и систему. Следовательно, всякая цивилизация может быть очень богатой и не быть при этом стройной, как наша, например; или очень стройной, не будучи особенно богатой, как это было в античном городе или средневековой коммуне. Но с помощью ли богатства или с помощью порядка она устраняет преступность? Несомненно, благодаря ее порядку. Этот порядок в религии, науке, во всех формах труда и власти, во всех различных видах просветительных начинаний, которые взаимно оказывают друг другу внутреннюю или внешнюю поддержку, — этот порядок является невидимым союзом против преступности. И тогда, если бы даже каждая из плодоносных ветвей социального дерева, продолжаю мою метафору, лишь слабо боролась с паразитической ветвью, их соглашения было бы достаточно, чтобы отобрать от нее

все питательные соки. Пока республиканский Рим сохранял свою цивилизацию, довольно простые элементы которой легко соединялись в компактную массу, римская нравственность еще держалась. Но по окончании пунических войн, когда азиатский культ Цибелы проникает вместе с греческим искусством в Рим, начинает появляться беспорядок, неурядица умов и желаний. Развращенность выражается в известных признаках; например, обвинение в растрате казенных денег Сципиона Азиатского, который не мог защищаться и был помилован лишь из снисхождения; обнаружение тех кровавых оргий и вакханалий, благодаря которым совершено было столько знаменитых казней; эпидемия поджогов, которую строго преследовал сенат. Если нравы великого античного города никогда не могли исправиться, то не потому ли, что постоянное вторжение чуда экзотических религий и разнородных цивилизаций не давали ему времени привести в порядок этот хаос? Стоицизм в том виде, в каком он вновь расцвел при Империи во втором веке нашей эры, попробовал это сделать, но его попытка отчасти аналогична подобной же попытке протестантизма во времена не менее беспокойные; она проповедовала возвращение к первоисточникам и соглашение между стоическими добродетелями, поддерживаемыми только примитивным патриотизмом и новым космополитизмом, предприятие такое же невозможное, как и введение добродетелей первобытной церкви в среду современного общества или согласование догматов Моисея с современными энциклопедическими познаниями.

Вторжение христианства в Империю[1] успело несравненно лучше слить в одно целое части ее разрозненных и бесформенных элементов, по крайней мере, в Византийской империи, которая тоже, несмотря на свое старческое недоумие, имела свою постепенно развивавшуюся и свое-

[1] Как и вторжение французского рационализма в XVIII веке, которое было иным образом плодотворно для *будущего,* чем протестантская реформа.

образную цивилизацию, которая выразилась в своем долголетии. Следовательно, Византия по сравнению с Римом нравственна, несмотря на свою плохую репутацию.

Но в умственной разбитости или извращенности действий выражается не прогресс цивилизации, а бедность переходных эпох. С неоспоримым учащением случаев умственного расстройства, которое наблюдается в наше время[1], можно сравнить уменьшение числа процессов ведьм, характеризующих конец XVI века. Цивилизация этой эпохи была такой же блестящей, как и наша. Колдуны и колдуньи были невропаты, к которым обращались тоже немного сумасшедшие клиенты. Всеобщее обращение к колдовству, договоры с дьяволом, шабаш — все это доказывает отчаяние общества, которое не знает уже, «какому святому молиться». Наше общество кончает самоубийством или безумием, наши отцы стучались в двери ада.

Нужно ли проклинать эти критические эпохи? Нет, потому что они составляют необходимый переход к будущему, в большинстве случаев лучшему. Не нужно, впрочем, также пугаться или чрезмерно огорчаться при виде того, как размножаются среди нас те странные существа, которых психиатры называют дегенератами, неуравнове-

---

[1] Если бы чрезвычайное учащение случаев безумия, наблюдаемых в лечебницах и на дому (которые за время от 1836 до 1869 года, по статистике Якоби, поднялись до 245 со 100), было обязано главным образом психиатрии и увеличивающейся заботливости семей или администрации в уходе за сумасшедшими, то было бы заметно, что увеличение числа сумасшедших в лечебницах приблизительно соответствует увеличению числа больных известными болезнями в госпиталях. Потому что никому, наверное, не придет в голову, что прогресс госпитального лечения наблюдается особенно в убежищах для умалишенных, и что города, государство, частные лица более охотно строят и делают пожертвования на дома умалишенных, чем на госпитали и обыкновенные больницы. Следовательно, по таблице Якоби (*Selection)* число сумасшедших, пользовавшихся уходом в убежищах для умалишенных, возросло втрое или вчетверо скорее, чем число больных в госпитальных лечебницах. Доказано, значит, что прогресс безумия не кажущийся, но действительный.

шенные умы и души без задерживающих центров. Вот почему священный огонь гения кажется психиатрам подозрительным, и когда они замечают где-нибудь его блеск, подобный взрыву подземного газа, то ждут какой-нибудь вспышки безумия у потомков. Но мы попробуем спросить себя: можно ли назвать верным и удачным слово «вырождение», употребляющееся для обозначения цепи аномалий, из которых многие состоят в наиболее живом блеске ума? В этом ли проявляется социальное вырождение? Но социальный прогресс обязан своим существованием скоплению этих вырождений. Заключается ли в этих аномалиях хотя физическое выражение? Я не соглашаюсь с этим и не знаю, не основательнее ли было бы видеть в этих аномалиях и этих анатомических и физиологических особенностях, являющихся, говорят, признаками дегенератов, попытки вырваться из оков расы, согласно всемогущему стремлению к видоизменениям, которое составляет сущность жизни и единственное оправдание ее монотонных повторений.

Это стремление ограничивается правильным типом вида или расы, узкой оболочкой однообразно повторяющихся признаков, куда индивидуальность, если она хочет повторяться вечно без уклонений, должна заключить себя, как в железную клетку. Но если бы это стремление было когда-нибудь задушено, то прогресс нашей жизни, как и прогресс наших обществ, остановился бы. Всякое индивидуальное изменение — новая раса в проекте, новый вид в зародыше[1].

Нельзя ли с этой точки зрения истолковывать аномалии, особенности, отмеченные антропологами у сума-

---

[1] Исследуйте какое-нибудь индивидуальное изменение; оно состоит в более или менее заметной атрофии или гипертрофии какого-нибудь органа. Представьте себе эту особенность, этот недостаток, развившийся до последних пределов, и, в силу закона органических взаимоотношений, вы увидите, что за этим последует всеобщая переделка всей организации человека. К этому бессознательно клонится всякая нововведенная индивидуумом особенность.

сшедших, преступников и гениальных людей, применяя к ним общие соображения Дарвина относительно изменений видов животных и растений, самого основательного, быть может, из его трудов? Не действовала ли цивилизация, особенно в период лихорадки своего роста, на человеческий тип, как культивирование действует на типы животных и растений? Культивирование — это вид цивилизации животных и растений, как цивилизация — вид культивирования человека.

Следовательно, с одной стороны, культивируясь, раса теряет плодовитость, отличавшую ее в естественном состоянии, но, с другой стороны, «животные и растения, — говорит великий натуралист, — видоизменялись бесконечно больше, чем все те формы, оставшиеся в естественном состоянии, которые принимают за другие виды». Всякий культивированный вид тотчас обнаруживал способность «к неустойчивой и неопределенной изменчивости», нечто вроде плодотворного уклонения от типа, которое вскоре приобретает самые чудесные и определенные приспособления. Подобно этому раса, цивилизуясь, уклоняется от типа, но в то же время и освобождается, со всех сторон разбивает свои границы и иногда выходит за их пределы.

Возможно, в конце концов, что природа творила человеческий мозг, не имея в виду требований цивилизации, и что поэтому прогресс цивилизации несет с собой прогресс сумасшествия. Но благодаря этому мозг понемногу приспособляется к своему высшему назначению.

Природа тем более не творила человеческий глаз для чтения, письма и пристального рассматривания на расстоянии 20 сантиметров предметов, отсюда частая близорукость, распространяющаяся по мере распространения познаний; но это недостаточный повод для того, чтобы сжечь наши книги; нужно заметить, что зрение в конце концов приспосабливается к своим новым обязанностям.

12. Законы, которыми управляются общества, и преступность

Во всем предыдущем я поставил себе задачей показать, что по способам ли своего распространения и укоренения, или по природе своих несогласий и согласований с другими видами деятельности, преступление подчиняется общим законам, которыми управляются общества. Но мы изучили таким образом лишь соотношения между различными группами сосуществующих подражаний, особенно между группой труда и группой преступления.

Остается дополнить эту картину, указав вкратце, что изобретения, последовательные подражания, результаты которых составляют историю преступления, заменяли или присоединялись друг к другу согласно законам социальной логики, относящимся к смене и накоплению изобретений и вообще последовательных подражаний[1]. Другими словами, речь идет о том, чтобы выделить аналогии между историческими видоизменениями преступности и видоизменениями индустрии, я мог бы даже прибавить — права, языка, религии и т.д. Но так как эти соображения имеют только второстепенный интерес с точки зрения применения карательных мер, то я и не буду о них распространяться.

Я ограничиваюсь сначала лишь указанием на то, что всякая социальная трансформация, рассматриваемая в своих внутренних, элементарных подробностях, всегда состоит в логическом поединке или логической совокупности двух изобретений, из которых одно, новейшее, противоречит другому или согласуется с ним, противодействует ему, более успешно достигая той же цели или порождая

---

[1] Я придаю здесь общий смысл словам «изобретение» и «подражание» (*invention* и *imitation*), потому что имею в виду лишь имевшие успех изобретения, которым подражали на более или менее обширном пространстве и в течение более или менее долгого времени; остальные не имеют социального значения.

цель, противоположную цели последнего, или содействует ему, прибавляя к нему усовершенствования, не изменяющие его природы, или усиливая и распространяя потребности, то есть цель, к которой он стремится. Вот простое и общее правило, не допускающее никаких исключений, которое преобладает в социальной трансформации; ясно, что и преступление ему подчиняется. В каждом шаге истории убийства, например, мы видим, как бронзовый топор борется с каменным, и железный — с бронзовым, мушкет — с самострелом, револьвер — с пистолетом, и в каждом шаге истории передвижения с места на место мы видим, как цельное колесо заменяется колесом со спицами, экипаж без рессор — рессорным, дилижанс — локомотивом[1].

Или же мы наблюдаем, как убийство из сыновней любви постепенно побеждается на каком-нибудь острове новыми религиозными идеями — христианскими, буддистскими, мусульманскими, которые не позволяют смотреть на убийство старых родителей как на первый долг хорошего сына; точно так же паломничество к могиле какого-нибудь святого постепенно вытесняется каждой из новых доктрин или новых мод, уменьшающих веру в святость паломничества и в его необходимость[2].

Мы знаем еще, что именно вследствие небольших прибавлений, всегда состоящих из нового приема, присоеди-

---

[1] Или как в каждом моменте развития языков мы видим, как говорящий быстро делает выбор между двумя выражениями, старым и новым, и как в результате получается изменение языка вследствие подобных же бесчисленных выборов. Вероятно, таким именно образом слово *article* заменило слово *declinaison*, а слово *caballus* — слово *equus* и т.д. в образовании романских языков. Не состоит ли также и политическая жизнь из борьбы двух мнений, повторяющейся каждую минуту и при каждом случае, из которых одно говорит *да*, а другое возражает *нет*? Существует ли борьба между тремя борцами? Нет, никогда не бывает больше двух соперничающих элементов налицо при всяком изменении.

[2] Мы видим также, как какое-нибудь слово выходит из употребления, потому что мысль, которую оно выражает, заменяется другой овладевшей вниманием мыслью.

ненного к группе старых приемов, грабеж со взломом или фабрикация банковых билетов беспрестанно совершенствуются, как фотография или электрический телеграф; или развитие угона скота в одной стране и похищение документов у их владельца в другой зависят там от степени содействия, которое оказывает этим преступлениям ввоз новых пород домашних животных или выпуск новых коммерческих документов, передаваемых друг другу в руки, способствующие развитию алчного стремления к новому виду богатства; точно так же совершенствуется и металлургия при каждом новом способе применения железа, вследствие которого подымается спрос на этот металл.

Благодаря попеременному или скомбинированному действию этих различных логических операций преступность в каждой стране год от года изменяет свой вид и свою окраску. Глядя на вещи со стороны, можно подумать, что известные виды преступлений существовали во все времена. Но нельзя сказать того же о различных видах промышленности.

Всегда существовало производство пищевых продуктов, одежды, жилищ, оружия, украшений, произведений искусства.

Но разве менее верно, что способы питания, вооружения и т.д. существенно изменились со времен троглодитов до нашего времени, и не меньше видоизменились способы отравления, поджогов, мошенничества и даже убийства? Разве менее верно в особенности то, что индустрия, по-видимому, оставшаяся такой же, как была, и сохранившая те же приемы, глубоко изменилась, если она не отвечает на те же самые потребности, но применяется к новым функциям, если, например, известные постройки, употреблявшиеся раньше для помещения греческих статуй богов, служившие местом для совершения молебствия, служат теперь помещением для сутяг и льстят тщеславию какого-нибудь частного владельца, или если ковры, которые делались когда-то для арабов, молчаливо собиравшихся в своих палатках, фабрикуются теперь для

того, чтобы стлать их под ноги дамам, болтающим в каком-нибудь салоне? То же самое происходит и с преступлением: воровство, удар ножом, поджог бывают разные. Поджог в былые времена из мести чужого дома и поджог своего собственного дома из корысти имеют общим только название.

Я говорил уже, насколько само самоубийство бывает различно, смотря по тому, является ли оно актом религиозного фанатизма, как в Индии, средством отомстить врагу или геройским способом реабилитации своего имени, как в Китае, или следствием отчаянного положения, как в Европе. В начале образования обществ ненависть и голод, а больше всего любовь порождали все преступления; позднее преобладающими двигателями делаются уже более сложные страсти, религиозный фанатизм, фамильная месть, супружеская ревность, чувство мужской или женской чести, наконец, желание роскоши, комфорта, оргийных забав и городских удовольствий. Что в том, что в различные эпохи убивали и крали одним и тем же способом, что, впрочем, не совсем верно?

Изменилась душа преступления. Французская статистика 1880 года, сообщая нам, насколько изменилась менее чем в 50 лет пропорция различных факторов преступности — мести, ревности, тщеславия, корыстолюбия — обнаруживает силу внутренних причин, производящих это изменение. И наоборот, часто бывает, что одна и та же потребность удовлетворяется промышленностью при помощи самых разнородных продуктов, а преступностью — самыми, по-видимому, различными действиями. В этом случае наблюдается настоящий преступный метапсихоз. Полинезийский воин, который скупает отрубленные головы, чтобы сделать себе поддельный трофей и присвоить себе славу за небывалые подвиги, немногим отличается от европейца, который за деньги или ценой какой-нибудь подозрительной сделки покупает себе орден.

Не нужно забывать этого внутреннего переворота известных преступлений под обманчивым постоянством их

внешности, если хотят справедливо судить о прошлом. Имеем ли мы, например, право сожалеть о тех временах, когда общества не интересовались необходимостью наказывать за убийства или разграбление и предоставляли семье убитого мстить за его смерть или за нанесенный ей материальный ущерб?

Вместо того чтобы приписывать этим временам нелепое равнодушие к своим самым важным интересам, мы лучше бы сделали, если бы в этой особенности их судопроизводства сумели увидеть доказательство того, что их обычная преступность глубоко отличается от нашей. Всегда и везде, у самых новых народов, когда убийство или даже дерзкий грабеж совершался вследствие такой причины, что все могут ждать повторения преступления, если оставить его безнаказанным, все невольно подают голос за то, чтобы наказать виновного. Известен закон Линча в Америке.

Во всех обществах в период их образования самопроизвольно устанавливается подобный этому обычай, соответствующий деятельности современного прокурора. Я заключаю отсюда, что так как у известных народов и в известные эпохи, у германцев, например, убийства и грабежи наказывались только семьей жертвы, то эти деяния были вообще актами мести, вызванными ненавистью одной семьи к другой, как в Корсике.

То же относится и к убийствам, совершаемым аннамитами в Кохинхине и арабами в Алжире; гнев, ревность и мстительность, по словам Lorion и Kocher, — их обильные источники. Доказательством служит указанный двумя этими учеными факт, что аннамиты и арабы убивают друг друга, но не европейцев.

Напротив, с нашего времени и у нас в Европе преступность, если и не такая высокая, опасна совсем с другой стороны; несомненно, известно, что убийца, ворвавшийся со взломом к старой даме, чтобы ее убить и обокрасть, ворвался бы таким же образом к первому встречному, если

его оставить на свободе. Каждый заинтересован, значит, в том, чтобы его наказали; и если наше общество берет на себя заботы о его преследовании, то нам тут еще нечем хвалиться. Это доказывает, в сущности, что корыстолюбие стало обычным фактором убийства. Впрочем, когда опасный для всех разбойник появлялся в античном мире, то чувство общей опасности всегда возбуждает всех против него, как против чудовища, которое нужно истребить, против героя мстителя или Геркулеса. Ненависть к преступлению переносят на него через посредство мифа или легенды. Затем правило чисто семейных преследований было не без важных исключений. У германцев, например, были преступления, преследуемые и наказываемые смертью всей нацией. Но какие это были преступления? Дезертирство, трусость, позорное поведение[1]. Ясно, что эти преступления были единственными, пример которых считался заразительным, способным распространяться, а не оставаться на одном месте. Если бы и тогда на убийство толкала корысть, то его не преминули бы причислить к этому перечню, в котором оно занимало бы теперь почетное место. Из одного эдикта Шильдеберта от 596 года мы узнаем, что в его время в Галлии были разбойники и мошенники, которые убивали и грабили на больших дорогах; согласно этому эдикту они были лишены преимущества откупаться денежными штрафами: по судебному приговору они заковывались в цепи и подвергались казни. Этот акт королевской воли, несомненно, только урегулировал прежнюю практику. Но признанная только в ту эпоху необходимость смягчить законодательными текстами старый германский закон подтверждает все, что было ска-

---

[1] Тониссен в своем прекрасном сочинении La *loi salique* говорит, что этот лист, снабженный сведениями Тацитом, быть может, неполон, но когда сам он пытается перечислить преступления, которые нельзя наказывать денежными штрафами по салическому закону и за которые полагается смертная казнь, то находит таких только пять: «измену, дезертирство, трусость, цареубийство, разврат».

зано выше об усилении и изменении преступности в эпоху меровингов[1].

Этот все менее и менее высокомерный, мстительный и страстный и все более и более сластолюбивый, расчетливый и корыстолюбивый характер, который приняла преступность, переходя от варварства, я не говорю от дикости, к цивилизации, присоединяется к общим причинам, которые при каждом общественном строе обусловливают в цивилизованном человеке (по сравнению с варваром) преобладание расчета над страстью, стремления к богатству над гордостью. Особенно гордость, гордость крови, гордость скорее фамильная, чем индивидуальная, представляет собой как бы очень крутую психологическую гору, которую умножение всех общественных отношений в конце концов обнажает и постепенно делает более низкой в то время, как нанос искусственных потребностей и утонченных наслаждений непрестанно нарастает у ее подножия. Все искусства, вся промышленность носят на себе следы этого великого духовного движения. Живопись, скульптура, музыка, архитектура, поэзия одинаково начали с того, что единственной темой считали прославление короля, героя или бога, а единственным двигателем — артистическую славу, и кончили они все тем, что стали стремиться удовлетворять потребностям комфорта и тонких наслаждений, распространившихся в обществе, или гнаться не только за почетным, но и за материальным успехом, который завоевал даже сердца артистов. Всякий промысел (за исключением, разумеется, тех промыслов,

---

[1] Читая *«Origines indo-europpennes» Pictet,* среди собранных там предположений удивляешься, видя, насколько аналогии, относящиеся к *названию убийство и воровство,* но особенно убийство, во всех арийских наречиях определенны, многочисленны и неоспоримы. Это, разумеется, подтверждает тот взгляд, который рассматривает убийство, и притом убийство без корыстной цели, как обычное преступление варваров. Наоборот, *подлог,* злоупотребление доверием дает, в смысле изысканий, место лишь для редких и сомнительных филологических столкновений.

которые удовлетворяют наиболее грубым потребностям, и которые я сравниваю с кражей съестных припасов и с антропофагией, вызванной голодом) и всякая промышленность также начинают с того, что работают на великих мира и по большей части для славы ремесленника, и точно так же кончают тем, что служат вкусам всех и каждого за денежное вознаграждение. Насколько роскошь варварских времен стремится к пышности и тщеславию, настолько же роскошь позднейших времен стремится к изяществу, грации, изнеженности и простоте. Как прежние убийцы представляли опасность лишь для тесного круга людей, имеющих с ними личные счеты, так полезность прежних промыслов оценивалась, и вполне основательно, лишь небольшим числом лиц, несколькими семействами, которым производитель исключительно посвящал свой труд. Теперь все общество заинтересовано в процветании всякой новой промышленности так же, как и в появлении новых видов преступности.

Заметим, что эти изменения бесповоротны. Впоследствии мы будем иметь еще случай повторить это замечание. Теперь уже непонятно было бы, по крайней мере, после воцарения нового общества на обломках старой цивилизации, возвращение нашей корыстной, сластолюбивой и утонченной преступности к страстной, гордой и грубой преступности наших предков, как непонятен был бы переход от современных драм к трагедиям Rotrou и даже Расина и мистериям средних веков, или от наших жанровых картин к фрескам монастырских капелл, или от наших железнодорожных служащих к братьям средних веков, которые из милосердия делали мосты и дороги, и к каменщикам, строившим готические соборы, или даже от наших аналитических наречий, удобных для всеобщего употребления, к прежним синтетическим наречиям, сложным, звучным и торжественным, пригодным только для аристократии праздного и болтливого населения. Эта бесповоротность характерна для всех, не только органических, но и физических трансформаций. Ни одно существо не

вернулось назад по пути своего развития, ни одна река не вернулась к своим истокам. Почему? Чаще всего мы этого не знаем; но как будто в том, что касается общественной жизни, ход законов подражания прекрасно объясняет невозможность этого возвращения; эту невозможность предполагает необходимость их применения.

13. Метаморфозы и трансформации понятия преступности

Переходя от одной цивилизации к другой или просматривая последовательные сферы одной и той же цивилизации, мы видим, как известные деяния переходят из разряда крупных преступлений в разряд незначительных проступков и делаются наконец если не похвальными, то по крайней мере дозволенными, например (от средних веков до нас): религиозное свободомыслие, богохульство, бродяжничество, браконьерство, контрабанда, прелюбодеяние, содомия; или, наоборот, из законных и иногда даже похвальных, какими они были раньше, деяния становятся сначала несколько порочными, затем преступными, например (от древности до средних веков): аборт, детоубийство, педерастия, «блуд». Этот двойной путь трансформации, который состоит не так, как предыдущий, в изменении факторов одного и того же деяния, называемого проступком, но в различной квалификации этого деяния, то как дозволенного, то как наказуемого, этот путь совершается под влиянием бессознательной последовательности, которая предшествует всем трансформациям обществ, и которая стремится согласовать в них убеждения с потребностями, а убеждения и потребности с действиями. Отсюда, когда какое-нибудь новое убеждение, какова христианская вера, или новая потребность, какова политическая свобода, возрастает чрезмерно, и происходит то всеобщее беспокойство, указывающее на перелом старой системы стремлений и понятий, главного закона жизни. Отсюда же идет направление мнений или страстей, стремящихся, как морские приливы и отливы, к восстановлению прерван-

ного движения. Трансформация, о которой идет речь, может сравниться с той, которая происходит под давлением тех же причин в оценке естественных и сфабрикованных продуктов. Когда христианство распространилось в Римской империи, то храмы, статуи богов, чувственные картины, амфитеатры, даже сами бани, имевшие раньше огромную ценность, достаточное доказательство неслыханной расточительности, быстро обесценились до того, что на них стали смотреть как на громоздкие предметы, которые иногда нужно было с большими издержками разрушать. Позднее также достаточно было одной ереси, чтобы свести до минимума ценность изображений святых, которые наполняли восточную империю, и поднять против них молот иконоборцев. На биржах и в торговых домах знают, что вовсе не так называемый закон спроса и предложения повышает и понижает цену на акции какой-нибудь компании, на картины какого-нибудь художника или на мебель известной эпохи, но то, что является объяснением этого мнимого закона: распространенный в публике ложный или верный взгляд на известный предмет или ее капризный вкус. Книга, ценившаяся раньше на вес золота, не находит покупателей. Александрийская библиотека бесконечно ценилась александрийцами, но для Омара она была только помехой. Несомненно, что если потребности и действия согласуются с понятиями, то понятия, в свою очередь, с течением времени применяются к потребностям и действиям[1], но лишь с течением времени. Неправда, что природа действий, которые считаются полезными или вредными, добродетельными или преступными, и их соответствующая оценка определяются природой и относительной интенсивностью потребностей, свойственных известному возрасту.

---

[1] У афинян, по словам Лизиаса, оскорбление судьи даже при исполнении им его обязанностей было наказуемо лишь тогда, когда наносилось внутри здания суда, где председательствовал этот судья. Это объясняется, по словам Тониссена, закоренелой привычкой афинян к злословию и откровенной болтливости.

Они скорее стоят в соотношении с идеалом чести или с контридеалом бесчестия, причем как тот, так и другой строятся по поводу, а не по образцу общих потребностей, и притом потребностей прежних, а не современных. Честь и бесчестность известного времени отвечают потребностям предыдущей эпохи, чувства переживают свои причины и укореняются после исчезновения последних. Рыцарская честь никогда не давала себя чувствовать гак живо, как при Людовике XIII, когда рыцарство уже утратило свой raison d'etre. В какую другую эпоху так процветала дуэль, хотя общественное мнение никогда не противилось этой эпидемии так сильно, как тогда?

Развитие религиозных верований, так же как и научных истин, по большей части не зависит от параллельного развития потребностей, хотя и ощущается их противодействие, и подчинение второго первому, то есть человеческих поступков человеческой мысли, кажется мне преобладающим фактом в истории. Если пожелают найти, например, какое деяние считалось для каждой среды общественной жизни наиболее преступным, то увидят, что таковым было деяние, наиболее противоречившее господствующей догме. Найдут также, что драгоценнейшим благом всегда считается то, которое удовлетворяет наиболее согласующуюся с этой догмой потребность. В период теократический прикасаться к предметам табу, к нечистому животному или человеку, поклоняться иному божеству, чем божество племени или селения, допустить, чтобы угас священный огонь, богохульствовать, издеваться над погребением родителей (ставших после смерти богами), не приносить на их могилах в жертву людей или животных — вот самые важные преступления. Для последователя Зороастра самым важным преступлением было закапывание в землю мертвых; следовало выставлять их трупы собакам или хищным птицам. У греков величайшим преступлением считалось не завернуть мертвого в саван. В те же эпохи божественный талисман (полотно Минервы в Афинах, щиты, упавшие с неба, в Риме, черный камень в Мекке),

реликвия божества, святого, предмет культа — вот величайшие сокровища. Сокровищем по преимуществу считалось в средние века то, что мы теперь называем благодаря лингвистическому пережитку церковными сокровищами. Далее, одной из наиболее прибыльных форм мошенничества того времени был промысел торговцев поддельными реликвиями или индульгенциями, как теперь промысел торгующих процентными бумагами. Мебель, даже светская, должна была делаться по образцу церковной, парадные стулья имели форму церковных седалищ. Нравственные чувства настолько зависят от религиозных верований в рассматриваемый нами период, что не только в Египте и в Индии, но отчасти и везде в те времена, когда человеческая жизнь за пределами своего племени не ставилась ни во что, уважение к жизни животного доходило до того, что убийство или поранение известных животных считалось в высшей степени важным преступлением. Задолго до того как появились гуманисты, существовали уже анималисты (animalitaire), как называет их Летурно. Это потому, что суеверные идеи внушались уродливым, причудливым или загадочным видом четвероногих или пресмыкающихся, служивших предметами всеобщего почитания. Впрочем, распространение религиозных верований имело прекрасные результаты. Когда в каком-нибудь племени, где стесняются убивать соплеменников только, но никак не чужеземца, водворяется новая религия, то не только соотечественника, но и единоверца считается нужным охранять, а убить его считается преступным.

«Каким образом, — говорит Магомет, — правоверный мог бы убить другого правоверного?» Он не говорит только «другого араба». Если детоубийство неизвестно в Кохинхине до такой степени, что даже не предусматривается аннамитским уголовным кодексом, то это потому, что девушка-мать там ничуть не считается обесчещенной, наоборот, ей легче найти себе мужа из семьи, где хотят иметь детей, чтобы увековечить культ предков.

Вот суеверие, которое нанесло удар одному предрассудку и одному преступлению.

В монархической фазе обществ величайшим преступлением считается оскорбление величества, восстание против королевской власти, величайшим счастьем — милость короля, его улыбка или подарок. Все наиболее ценное из одежды и утвари делалось по образцу королевских дворцов.

Отметим, впрочем, что эта фаза присоединяется к предыдущей, но не сменяет ее. Этому противятся теократические чувства. Можно довольно справедливо судить о природе преступлений, считающихся самыми важными для различных эпох, по преступлениям, которые всего чаще наказывались смертью. Из архива королевского двора, по словам Оливекрона, видно, что в XVII веке «двор немилосердно преследовал смертной казнью колдовство, нечестивые и богохульные речи против Бога, клятвопреступление, содомский грех», но что «смертная казнь за убийство могла заменяться штрафом в пользу короля». Тот же контраст наблюдается в XVI, XVII, XVIII веках в Англии и во Франции. В Англии, где так щедро сыпались смертные приговоры, «очень немногие лица были казнены за убийство». В феодальный период самым крупным преступлением была измена (felonie), то есть оскорбление верховной власти, самым важным преимуществом — рыцарские шпоры; все, что не носило на себе отпечатка царственности, было лишено всякой цены. До XVI века существовали преступления феодальные, уже исчезнувшие с тех пор, между прочим, охота и рыболовство, которые являются обыкновенными проступками или особого рода правонарушениями. В наш век демократизма и индивидуализма самым важным преступлением считается убийство, чем бы ни вызвала его жертва; наиболее желательные блага у нас — избирательное право, чувственные наслаждения и комфорт; все изобличает стремление к реализму, индивидуализму, популярности. Даже искусство складывается по этому образцу и изменяет ценность своих произведе-

ний их популярностью. Во времена Бутелье (XV век) стачка рабочих с целью увеличения заработной платы считалась преступлением; теперь она стала проявлением права, почти обязанности. Нужно заметить, что в Афинах лень бедняка считалась преступлением; у богача преступлением считалось расточение отцовского наследия на роскошь и разврат. Этот последний закон может находиться противоречащим демократическому духу афинян; но античная демократия понимала иначе, чем наша, культ семьи и считала аристократию более, чем кого-либо, обязанной хранить свои семейные очаги.

Я отмечаю, не особенно настаивая на этом, очевидно бесповоротный в высшей степени характер изменений, которым в широкой мере подверглась преступность с изучаемой нами точки зрения, другими словами, в связи с переворотом понятий, возврата к которым теперь нельзя даже себе и представить. Так, по крайней мере, обстоит дело в известных случаях, когда, например, демократическое направление (в монархической или иной форме, безразлично) заменяет направление феодальное, и особенно, когда более возвышенная религия заменяет низменный культ, более совершенная наука или индустрия заменяет науку или индустрию рудиментарную. Несомненно, что ни одна нация, серьезно обратившаяся к христианству, не оставит его для грубого культа вроде культа полинезийцев и не станет вновь называть преступлением то, что считалось таковым раньше, например прикосновение к предмету табу. Не менее известно, что нация, которая дошла до известной степени просвещения, не станет наказывать кого бы то ни было за то, что он «сглазил» урожай или убил кого-нибудь посредством магических заклинаний; известно также, что общество, воспитанное при известном уровне нашей современной роскоши, медленного наслоения стольких открытий и изобретений индустрии, которые вошли во всеобщее употребление, не заблагорассудит заключить в тюрьму женщину за то, что она носит шелковые платья. Здесь, как и во всех подобных примерах, ко-

торые можно насчитывать тысячами, ясно, что невозможность возврата прежних понятий о преступлении зависит от невозможности заменить наши убеждения, наши познания и нравы, наши понятия и способности, то есть просто наши открытия и изобретения, прежними открытиями и изобретениями. Но существует также много таких изменений, происшедших в представлении о преступлении, причиной которых было, помимо новых открытий и изобретений, подражательное распространение старых, уже известных раньше. В этом новом смысле бесповоротность трансформаций, о которых идет речь, еще более очевидна, потому что волны подражания всегда приливают и не знают отлива. Мы знаем, что по мере того как соседние и отдаленные друг от друга нации развиваются, влияя друг на друга, главенствующая мораль каждой из них расширяется и стремится охватить собой все остальные, и это простое расширение сферы долга заставляет появляться или исчезать многие преступления. Когда население какой-нибудь приморской страны входит в продолжительные сношения с иностранцами, плавающими по их морю, то оно перестает считать дозволенным убийство, обращение в рабство потерпевших кораблекрушение и даже захват судов, севших на мель у его берега; они издают законы и наказания для борьбы с этими дикими поступками и с тех пор никогда уже не решаются нарушать этого постановления их кодекса. Не будем забывать, что величайшим преимуществом цивилизации было то, что она не столько совершенствовала наши естественные чувства справедливости и милосердия, сколько расширяла возможно дальше границы их применения за пределы семьи, племени, города, отечества. В истории человечества не было ничего более замечательного, чем это последовательное раскрытие новых горизонтов понятий о преступности, первоначально замкнутых в кругу домашнего очага, что они никогда не вернутся в свою прежнюю колыбель. Первый шаг к освобождению был во многом самым трудным, и нельзя достаточно отблагодарить наивных изобретателей — так

как здесь необходимо было укрепление известных понятий, — которые придумывали самые гениальные средства для обхода затруднений. Символическими формулами усыновления, известными церемониями вроде смешения капель крови, чтобы закрепить союз, они дали возможность семье искусственно расширяться, разумеется, тогда, когда уже установилась известная степень социального сходства между семьей и теми внешними элементами, которые нужно было присоединить к ее очагу. Особенно своеобразен был прием, который наблюдал Марко Поло у татар: семьи, желающие соединиться, устраивали свадьбу двух умерших, как будто бы они были живы, и с этого момента их сближали уже узы родства или свойства. Эти милые и благотворные фикции стоят фикций наших законов-ловушек, где сидит в засаде ум юриста. Прибавим, что благодаря этим и другим средствам подражательный прогресс цивилизации имел следствием не одно только увеличение преступлений в виде деяний, не считавшихся прежде преступлениями.

Он произвел также и обратное действие, отмену преступлений, считавшихся раньше таковыми, хотя невежество и является главным источником предрассудков, которые заставляют считать проступками безвредные действия, хотя невозможно, чтобы, соприкасаясь между собой все чаще и чаще, общества не просвещали друг друга все больше и больше. Таким образом, или в силу законов подражания, которые мы уже знаем, или в силу законов изобретения (которые требуют, чтобы более простые изобретения предшествовали более сложным, или примитивные — более совершенным), метаморфозы понятия о преступности образуют ряд звеньев, порядок которых нельзя изменить.

Спросим себя теперь, есть ли во всех этих трансформациях твердая точка опоры? Мы сказали два-три слова о теории естественного преступления, намеченной Гарофало: он разумеет под этим термином оскорбление (все равно, когда бы и где бы оно ни было нанесено) известно-

го среднего чувства человеколюбия или справедливости, границы которого очень трудно определить даже приблизительно. Несмотря на неясные границы, в которые его можно заключить, это понятие, как мы уже сказали, содержит в себе, в сущности, неоспоримую истину. Но она требует более точного определения, и наша точка зрения дает нам для этого средства. Все черты сходства между живыми существами бывают органического происхождения, то есть результатом наследственной передачи; есть много таких, которые анатомы называют функциональными аналогиями и о которых они, впрочем, говорят свысока и с величайшей небрежностью; эти черты встречаются у животных и растений, принадлежащих к неродственным семействам или, по крайней мере, появляются в силу каких угодно причин, только не благодаря кровным узам. Таково слабое сходство между крылом насекомого и птицы. Таков факт, что животные всех пород, развиваясь по особым законам прогресса, имеют голову, органы чувств, желудок, члены тела и т.д. Все это имеет свое значение, но ни один анатом не окажет этим чертам сходства чести поставить их на одну доску с часто неясными и неуловимыми, сходственными чертами, появившимися благодаря наследственной передаче, и которые он называет гомологиями.

Точно так же подобия, существующие между членами обществ, не всегда бывают социального происхождения, и причина их не подражание; много таких подобий, самопроизвольное появление которых обязано собой, в различных обществах, зависимости от одинаковых органических потребностей, борьбе с одинаковыми внешними условиями, которые необходимо использовать[1].

---

[1] В этом случае, заметим, наблюдается повторяемость по передаче из рода в род (наследственность) вместе с повторяемостью *par ondulation* (форма повторяемости, присущая всем физическим факторам), которая объясняет необъяснимые сходства подражанием. Из трех форм повторяемости, которые я различаю, одна, по крайней мере, всегда лежит в существе каждого подобия.

Два даже не родственные между собой языка имеют общие черты, в отличие имен существительных от глаголов, в склонениях и спряжениях; две религии, не связанные даже общим мифологическим источником, могут обладать мифами о солнце и луне и обожествлять мужскую храбрость и женскую плодовитость. Точно так же, независимо от всякой традиции, два государства могут быть одинаково республиканскими или монархическими. Можно, если угодно, называть естественной религией тот общий фонд, которым обладают все религии, точно так же, как и все, что остается в них почти неизменным, несмотря ни на какие трансформации, хотя и не в одинаковой степени; скажут, может быть, что это — вера в общее божественное начало или вера в будущую жизнь. Так и говорилось, но не без многочисленных опровержений. Можно также, хотя и не без натяжки во всяком случае, называть естественным языком совокупность приемов речи, лингвистических изобретений, посредством которых соприкасаются между собой, сами того не подозревая, все наречия и не перестают еще соприкасаться. Я, наконец, не вижу, почему бы не называть естественными преступлениями деяния, которые совершаются под давлением органических импульсов человеческой натуры, поскольку она всегда и везде остается одной и той же, и которые, в силу их противоречия с основными условиями общественной жизни, всегда и везде осуждаются и влекут за собой бесчестие. Прибавлю, что название «естественные права», примененное к разряду полномочий, без которых общественная жизнь была бы невозможной, справедливо в такой же степени, и что оно имеет свое право на существование в вышеуказанном смысле. Точно так же я думаю, что можно было бы установить понятие естественной наказуемости; так оно прежде всего заслуживает этого названия. Замечательно, что египтяне, краснокожие и африканские негры независимо друг от друга ввели обычай отрезать носы виновным в прелюбодеянии женщинам, обычай, по моему

предположению, вызванный желанием обезобразить тех, кого красота довела до греха.

Весталки ацтеков, как и римские весталки, зарывались живыми в землю, когда нарушали обет целомудрия. С другой стороны, тальон не только был распространен повсеместно, и притом или в форме уподобления[1] (что бывает чаще), или иногда, как мы видели выше, в формах символических, но и с исключительной живучестью сохраняется, несмотря на все метаморфозы уголовного права. Даже и теперь не объясняется ли сопротивление некоторых народов полной отмене смертной казни тем, что она применялась исключительно к убийцам? Таким образом, я не отрицаю основной идеи естественного преступления, но, объясняя ее, я вместе с тем намечаю тесные границы и, да простят мне, если, не разделяя в этом вопросе того пренебрежения, с которым анатомы относятся к функциональным аналогиям, я не буду останавливаться на них слишком долго.

Но в то же время это объяснение само нуждается в объяснении и развитии. Эти не имеющие подражательного происхождения черты сходства, к которому бессознательно применяют понятие естественного, можно рассматривать под тремя углами зрения во всякой области социальных явлений. Так, некоторые самопроизвольные подобия рассматриваются в качестве присущих всякому началу тех независимых друг от друга социальных эволюций, которые ими сопровождаются. В этом смысле естественный язык, естественная религия, естественный закон, естественное управление, естественная промышленность, естественное искусство могли бы существовать в чистом виде лишь в первобытные времена и шли бы, беспрестанно изменяясь, как перспектива картины, которая все больше и больше раскрывается благодаря все более тщательной разработке изображения. Или, напротив, нам

[1] То есть в форме уподобления наказания преступлению: око за око, зуб за зуб. Это — так называемый тальон материальный.

говорят об этих так называемых естественных предметах, как о предметах скорее идеальных и рациональных, как о конечных причинах в аристотелевском смысле слова; но именно в конце своего развития, а не в начале появления различные языки должны были бы обнаружить свою подчиненность единой естественной грамматике, различные гражданские и уголовные законодательства — свою подчиненность единому естественному праву и т.д.

Наконец, вместо того чтобы отмечать неподражательное сходство известных определенных, или начавшихся, или законченных состояний, можно скорее признать сходство их последовательного развития и вместе с нашими эволюционистами попытаться слить в одну формулу развития, общую для самых разнообразных обществ, последовательный ряд их трансформаций. Я признаю, что из трех этих интерпретаций, принимаемых, впрочем, в различной степени, я предпочитаю вторую. Я считаю ее более согласной с фактами в сущности, менее мистической, несмотря на обманчивую внешность, и единственной, которая может согласоваться с стремлениями разума, причем последние сами являются положительными реальностями, данными опыта. Если это первый шаг к тому позитивному идеализму, который нужно видеть в теории Гарофало о естественном преступлении, то я поздравляю его с таким названием и поспешу принять его не как вывод из прежних понятий о преступности (потому что такой вывод был бы чрезвычайно неточен), но как план будущих понятий о преступности, которым предстоит, мы надеемся, упроститься и исправиться в этом смысле или в смысле более интеллектуалистическом, но близком к этой идее.

14. Приемы совершения преступлений и социальная эволюция

Как факторы и природа преступлений, так и приемы их совершения сильно изменялись год от году; и эта последняя трансформация в качестве более совершенной, чем предыдущие, заслуживает поэтому некоторого вни-

мания. Приемы совершения преступления сообразуются с общим курсом социальной эволюции. Заметим сначала, что земледельческая промышленность отличается от промышленности в собственном смысле слова своей характерной связью с традиционными обычаями. Сельская преступность теми же чертами отличается от городской. Во-вторых, прогресс индустрии состоял в том, чтобы добиться максимума пользы при минимальной затрате человеческой силы, то есть заменить человека все более и более послушными и дешевыми орудиями, другими словами, силами и материалами сначала органическими, затем неорганическими, и довольно часто, если войти в детали, сначала силами и материалами животными, затем растительными, затем физическими и, наконец, химическими[1].

Оставаясь неизменным, этот порядок достаточно часто повторяется, чтобы быть замеченным. Жернова для размалывания зерна, ранее приводившиеся в движение рабами, затем — лошадьми, теперь вертятся силой ветра и воды. Передвижение совершалось раньше на спинах рабов, в паланкинах или на спинах лошадей, ослов, верблюдов, слонов или в экипажах, запряженных лошадьми; позднее обратились к помощи водяных паров, добываемых путем горения каменного угля (ископаемых растений)[2]; в будущем, быть может, обратятся к сжатому возду-

---

[1] Разница эпох, как понимают ее археологи, есть не что иное, как неполное осуществление этого закона, если принять во внимание то, что каменному, грубому и первобытному веку, затем векам *бронзовому* и *железному* (эти последние вещества добыты уже химическим путем) предшествовал век *деревянный*, когда единственным оружием и утварью была палка, а еще раньше — век, когда человек ограничивался пользованием своими собственными полуживотными силами или силами своих ближних, которые от него зависели. Но вместо того, чтобы считать эту последовательность периодов просто общим делением истории и доисторических времен на эпохи, будет гораздо правильнее и интереснее видеть в ней прежде всего серию фаз, пережитых каждой индустрией отдельно и в самые различные эпохи.

[2] Здесь есть и исключения. Навигация, например, пользовалась руками гребцов, затем — парусом и затем — паром. Третий способ — рас-

ху и электричеству. Жертвы богам были сначала человеческими, затем — животными и растительными, прежде чем стать исключительно металлическими. Вопрос всегда был в том, чтобы за самую ничтожную цену получить возможно больше. Рог домашних животных служил раньше для многих целей: в качестве рам для окон, сосудов для питья и т.д.; он заменяет большую часть услуг, которые оказывает теперь стекло. Для освещения зажигали раньше сало или жир (Нерон вспомнил об этом, когда приказал сжечь христиан для иллюминации своих празднеств) прежде, чем вошли в употребление факелы с маслом из оливок или из других маслянистых плодов, наконец, дошли до минерального масла или газа. Бурдо в своих «Силах промышленности» отметил поразительные примеры этого рода. Начали запечатывать письма сперва животными продуктами, воском пчел, затем сургучом — продуктом растительным, или облатками, или клеем. От животного угля перешли к растительному и т.д.

Преступление шло аналогичным путем. К животному яду, употреблявшемуся обыкновенно дикарями, которые смачивали свои стрелы ядом змей, к услугам отравителей прибавились яды растительные, прославившиеся в средние века, теперь же потребляются яды минеральные, фосфор и мышьяк. Первые убийцы должны были убивать и душить своих жертв собственными руками, позднее они пускали на них разъяренных собак или настигали их стрелами, которые направлял эластический лук из дерева; позднее стали направлять против них взрывы пороха или динамита.

Прогресс охоты, связанный с прогрессом войны, выясняет и прогресс убийства; убийца, как и воин, начал с охоты на людей. Первые Немвроды сами преследовали дичь, затем они заставили собак преследовать и ловить ее

тительного происхождения — должен бы был быть, по-видимому, на втором месте. Но в действительности этот случай входит в общее правило максимальной пользы при минимальной затрате сил.

или хищных птиц, затем обратились к стрелам из лука и пулям из ружья. Гончая собака появилась раньше легавой; последняя стала возможной лишь после усовершенствования метательных орудий и служить их аксессуарами. В эпоху, куда не достигает свет истории, мы имеем право думать, что человек для борьбы и человекоубийственных состязаний брал себе на помощь прежде всяких достаточно усовершенствованных метательных орудий укрощенную силу свирепых животных, как, например, собак, тогда еще наполовину шакалов, а также тигров и львов, прирученных, как при дворцах ассирийских царей[1].

Неизвестно, для чего еще могла служить дикая, едва укрощенная собака на этой заре человечества, если не для того, чтобы сражаться за своего хозяина. Собака нападающая предшествовала собаке защищающей. Это не все; убийство по поручению, через наемных убийц, которое соответствует индустрии, развивающейся при помощи труда рабов, должно было существовать раньше, чем убийство при помощи собак, тигров или львов.

Что касается воровства, то максимальная польза при минимальной затрате сил достигалась менее изменениями приемов (хотя и они очень изменились), чем изменениями предметов воровства.

Сначала похищались целые стада, как и теперь в Сицилии, затем целый урожай, что было уже менее трудно и настолько же прибыльно, наконец, деньги, банковые билеты, личные документы, которые в небольшом объеме заменяют собой достаточное количество голов скота. Но если в мошенничестве в собственном смысле слова видят только род воровства, то историческое усовершенствование приемов воровства соответствует усовершенствованию его объектов[2].

---

[1] Многие римские императоры, как известно, ездили на триумфальных колесницах, запряженных ручными львами.

[2] Мошенничество шаг за шагом развивается за счет обыкновенного воровства по тем же причинам, по каким косвенные налоги с каждым днем приобретают все большее значение по сравнению с прямыми

Между кражей скота, даже кражей баранов Полифема Улиссом, самым хитрым из античных героев, и кражей нескольких миллионов лукавым финансистом наших дней — такое же расстояние, как между смертью Цезаря под кинжалом Брута и взрывом бомбы нигилиста под царским поездом.

Еще одно слово об убийстве. По статистике Бурне я нахожу, что в Италии на 2983 кровавых преступления, совершенных в 1888 году, самая большая пропорция приходится на убийства ножом, стилетом, кинжалом, затем палкой, земледельческими и другими острыми или тупыми орудиями, которые требуют более или менее значительной затраты человеческой силы.

Их общая сумма поднимается до 1815, в то время как убийства огнестрельным оружием поднимаются всего до количества 824. В Корсике и Сицилии наоборот. В Корсике, особенно в период от 1836 до 1846 года, мы насчитываем 371 убийство при помощи ружья или пистолета и 69 при помощи ножа или стилета. Точно так же убийство в Италии, Испании и даже Франции[1] в отношении приемов как будто отстает от убийства в Корсике и Сицилии.

Не отстали ли в преступлении всего больше те нации, которые стоят впереди в промышленном отношении? Как бы то ни было, все это не мешает прогрессу военных орудий идти так же быстро, как и прогресс фабричных машин в силу того же научного прогресса, что мы в Европе знаем слишком хорошо.

У многих воинственных народов, которых еще не охватила зараза окружающей промышленности, прогресс в деле вооружения уже очень заметен. Сколько островитян, оставшихся во всех других отношениях дикарями, уже

налогами. Потому что они являются в означенном смысле самой совершенной формой налога. Это изменение кажется уже бесповоротным.

[1] В период от 1856 до 1873 года мы находим во Франции 457 убийств, совершенных при помощи ножей, стилетов или сабель, и только 273 были совершены с помощью ружья и револьвера; от 1816 до 1880 роль пистолета увеличивается, а роль стилета уменьшается.

пользуются ружьями! Нужно заметить еще, что самое грубое орудие, преимущественно потому, что оно же является и самым древним, считается и самым благородным. Нож больше почитается в Италии, чем ружье[1].

В деле вооружения, как и в деле земледелия, прогресс, очевидно, бесповоротен. Доказывать это бесполезно.

15. Ответственность личности за преступление

Резюмируя всю эту главу, мы имеем право, мне кажется, заключить, что преступность без малейшего сомнения предполагает, как и всякая другая отрасль общественной деятельности, существование известных физиологических и даже физических условий, но что в качестве собственно индустрии они прежде всего объясняются общими законами подражания в своей местной окраске, как и в своей особой для каждой эпохи силе, в своем географическом распределении, как и в своих исторических трансформациях, в изменчивой пропорции ее различных двигателей как последовательности ее изменяющихся приемов. Мы уже указали, как важно с точки зрения уголовной ответственности доказать эту мысль, откуда следует, что преступление есть акт, идущий от индивидуума не только как живого существа, но как личности, такой, какой может создать ее только общество, творящееся по образу своему, личности тем более тождественной себе самой, по крайней мере, до известной степени, чем больше она ассимилировалась с окружающими; тем более сознательной и независимой, чем больше она чувствительна к восприятию примеров, как легкое бывает тем сильнее, чем глубже оно дышит. Говорят, что наше тело — часть сгущенного воздуха, живущая в воздухе: не могли ли бы мы с таким же правом сказать, что наша душа — часть воплощенного

---

[1] У аннамитов и китайцев обезглавление саблей считается национальным искусством, которое было бы позорным допустить выйти из употребления.

общества, живущая в обществе же? Рожденная им, она им и живет, и если перечисленные мной аналогии, несколько, может быть, затянувшиеся, справедливы, то ответственность личности за преступление должна признаваться в не меньшей степени, чем ее гражданская, неоспариваемая и, наверное, неоспоримая ответственность.

Остановимся поэтому на этом важном пункте.

Я ничуть не отрицаю, что в большей или меньшей степени физические или физиологические возбуждения определяют желание; но их воздействие, будучи лишь частичным, ничуть не мешает ответственности преступника. Напротив, они сами со своей стороны состязаются в доказательствах его вменяемости. Несомненно, что если бы только они одни и действовали на индивидуума, то он вовсе не был бы ответственным в социальном отношении, потому что это обнаружило бы в нем существо, глубоко чуждое обществу других людей; но он все-таки мог бы оставаться ответствен индивидуально. Я хочу этим сказать, что в этом случае условие социального сходства, которого требует наша теория ответственности, не было бы выполнено в действительности, но условие личного торжества, являющееся главным реквизитом, могло бы быть налицо, несмотря на неизбежность внешних влияний. Можно, конечно, видеть в календаре преступности и во всех статистических таблицах вообще, где указывается связь между явлениями физического или органического порядка и ростом известных преступлений, социологическое подтверждение психофизиологической гипотезы об ассимиляции воли с рефлективным действием. Воля по этой теории отличается от рефлективного деяния только количеством психических элементов, тех воспоминаний, которые определяют первоначальное возбуждение от заключающей его реакции, которую называют волевой, когда исчезает представление о сложной связи, соединяющей оба эти предела. Статистика могла бы вернуть нам это утраченное представление или, скорее, дала бы нам возможность приобрести представление, которого мы рань-

ше никогда не имели, заставив нас прикоснуться рукой к нашим скрытым порывам. Но, допустив это и в известных отношениях доказав, мы должны признать, что ответственность, построенная на принципе свободной воли, рушится. Однако построенная на личном тождестве, на индивидуальном характере, она существует при условии наличности социального сходства, потому что полученное возбуждение действует только потому, что соответствует требованиям характера; такое соответствие является необходимым посредником между первым и последним звеном цепи. Сверх того, никто не узнал бы истинной природы рефлективного деяния, даже самого простого и неизменного, если бы в нем видели только проявление причинности без всякой конечной цели. Этот элементарный рефлекс, рефлекс организма, по выражению Рише, является средством возбуждения в виду осуществления интересов вида, физического организма. Когда налицо желание, «рефлекс приобретения», то реакция делается средством достижения частных целей личности.

Не будем забывать этой загадочной особенности личности, в особенности же воздержимся от ее полного отрицания. Не является ли зачастую единственным средством использовать наше невежество признание неизвестного? Как бы то ни было, волевой акт всегда зависит от нас, будь он даже просто-напросто высшим рефлексом. Но он имеет сверх того отношение и к обществу и как таковой заставляет нас считаться с ним, когда вызвавшие его причины отчасти или по преимуществу социальны.

Я не хотел бы кончить, не предупредив, что развитые ниже аналогии между преступлением и другими социальными действиями, особенно индустрией, не должны заставлять нас забывать это различие. Преступление — явление социальное, как и всякое другое, но в то же время и антисоциальное, как рак, участвующий в жизни организма, но содействующий его умерщвлению.

И действительно, если Мичлерлих мог сказать, что жизнь есть гниение, горькая истина, подтвержденная до

известной степени новыми химиками, по мнению которых «химическое разложение при гниении и при внутренне-органическом сгорании представляют самую полную аналогию», точно так же, следовательно, было бы справедливо сказать, что гниение есть жизнь, но жизнь убивающая. Преступление — промышленность, но промышленность отрицательная, чем и объясняется его давность: после первого же продукта, забытого трудолюбивым племенем, должна была образоваться шайка грабителей[1].

Родственное и современное индустрии, которую оно эксплуатирует, преступление не кажется более, чем она, позорным по происхождению.

Они развивались параллельно друг другу, переходя оба от общей формы к двойной. Вначале индустрия была производством неоплачиваемого труда, представляемого даром хозяину его подчиненными и господину его рабами; принимая форму обмена услугами, она стала коммерцией. Преступление, делаясь взаимным, стало войной, обменом нанесения ущерба. Как мена и продажа — взаимная форма передачи, так дуэль — взаимная форма убийства[2]. И война есть взаимная форма не только убийства, но грабежа, воровства и поджигательства; она высшее и самое

[1] Едва ум ребенка начинает утверждать, как тотчас же начинает и отрицать. Эти отрицательные положения черпают свои основания в логике, как и положения утвердительные; но они не способны к такому же развитию, если принять во внимание теорию силлогизма. Тем не менее, отрицание — один из полезнейших ферментов разума.

[2] Как самоубийство — его возвратная форма. Новые криминалисты охотно выходят за пределы своего предмета, чтобы заняться вопросом о самоубийстве, которое относится к их науке, как предместье города к самому городу. Я не вижу, почему они не займутся в такой же степени дуэлью — другим не менее опасным явлением. Очень жаль, что не хватает данных для статистики дуэлей в армии. Разумеется, большая частота дуэлей в армии сравнительно с гражданским населением должна быть не менее заметна, чем частота самоубийств. Если верховная власть примера несомненна в отношении к самоубийству, эпидемии, которая часто в несколько дней опустошала фанатическое или терроризированное население, то она еще более очевидна в отношении к дуэли.

полное, насколько это возможно, выражение обоюдного преступления. Несчастье в том, что после появления этой сложной преступности преступление простое, преступление в тесном значении слова, не исчезло. Но то же можно сказать и о первобытной индустрии, выполняемой рабами, которая не без сопротивления уступает место индустрии свободной, вознаграждаемой, и в известных странах постоянно продолжает идти рядом с последней. Не менее верно, что индустрия — природный враг рабства, и милитаризм — природный враг разбоя. Спенсер, как мы видели выше, имел основания в развитии милитаризма усматривать источник уголовной репрессии.

Это наверное так, потому что война берет начало от преступления, солдат происходит от разбойника, как рабочий от раба, — вопрос в том, чтобы произошла эта смена.

Это происхождение несомненно. Чем больше мы углубляемся в прошлое, тем неопределеннее становится граница между армией и разбойничьей шайкой. Еще в XVI веке в цивилизованных государствах Европы не боялись считать разбой правом военного успеха. Испанская армия, самая дисциплинированная в то время, «насчитывает в своих рядах, — говорит Форнерон, — убийц и разбойников, которые обязались быть покорными иногда: разбойники, грабившие по каталонским горам, в те времена, когда ремесло кажется наиболее невыгодным, составляют товарищество под начальством кого-нибудь из предводителей, который получает звание капитана, и вступают все разом в какой-нибудь старый полк. Полезное преступление доставляет чин офицера».

До XVII столетия даже во Франции на королевские гарнизоны в городах «смотрели как на настоящий бич, и насколько теперь города стремятся иметь полк, настолько раньше они уклонялись от этой опасности; было драгоценной привилегией не иметь его».

Немецкие, итальянские и швейцарские шайки, которые были на жалованьи у Франции, вели себя во время религиозных войн и фронды как в завоеванной земле. Фран-

цузские войска поступали не лучше. Все они занимались вымогательством и разорением беззащитных деревень. Армии, даже правильно организованные, повсюду стали внушать своим соотечественникам такой же страх, как и врагам[1].

С этой стороны особенно поучителен Фукидид: то, что он сообщает нам об отдаленных временах Греции, может быть обобщено. Когда среди островов архипелага появляется одно такое же гнездо пиратов, как и другие, которое начинает забирать власть над всей группой островов благодаря значению своих пиратских подвигов, то оно дополняет свою власть, очищая море от своих прежних коллег. Так поступил Минос, по словам греческого историка. «Он изгнал злодеев, занимавших острова, и на многие из них послал свои колонии». Ясно, что ссылка — не современное изобретение. «Наверное, — прибавляет Фукидид, — те из греков и варваров, которые жили на континенте по соседству с морем или занимали острова, не раньше усвоили обычай переезжать друг к другу на кораблях, чем предались пиратству. Самые могущественные представители нации становились во главе их. Они осаждали города, не защищенные стенами, и разоряли их.

В этом занятии не было еще ничего позорного, оно могло даже стяжать некоторую славу.

Греки вели даже на суше междоусобный разбой, и этот старый обычай еще держится в большей части Греции в Локриде и Озолах, в Этомии, Акарпании и на всей этой части континента. Обычай постоянно носить оружие на материке остался среди жителей еще со времен разбоя»[2].

---

[1] «Китайские рекруты, — говорит Морис Жаметель, — оказываются в большинстве случаев разбойниками, которые спешат воспользоваться представившимся им случаем продолжать свои подвиги под знаменем Сына Неба».

[2] Не могло ли бы случайно это происхождение войны от преступления быть в числе причин обнаруженного статистикой факта, что во всех странах наблюдается заметное преобладание военной преступности над преступностью гражданской? Во всяком случае, есть много

Странно, действительно, видеть, как, исторически развиваясь с возрастающей полнотой и величественностью, бок о бок идут, с одной стороны, этот обмен богатств, конкуренция в сфере производства и торговли, с другой — обмен преступлениями, разрушительные удары, война.

Огромное расстояние, которое кладет разница простого и сложного, одностороннего и обоюдного между войной и преступлением, не должно нас поэтому удивлять; это обычный метод специальной логики. Между рабским и наемным трудом, оброком и продажей, служением женщины мужчине в примитивном браке и их взаимным союзом в браке современном, между почтением — вежливостью лишь с одной стороны и вежливостью — взаимным почтением и т.д. лежит не меньшая бездна, чем между убийством и поединком.

других причин, которые состязаются между собой в объяснении этого факта. Армия составлена из элементов исключительно мужских, молодых, неженатых, она образует население, дошедшее до высшей степени сплоченности: все условия, располагающие к преступлению, — налицо. Затем к правонарушениям общего характера военные прибавляют еще свои специальные пороки и преступления. Как бы то ни было, мы констатируем, что на 10 000 человек французская нация дает в среднем годовую цифру из 40 преступлений, а французская армия — 107 преступлений. Итальянская армия дает их 189. От 1878 до 1883 года рост военной преступности в Италии быстро усиливался: с 3 491 преступления или преступников она поднялась до 5 451, в то время как гражданская преступность осталась приблизительно такой же, как и была (*Setti. U Esercito e la sua criminalita. Milan*, 1886). Напомню, что самоубийство в армии распространено гораздо больше, чем в остальной нации, дуэль — то же самое («О самоубийстве в армии» д-ра Менье, Париж, 1881). В 1862 году самоубийство во французской армии было *вчетверо выше* на одну и ту же цифру населения, чем во всей стране; но так как, постепенно понижаясь в армии, оно повышалось в остальной нации до того, что в течение 50 лет утроилось, то в 1878 году это зло в армии было уже только *наполовину* сильнее, чем во всей остальной Франции. Пропорция самоубийств, впрочем, повышается в армии по мере того, как повышаются ступени иерархической лестницы, как и в нации, по мере того, как повышаются ступени лестницы социальных условий.

Известно, что преступление, по крайней мере, теперь, не приносит пользы ничему и вредит всему, в то время как война имеет свои глубокие основания, близкие сердцу обществ; и, несмотря на ошибочный взгляд на это Спенсера, развитие военного дела у какого-нибудь народа находится гораздо чаще в прямом, чем в обратном соотношении с развитием индустрии. Можно ли вывести отсюда, что до появления первых войн убийство и воровство приносили свою пользу? Да, если правда, что простое — дорога к сложному. Разве не необходимо нужно было пройти через рабство, чтобы дойти до взаимопомощи между трудящимися, через падение ниц подчиненных перед сеньором или королем, чтобы перейти к обычному сниманию шляп на улице? Разве не нужно было пройти через порядок приказаний и послушания, домашнюю, политическую и религиозную автократию, чтобы перейти к институту контрактов, взаимных прав и обязанностей?

Без наступательного шествия вперед и без самовольного грабежа на заре истории появились ли бы когда-нибудь позднее завоевания и большие государства, постоянное условие высокой, мирной и честной цивилизации? Дело в том, что преступление стало злом, ничем не возмещаемым, с тех пор, как его с успехом заменили милитаризм и война. Армия является гигантским средством осуществить при помощи грабежа и убийства в широких размерах всеобщее желание удовлетворить чувство ненависти, мести или зависти, которые одна нация питает к другой. Предосудительные в своей индивидуальной форме, эти низменные страсти, жестокость и жадность кажутся похвальными в своей коллективной форме. Почему же? Прежде всего потому, что они успокаивают небольшие внутренние несчастия, вынося их наружу; затем потому, что они ведут к воинственному разрешению этого затруднения и территориальному распространению мира, который следует за войной. В результате милитаризм фильтрует преступные страсти, рассеянные в каждой нации, очищает их с помощью их концентрации и оправдывает их, заставляя

их бороться друг с другом, в высшей форме, которую они таким образом приобретают.

Война в конечном подсчете увеличивает поле мира, как преступление увеличивало некогда поле честности. Такова ирония истории.

Но если это так, то я не могу отказаться от одного соображения: в такое время как наше, когда милитаризм распространился так сильно, не вдвойне ли тяжело констатировать также и распространение преступности? Казалось бы, что если бы наша преступность стала уменьшаться, как этого можно было бы ожидать, то такое уменьшение было бы не слишком большим вознаграждением за наше вооружение и за наши войска, которые ежедневно возрастают.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ

(В сокращении)

Предисловие

Большая часть предлагаемых исследований уже появлялась в La Revue philosophique. Живой интерес к этому предмету, по несчастью, слишком понятный, побудил меня снова напечатать эти исследования, сделав к ним дополнения. Везде, во Франции и за границей, а особенно в Италии, вопросы преступности и наказания — вопросы дня. В этой области чувствуется особенная необходимость реформ, и вызывает ее не одно только увеличение числа преступлений. Благодаря успехам статистики с каждым днем увеличивается сознание этого растущего зла, его характера и причин. Этот совершенно новый источник исследований, который приучает современную публику видеть в больших массах социальные факты, не темные и неизвестные, как прежние обобщения, а столь же точные и столь же верные, как каждое отдельное проявление, заставляет искать объяснения всех социальных вопросов в общественном человеке. Он важен, например, в деле обновления политической экономии, в которой древний индивидуализм, что бы ни случилось с ее социализмом, отныне сыграл свою роль. Этот метод вводит такой же новаторский дух в изучение фактов, прямо противоположных экономическим, я хочу сказать о преступных фактах. Отныне криминалисту нельзя быть только юристом, исключительно заботящимся о священных правах личности; нельзя с схоластической логикой цивильного комментатора выводить следствие из каждого рода фактов, взятого в отдельности. Он должен быть статистиком — философом и прежде всего ценить общий интерес. Не мешает ему быть хотя немного алиенистом и антропологом,

потому что в то время как уголовная статистика показывает нам преступление и преступников в массе, уголовная антропология надеется раскрыть связь между различными преступлениями и известными наследственными, но не индивидуальными, физическими особенностями. Патология мысли, наиболее близкая к нервной системе, не говоря уже об опытах над неправильными внушениями у гипнотиков, заставляет нас строить теорию уголовной ответственности на новых, более глубоких основаниях и искать вне личности истинное начало и истинное значение ее поступков. Статистика, антропология, физическая психология — таковы новые научные пути. Для них обновленное изучение преступления — да будет мне позволено назвать его сравнительной преступностью — представляет в некотором роде распутье. Я, конечно, не имею намерения в узких рамках этой книги решать поставленные ею проблемы.

Автор будет удовлетворен, передав свои данные и свои замечания тем, кто будет их перерабатывать. Но должно сознаться, что тайной душой этой работы была сложившаяся ранее система, которая давала связь рассеянным отрывкам. В этом произведении автор искал применения и проверки той особенной точки зрения, на которой уже давно он стоит в социальной науке и которую он считал вполне способной осветить более широкое поле исследований, чем поле этой книги. В помещенном ниже сочинении среди различных подробностей, которые здесь мы не будем повторять, он не раз пользовался ею. Вместе с этим, я думаю, не надо говорить о том, что автор всегда стремился систему подчинить критике, а не критику системе. Он надеется, что у читающего эти страницы в этом не будет сомнения.

С тех пор как появилась эта небольшая книга, то преобразовательное течение, которое она приветствовала и провозвещала, переросло наши ожидания. Этому движению, как это можно видеть по Второму интернациональному конгрессу криминалистов-антропологов, бывшему в

Париже в августе 1889 года, помогало само направление общества. Пока эти преобразовательные идеи распространялись, их авторы уже трудились над их дальнейшим преобразованием и исправлением. Судя по этому двойному движению, нельзя еще было с уверенностью сказать, каковы будут результаты. По моему мнению, о них можно говорить утвердительно ввиду того обстоятельства, что объяснение преступления скорее социальными и психологическими причинами, чем биологическими, и отыскание средств к подавлению преступления скорее в моральной области, чем в физической, — этот главный тезис, развитый в настоящем сочинении, все более распространяется и все далее и далее отодвигает противоположное мнение. Если бы вместо простой перепечатки первого издания за небольшими поправками я счел необходимым его переделать, я еще сильнее подчеркнул бы свою точку зрения в этом вопросе и еще более уменьшил бы роль, предоставленную «преступному типу» Ломброзо. Но по размышлении и имея в виду это замечание, я не изменил ничего существенного в выражении казавшейся мне в свое время справедливой мысли, от которой меня не особенно отклонили и последующие случайные изменения. Некоторые места в этой книге, правда, весьма незначительные, как мне кажется, устарели, но кто следит за этими вопросами, тот легко их распознает. Интерес же тех, кто пропустит их, нисколько от этого не пострадает.

Г. Т., март 1890 года

Глава I. ПРЕСТУПНЫЙ ТИП

Может быть, читателю будет интересно основательнее узнать не случайного преступника, которого общество в большинстве случаев может приписать себе, но врожденного и неисправимого, за которого, как нам говорят, ответственна только природа? Прочтите последнее издание L'Uomo delinquente Ломброзо, которое два года тому назад было переведено на французский язык. Как жаль, что такое сильное и веское произведение, такая масса основательных опытов и наблюдений, полная жизни и нового учения работа не преодолела заблуждения и не соблазнила раньше пера французского переводчика. Может быть, правда, сюжет кажется сначала неинтересным. Эта иллюстрированная физическая и моральная анатомия убийц, плутов и гнусных волокит (stupratori) так мелочна! Склад их черепов и тела, их фотографии и рукописи, их восприимчивость или невосприимчивость к горю и любви, холоду и теплу, их болезни, пороки, литературные зародыши, все, что их характеризует, можно выразить в нескольких словах: зачем нам все это? Но все же, если медицина была колыбелью физиологии, и если болезненное состояние помогает понимать здоровое, то, по всем вероятиям, и исследования криминалиста бросят свет на проблемы социолога. Не надо удивляться, следуя справедливым требованиям этой nuova scola, что криминология (так называется последнее произведение Р. Гарофало) входит в социологию как частный случай и дополняет с этой точки зрения политическую экономию, для которой она в некотором роде служит обратной стороной. Можно согласиться с ней в этом пункте, но только при условии — не смотреть на современного преступника согласно предложению Ломброзо как на последний, редкий экземпляр

первобытного дикаря, потому что то, что теперь является преступным, что является фактом антисоциальным, впоследствии станет обычным социальным фактом, правилом, а не исключением.

1. Анатомические особенности преступника

Рассмотрим отдельно анатомические, физиологические, патологические и психологические особенности, которые удивительно часто повторяются у привычных злодеев и, кажется, отличают между ними наследственных. Мы займемся только взрослыми и главным образом мужчинами.

Анатомически преступник вообще велик и груб. Я не скажу, что он силен, потому что его мускулы слабы. По росту и весу его можно отнести к разряду обыкновенных людей. Это преимущество более заметно у убийц, чем у воров. Я должен заметить, что в этом отношении меры Ломброзо, взятые в Италии, противоречат английским мерам Томпсона и Вильсона и не согласуются совсем с мерами его соотечественника Виргилио. Я прибавлю еще, что у самого Ломброзо женщины-преступницы легче нормальных. Без сомнения, очень длинные руки приближают преступника к четвероруким. Другая особенность, тоже не менее определенная, которую, я думаю, кстати отметить теперь же, хотя она более физиологическая, чем анатомическая, — это необыкновенно большая пропорция одинаково ловко владеющих обеими руками. В сравнении с обыкновенными людьми таких в три раза больше среди преступников и в четыре раза — среди преступниц.

Черепа и мозг преступников дали очень дурные результаты антропологам, и Ломброзо должен был сознаться, что его труд часто был для него неблагодарным. Во-первых, не меньше ли нашей вместимость черепов у злодеев? Это вполне правдоподобно. Ломброзо и Ферри вместе с Амадеем, Бенедиктом и другими соглашаются с

этим; Бордье и Гегер нет. Последний говорит, что преступники отличаются большой вместимостью черепа; их мозг имеет от 1500 до 1700 куб. сантиметров. Во всяком случае верно то, что посредственная и нормальная вместимость черепа у преступников встречается мало, а если она и бывает, то как аномалия, так что средняя вместимость их черепа сильно превосходит вместимость дикарей, которым наш автор, как добрый дарвинист, их уподобляет. Правда, по черепному и мозговому складу, как мы увидим дальше, они подобны дикарям. Говорят, что регрессивное движение формы у преступников, как и у некоторых больших животных низшего типа, заменилось относительным прогрессом материи. Для меня, например, необъяснимо, почему голова убийцы оказалась сильнее развитой, чем голова вора. Разве для того, чтобы скомбинировать кражу, не надо столько же или даже еще больше разума, чем для обдумывания убийства? Это можно объяснить тем, говорят нам, что, как известно, брахицефалы преобладают между убийцами, а долихоцефалы — между ворами. Для величины объема круглая форма головы выгоднее длинной. По этому поводу замечают, что галл, вероятно, думал правильно, так как шишка жестокости у него находится около висков. Здесь еще противоречивые данные допускают сомнение, да, кроме того, разве было установлено, что у убийц короткая голова, и имеет ли основание большую часть из них уподоблять нашим предкам? Это недопустимо, в особенности если вспомнить слова Катрфажа, «что мирные привычки короткоголовых троглодитов Лесса доказаны отсутствием военного оружия», а люди Капштада и Кроманьона (длинноголовые) показали нам все инстинкты охотничьего и воинственного народа.

Зато, по-видимому, достоверно то, что у злодеев лоб покатый, узкий и в складках, бровные своды выдаются вперед, глазные впадины очень велики, как у хищных птиц, выдающиеся челюсти очень сильны, а уши расставлены в виде ручек; это самые отличительные черты дикаря. Прибавим к этому различные отклонения, которые слишком долго пересчитывать, и в особенности очень ясный и час-

тый недостаток черепной и лицевой симметрии. Эту более или менее оскорбительную неправильность Руссель замечает у преступников 67 раз из 100. Гораздо правильнее, говоря о человеке порочном, считать его искаженным. Часто ли замечается эта асимметрия у дикарей? Антропологи об этом не говорят ничего. «Особенно надо отметить, — говорит наш автор, — что соединение многих отклонений зараз в одном и том же черепе встречается у преступников в 43 случаях на 100, а каждое отдельное отклонение только в 21». Эти отклонения так тесно соединяются одни с другими, точно они служат частями одного типа, который, как говорят, стремится восстановиться или замениться новым.

Ломброзо приписывает особенную важность открытой им аномалии. Она состоит в том, что «неправильность средней впадины гребня затылочной кости встречается в 16 случаях из 100 у преступников и в 5 из 100 у непреступников». Это явление замечено от 10 до 12 раз из 100 у безумных, 14 у рас доисторических и 26 у американских индейцев. Надо прибавить, что у евреев и арабов оно встречается 22 раза из 100. Кроме того, не надо забывать, что по французским статистическим данным о преступниках в Алжире преступность арабов гораздо ниже преступности европейцев. Отсюда я заключаю, что если в этом отношении преступник может напоминать дикаря, варвара или полуцивилизованного, то такое, хотя и интересное, сходство никоим образом не объясняет его преступности.

Nota bene, мало лестная для нашего пола. Женщина-преступница по характеру черепа гораздо более подходит к мужчине, чем женщина обыкновенная; с другой стороны, известно, что прогресс цивилизации сопровождается возрастающей дифференциацией двух полов, как это лучше остальных наблюдателей указал доктор Бон.

Теперь перейдем к мозгу. Его средний вес у преступников, по-видимому, почти такой же, как у всех людей. Это, впрочем, не может подтвердить низкую вместимость их черепа и излюбленное уподобление первобытному че-

ловеку. «Но еще важнее, — говорит доктор Бон (см. Revue philosophique, май 1881), — что в протоколах осмотра казненных, если их разобрать, очень редко встретится доказательство более или менее глубоких мозговых повреждений». Однако возможно ли определить неправильности мозга, характеризующие преступника, как до известной степени можно обозначить неправильности его черепа? Нет. Только Ломброзо считает себя вправе заключить, что частое отклонение от нормального типа называется здесь нередко «формами, свойственными низшим животным, или формами эмбриональными». Если попробовать согласовать это низшее качество мозга с его значительным размером, придется еще раз взглянуть на преступника как на доведенную до крайней степени низость. Под этим названием мне представляется не изображение прошлого, а скорее идеал цивилизации, который, как можно предположить, будет вещественно прогрессивным, а умственно и морально ретроградным. Прибавим также, что по Флекку (цитированному у Ломброзо) неправильности центральных обращений мозга у преступника бывают двух родов, и что неправильности первой категории не причисляются к какой-либо животной или человеческой форме или к какому-нибудь нормальному, даже низшему типу.

Не забудем напомнить довольно редкие наблюдения: преступник (а также и преступница) гораздо чаще брюнет, чем блондин, он сильно волосат и редко имеет бороду. «Не доверяйтесь безбородому», говорит итальянская поговорка. Наконец, он почти никогда не имеет правильного носа; вор курнос, кажется, а убийца кривой...

Это последнее замечание вызывает смех, но, читая его, я вспоминаю немного странное, но не лишенное основания значение носа, которое старик Гегель, объясняя в своей «Эстетике» красоту греческого профиля, придает его форме. Нос кажется ему переходным органом между лбом, где сосредоточивается духовное выражение человеческого лица, и челюстью, где выражается зверство. Положение носа имеет огромное значение в преобладание того или другого чувства. Гегель говорит, что нос, смотря

по своей форме, влияет на преобладание зверского чувства или ума. Последнее бывает в том случае, если к прямому, гладкому и чистому лбу в виде едва отклоненной прямой линии примыкает правильный нос, являющийся как бы его продолжением. Курносый и даже орлиный нос, отделенный от плоского и покрытого складками лба ломаной линией и сливающийся со ртом или челюстью, особенно если они грубо выдаются, указывает на преобладание зверя. Такое толкование, сознаюсь, не из самых научных, и оно не очень обогатит антропологию. Но я не думаю, чтобы, зная его, легко можно было найти утилитарное, а не эстетическое оправдание различным формам носа. Известно, что по своему прямолинейному лбу и носу, узкому и красиво изогнутому рту, гладкой челюсти, маленьким и пригнутым к вискам ушам красивая голова классической формы вполне противоположна голове преступника, безобразие которой носит решительный характер. Из 275 фотографий (уменьшенных) преступников, приложенных к l'uomo delinquente, и нескольких десятков других портретов, помещенных в сочинении, я не мог найти ни одного красивого лица, разве, может быть, еще среди женских. Все эти лица по большей части отталкивают, а рисунки ужасают. Берегитесь некрасивых более, чем безволосых. Мне кажется, что, показав силуэт преступника и сравнив его с силуэтом первобытного человека, всегда более или менее гадательным, можно было бы противопоставить ему идеальный тип человеческой красоты, с давних пор хорошо нам известный из открытий искусства или природы, и дополнить или исправить таким образом первое толкование его свойств.

Гегель хорошо определил идеальную голову головой, где преобладает ум, то есть, чтобы точно выразить эту мысль, головой, в которой виден социальный, а не исключительно индивидуальный расцвет человека. Если, например, рот и челюсть способны не только кусать и жевать, но еще смеяться и говорить, то они прекрасны, и особенно тем, что две социальные функции, говор и смех, берут верх над двумя функциями индивидуальными — кусани-

ем и жеванием. Грубая челюсть, например, очень хороша для жевания, но она совсем не дает простора выражению. Антропологи выводят следующее правило: «В сравнении с людьми челюсть у антропоидов тяжелее мозга, у низших рас тяжелее, чем у цивилизованных, у мужчин тяжелее, чем у женщин, у взрослых тяжелее, чем у детей». Два последних замечания заставляют подумать. Во всяком случае, легкость оборота речи женщин вне сомнения (Revue scientifique, 9 июля 1881).

Чтобы покончить с анатомическим описанием, скажу, что характер настолько же необъясним, насколько важен, и так же важен сам по себе, как и все остальное; это факт. Он неясен, холоден, тверд у убийц; беспокоен, скрытен, непостоянен у воров. Надо особенно указать на это замечание, потому что оно применяется к злодеям без различия национальностей; оно, однако, не составляет такого единого сходства, которое проявляется в виде редких совпадений у индивидов различных рас и доводит их подобие в этом отношении до родственного сходства. Ломброзо указывает на этот факт несколько раз. «Часто повторяющиеся складки на лбу (seni frontali), — говорит он, — развитие бровных сводов поистине удивительно и составляет особенность, которая, если прибавить еще покатый лоб, указывает на интересное сходство итальянских преступников с французскими и немецкими». Он просит читателя взять несколько фотографий из указанных им и старательно посмотреть, как они удивительно между собой похожи, хотя и сняты с различных европейских рас. Таким образом, преступник отличается не только тем, что далек от своего национального типа, но еще более тем, что его неправильности в этом отношении сводятся к правилу, и его атипичность сама по себе типична. Это странно, и я не знаю, до какой степени дарвинистские теории могут дать отчет в этом сходстве, не вызванном, кажется, путем наследственности. Я не буду искать в них большего, чем учения о явлениях атавизма и приписываемой ему причины далеко восходящей наследственности. Но я позволю себе

вспомнить о тех натуральных семьях, созданных нашими литературными умами, которые Sainte Beuve с своей стороны, как наставник, решил изобразить в одном из своих Lundis, дав им стройную и как бы братскую группировку, хотя они были созданы чуждыми один другому по расе и климату писателями. Но разве не говорят, что это искусное разнообразие духовного сада, в котором двойные цветы надорванного и истощенного поэтического воображения есть только отголоски далекого прошлого, наследственное воспоминание человека-дикаря? Я не спорю ни о наследственности, ни о подборе, ни о прогрессе, но я позволю себе предположить, что надо всем этим есть еще много неизвестного и требующего разработки. Это может быть советом для идеалистов будущего, которые, вероятно, вовсе не будут походить на идеалистов прошедшего. С этой точки зрения было бы, например, интересно разрешить научный вопрос: что это — самые обыкновенные в данной расе, ни хорошие, ни дурные образцы этого типа, которые ничем не отличаются друг от друга, или, напротив, это самые избранные экземпляры из хороших и дурных? Красивые женщины, говорят, более сходны между собой, чем некрасивые и посредственные. А разве морально стоящие выше других люди не везде и всегда ближе подходят друг к другу, чем полные злодеи? Если это так, то в сложных путях этой особенной эволюции можно подозревать некоторое стремление, некоторое естественное приспособление к одному и тому же идеалу или, вернее, к одному и тому же высшему равновесию.

2. Свойства преступника и криминальная юстиция

Мы можем быть слишком скорыми в определении патологических и физиологических свойств. Говорить вместе с нашим автором, что преступник — сумасшедший, значит считать его больным. Он особенно подвержен болезням

сердца и различным глазным недугам вроде дальтонизма и косоглазия[1]. Но так как вместе с этим он замечательно долговечен, что, может быть, объясняется его нечувствительностью, то нельзя долго жалеть его за его недуги. Прежде чем рассматривать его как больного и, следовательно, как сумасшедшего, нам надо дважды рассмотреть его. Безумие и долговечность исключают одно другое.

Нас уверяют, что преступники вообще обладают тенором или сопрано, смотря по полу, к которому принадлежат. Я уже говорил, что они в три или четыре раза чаще обыкновенных людей имеют одинаково развитые руки. В силу этой черты и своей часто даже удивительной ловкости они подобны обезьянам. Они похожи на зверей своей относительной нечувствительностью к горю и холоду. Это свойство измерено при помощи специальных инструментов. Их трудно заставить покраснеть. Но здесь мы касаемся психологических свойств, к которым и поспешим перейти.

Прежде чем идти дальше, спросим себя, какую практическую пользу принесет криминальной юстиции знание результатов, которые мы опишем. Возьмем человека, представляющего очень характерный преступный тип, и спросим себя, вправе ли мы поэтому его обвинить в преступлении, совершенном его соседом? Ни один настоящий антрополог не позволит себе такой насмешки. Но Гарофало говорит, что если у личности, совершившей свое первое преступление, доказаны типичные аномалии, то

---

[1] «Частое повторение аномалии зрения тем более важно, — замечает Ломброзо, — что участие мозга в зрении становится с каждым днем все большим, и что по исследованиям Шмутца 50 человек из 100 подвержены этим болезням и страдают тяжелым расстройством нервной системы, эпилепсией и пляской св. Витта». Удивительно, однако, что зрение преступников замечательно остро. В этом они похожи на дикаря, тогда как первым напоминают сумасшедшего. Ко всему этому у них часто бывает нервный тик. Мы не раз будем отмечать, что Ломброзо, старательно изучив зрение и осязание этих несчастных, ничего не говорит об особенностях их слуха. Было бы интересно знать, не обладают ли страдающие дальтонизмом правильным и тонким слухом.

можно даже прежде, чем она совершит второе, с уверенностью сказать, что она неисправима и совершит его впоследствии. Может быть, это значит идти еще дальше. Мне же кажется, что между этим мнением и преувеличенным скептицизмом Рюдингера[1] можно найти середину, и что эти черты для обвинения должны быть приняты во внимание в качестве, пожалуй, примет или, как говорит Бонвекчиато, только в качестве примет. Ферри уверяет, что из многих сотен солдат, исследованных им, ему бросился в глаза только один, у которого физическое свойство клеймило убийцу, и ему сказали, что этот несчастный действительно был осужден за убийство. Из 818 человек неосужденных Ломброзо заметил только в одном или двух полный преступный тип, а в 15 или 16 только близкий к нему. У осужденных пропорция в 10 раз больше. Сколько следователей напрасно тратят свое время, тщательно производя расследование при малых уликах! Как часто, думаю я, надо обращаться в этом случае и к справкам, и к свидетельствам мера, и к партии! «При старом режиме, — говорит Луазелер[2], — толкователи уголовных законов, Жусс и Вуглан, в числе важных причин для подозрения считали дурное лицо обвиняемого». Действительно, даже в наши дни в затруднительных случаях, конечно, немного нужно для того, чтобы судью, колеблющегося между двумя личностями, побудить к преследованию одной из них. Заслуга антропологии в том, что она разрешила причины того впечатления, которое все люди получают при виде известных лиц, и научила распознавать их. По крайней мере здесь, как и в медицине, лучшие описания не заменят частых и сложных соприкосновений с больными. Криминальные клиники, как и школы правоведения, необходимы для молодых людей, посвящающих себя уголовному право-

---

[1] Рюдингер в своем очень серьезном и добросовестном сочинении о физических свойствах преступников признается, что у криминальной антропологии накопилось много фактов, но что ее выводы еще не применимы к исследованиям в области наказания.

[2] «Преступления и наказания», сочинение Луазелера.

судию, слабый багаж которых, как справедливо заметил Ферри, состоит из Дигест или только из знания Code civil. Обязательное в течение шести месяцев частое посещение заключенных будет стоить им десяти лет занятий. Вместе с уважаемым писателем считаю, что впоследствии почти непреодолимая демаркационная линия должна разделить две судейских должности — ту, которая отдается преступлению, от той, которая ведет процесс.

Изложив в главных чертах статью Ломброзо в La Revue philisophique, я думаю развить идею, у него указанную кратко, но бывшую предметом доклада на международном конгрессе криминальной антропологии в Риме в ноябре 1885 года, который имел громаднейший успех, хотя, надо сказать, случайный. В программе вопросов, которые надо было рассмотреть, мой тезис был сформулирован так: «Изучающие право будут приняты на курс уголовного права только под условием — записаться предварительно членами общества покровительства заключенным, в котором их профессор должен быть председателем. В этом звании они должны будут отдельно или все вместе ежедневно посещать заключенных, особенно одиночных, как самых близких по роду к их занятиям, и таким образом будут познавать преступников и в то же время употреблять и распространять одно из самых действительных средств против бича рецидива. Польза будет тройная: для учащихся, для осужденных и для публики». В мое отсутствие Ферри оказал мне услугу, дружески вложив свой ораторский талант в это предложение, им одобренное. После оживленного спора, о котором он дал отчет в своем последнем докладе (опубликованном в Revue scientifique 9 января 1886 года), идея эта была принята, несмотря, по-видимому, на трудности ее применения.

Однако заметим, что если провести параллель между теми поистине обильными, частью практическими, частью даже теоретическими вкладами, которыми современный криминалист обязан антропологии, и между всевозможными наставлениями, которыми его снабжа-

ет философски истолкованная статистика, то надо будет сознаться, что из этих двух источников, которыми новая школа, по справедливому замечанию Ферри, так широко воспользовалась, чтобы внести жизнь в уголовное право, второй — самый богатый и самый ясный. Об этом нетрудно догадаться, если сравнить Nuovi Orizzonti статистика, на которого мы вместе с L'Uomo delinquente[1] только что сослались.

3. Физиологические свойства преступника

Переходим к физиологическим свойствам.

Слабая способность к физическим страданиям, указывающая преступника, может быть, объясняет его еще более слабую способность сочувствовать и любить и дает единственное основание его смелости, когда он случайно становится таким. Не вытекает ли она отчасти из того, что он принадлежит обыкновенно к необразованному классу, где заметна дознанная врачами нечувствительность, хотя, правда, в меньшей степени? Это возможно. Нет сомнения, что умственная культура, дошедшая до известной степени, расширяет и прорывает поле восприимчивости к горю и симпатии, а следовательно, и поле сильных ощущений. Эта культура, конечно, нравоучительна, потому что на моральной идее — сознаемся, о философы, что это самый основательный и убедительный аргумент! — основаны сострадание, милость и любовь. Если же она, по выводам уголовной статистики, напротив сопровождается в наши дни деморализацией чувств, то причина этому ле-

[1] Это не значит, что Ферри не занимается также деятельно антропологией. Его книга *L'Omicidio*, с нетерпением ожидаемая, дополнит в этом отношении кнжу Ломброзо. А пока смотрите его *Nuovi orizzonti del diritto et della procedura penalc*, второе издание (*Bologna, Nicolo Zanichelli*, 1884). Мы с удовольствием узнали, что скоро появится французский перевод этого произведения под заглавием «Уголовная социология» (издатель Феликс Алкан).

жит в том, что чье-нибудь косвенное и минутное влияние заставляет ее порой уничтожать свое первое действие, разрушая, например, известные убеждения или уважение гораздо скорее, чем она может заменить их другими.

В этом есть странность: преступник мало чувствует холод, но сильно чувствует электричество и знает употребление металлов и метеорологические изменения. Он мало огорчается внезапной болезнью, но быстро пугается при опасности, при виде кинжала, например, или слухе о близком допросе. Трудно было найти его чувствительную струну. Ломброзо искал ее, можно сказать, с любовью к науке, к антропологии. Он не терял удобного случая измерить и вычислить. Действительно, измерить все измеримое и сделать возможным для измерения все, что прямо неизмеримо, не это ли цель науки, как цель литературы — изобразить все, что способно быть изображенным, и внушить то, чего нельзя изобразить? Доводить в человеке до крайности первое стремление есть факт антропологический и в то же время психологический, тогда как наши литераторы и художники-реалисты чрезмерно развивают в себе второе. Стеснять действительность сразу со всех концов — такова общая цель. Нельзя извинить Ломброзо за то, что эти вольности могут быть странными. Снисходительных плутов он исследовал и записывал на специальных для этого пластинках с помощью пульсографа, льстивых комплиментов, луидоров, фотографий с изображением голых женщин и стакана вина. Эти кривые очень интересны. Они показывают злодея крайне хвастливого, но менее алчного и менее любезного даже, чем пьяницу. Можно сослаться, впрочем, не на один только пульсограф. Статистика показывает, что прогресс алкоголизма параллелен прогрессу преступности. Правильное исследование преступников доказало, что их мечта не только женщины, но и оргии, что они любят оргии, браки так же, как принцы любят большую охоту, а дамы — большой бал. Но из самого главного, из их разговоров и действий, за их нечувствительностью и глубокой непре-

дусмотрительностью видно безмерное тщеславие, откуда вытекает странная любовь к одежде и драгоценностям и возмутительная расточительность после преступления[1]. Наш автор доходит до утверждения «что тщеславие преступников выше тщеславия артистов, литераторов и женщин, имеющих любовные связи». Прибавим к этому месть и зверство, циническую веселость, страсть к игре и, наконец, лень, доходящую чаще всего до нечистоплотности. Это не все, я охотно еще прибавлю страсть лгать только для лжи.

«Преступник морально гораздо больше походит на дикаря, чем на сумасшедшего». Дикарь также мстителен, жесток, игрок, пьяница и лентяй. Но сумасшедший, Ломброзо старается здесь это напомнить, сильно отличается от злодея психологически, анатомически и физиологически. Сумасшедший не любит ни игр, ни оргий; он держит в страхе свою семью, а злодей часто свою любит. Сумасшедший настолько ищет уединения, насколько злодей — общества себе подобных, «и заговоры настолько же редки в сумасшедших домах, как часты в острогах и тюрьмах».

Ум преступников был исследован. Они непонятливы, но хитры, говорит Maudsley в своей книге «Преступление и безумие».

Каждый из них в своих поступках всегда одинаков. Эти специалисты по преступлению повторяются; они неспособны изобретать, но стоят на высоте в подражании. Другое отличие от сумасшедшего состоит в том, что последнему свойственно брать пример с окружающих и быть в стороне от себе подобных, пока вызванные странным сочетанием идей открытия, даже полезные и истинные, бороздят минутными вспышками его мысленную ночь. Мы не должны также удивляться, что среди ученых существует статистически выведенный для преступности

---

[1] Скупой более мота склонен к преступлению, и хотя он вообще менее симпатичен, но для уголовной юстиции и политической экономии очень важен.

minimum. Безумие на самом деле больше преступления является роковым камнем преткновения для образованных людей, ученых и художников.

Только что указанная мной моральная разница между самым неисправимым преступником и сумасшедшим, на мой взгляд, очень характерна. Хотя среди так называемых преступников и есть настоящие сумасшедшие, как, например, guiteau, но эта указанная разница препятствует им смешаться друг с другом[1]. Этот вопрос надо рассмотреть старательнее. Безумный, изолированный, чужой всем и самому себе, по природе столь же необщителен, как и непоследователен, причем одно вытекает из другого. Он, так сказать, не выше общества подобно гению, он только вне общества. Преступник сам по себе антисоциален и, следовательно, до известной степени принадлежит обществу. Как мы скоро увидим, у него те же товарищи, обычаи, та же речь, только он менее общественен, чем надо. При положении современного общества этого вполне достаточно, чтобы быть антисоциальным. Два шага неравной быстроты могут повести к столкновению даже при движении в одном направлении. Вот почему несчастные, у которых атавистическое строение в известной мере напоминает, положим, строение первобытных дикарей, представляют большую опасность для нашей цивилизации, хотя некоторые из них могли бы быть в нравственном отношении украшением и цветом племени краснокожих. Тогда, может быть, они не были бы преступниками. Без сомнения, многие из них сохранили бы привычки и предрассудки свой среды, более подходящие к их темпераменту. Но ведь это всегда считается честным. Потому что — и это указывает нам на другую важную, незамеченную нами разницу между безумием и преступлением — преступление

---

[1] *Maudsley*, кажется, установил точку соприкосновения между преступлением и безумием. «Преступление, — говорит он, — есть точка отправления, откуда вытекают нездоровые тенденции; сойдут с ума, если не стали преступниками, и сделаются преступниками, если не сошли с ума».

есть вещь более условная и относительная, чем безумие. Преступный тип Ломброзо взят из нашей эпохи или из нашей эры. Но является ли он пережитком того времени, когда дикари покрывали весь земной шар, или нет, ясно одно, что в первобытный исторический период преступный тип был совсем иной. Может быть, это был тип артистов и деликатных людей, чувствительных и восприимчивых женщин. Тип людей, неспособных ограбить соседнее племя и рожденных на несколько веков раньше.

Из десяти преступлений, которые еврейские законы, как говорит Тониссен, наказывали побиванием камнями (идолопоклонство, возбуждение к нему, служба Молоху, волшебство, вызывание духов, упорное неповиновение родителям, осквернение субботы, богохульство, изнасилование чужой невесты, дурное поведение молодой девушки, доказанное отсутствием признаков девства в момент замужества), девять перестали в нашем европейском обществе даже считаться за преступления, а десятое, изнасилование чужой невесты, осталось преступлением, но совсем в ином отношении. Теперь наказуемо самое насилие над женщиной как таковой, а не оскорбление человека, у которого над невестой совершено насилие. Следующие преступления наказывались сжиганием, убийством или повешением: ложное предсказание, хотя верное, но данное от имени чужих богов, прелюбодеяние с замужней женщиной, проклятие родственниками, кража у израильтянина, добровольное убийство, зверство, содомский грех и кровосмешение. Во многих из этих преступлений даже нет нарушения закона, а в других относительная тяжесть преступления сильно изменилась. В Египте самым большим преступлением было убить кошку. Разве можно сказать, что евреи, как и все древние народы, делали бессмысленную ошибку, называя преступлением деяния, теперь безвредные? Нет, потому что эти преступления не были безвредными, они могли подорвать основы их социальной организации. Какова социальная организация, такова и преступность: в Египте большой штраф на-

лагался на того, кто занимался общественными делами, в нашем же демократическом обществе, напротив, законно наказывают избирателей, которые воздерживаются от голосования. Какова цель, таково и средство: карательные меры — только орудие. Эти народы нисколько не обманывались, считая добродетелью те чувства, которые мы иногда осуждаем. Система добродетелей, также как и системы преступления и порока, меняется вместе с ходом истории. В глазах арабов тремя главными добродетелями являются мужество, гостеприимство и кровавая месть, а не честность, любовь к труду и благотворительность.

Запомним в особенности тот факт, что относительное значение различных преступлений год от года сильно изменяется. В средние века самым большим преступлением было святотатство, затем шло зверство и мужеложство, а потом уже убийство и кража. В Египте, в Греции считалось преступлением оставить родителей без погребения. В нашем рабочем обществе лень становится самым большим преступлением, тогда как раньше труд считался позорным. Может быть, наступит момент, когда важным преступлением на переполненном земном шаре будет многочисленное семейство, а мы знаем, что прежде стыдно было не иметь детей. Никто из нас не может обольщать себя тем, что он не будет прирожденным преступником, конечно, относительно, в данном, в прошедшем, будущем или в возможном социальном обществе. Вы имеете склонность к литературному труду или поэзии: остерегайтесь. Писать стихи становится явлением атавизма, кражей времени у труда для общества, противным теории Мальтуса, преступным призывом к любви, к семье. Разве основатель сословия нищих и бродяг мог думать, что нищенство и бродяжничество станут преступлением?

Можно ли упрекнуть меня за существование инстинктов и врожденных склонностей, связанных с соответствующей физической организацией, которые во всех возможных социальных обществах были бы сочтены вредными, антисоциальными и преступными? Я отрицаю это, и

если, несмотря на совершенную противоположность моего утверждения, откажутся поверить вместе со мной особенным свойствам природных склонностей, допускаю только то, что указанные известные действия, например, факты убийства или кражи у лиц своей социальной группы, во все времена рассматривались, как преступления. Это прекрасно отметил еще Тайлор. Впрочем, имеет свою социальную пользу даже склонность к трусливой жестокости или коварной алчности, находящая себе применение и вне этих пределов, а иногда в виде исключения, когда допускает обычай[1], и внутри их. Я не видал ни одного

[1] Детоубийство и выкидыши, как известно, не были преступлением в Спарте; мужеложство и морской грабеж — в Афинах, кровосмешение — в Египте, в Персии и у инков. Убийство никогда не было преступлением, если совершалось в честь богов, а убийство стариков, часто по просьбе их самих, было делом сыновнего почтения. Агамемнон не был ни врожденным, ни даже случайным преступником, принеся в жертву свою дочь. Назовем ли мы преступниками алжирских арабов, которые по принятому обычаю при вступлении в брак с очень юной девушкой совершали настоящее супружеское насилие, влекущее иногда за собой смерть жертвы, и уподобим ли эти факты насилию над тринадцатилетними детьми, совершаемому в публичных домах Лондона? (См. «Преступность у арабов» доктора *Kocher.)* Я читал у *Lyall*'я «Религиозные и социальные нравы на Дальнем Востоке»: «Принесение в жертву людей чаще всего употреблялось в Индии как последнее средство умилостивить божий гнев... предполагают, что таков еще истинный мотив *таинственных убийств*, повторяющихся время от времени». Эти религиозные убийцы, конечно, заслуживают отдельного места в собрании преступлений, если их только можно туда поместить. Я читал еще в том же произведении: в Афганистане о крестьянах, живущих у нашей границы (английской), недавно узнали только потому, что они задушили живущего среди них святого, *чтобы упрочить за собой обладание его могилой на своей земле* (сила, исходящая от могил святых, делает эту могилу для них драгоценной). Можно ли уподобить это действие европейскому убийству? «Я забыл, что в Неаполе, — как говорит Гарофало, — иногда мучают монахов, считающихся одаренными пророческим даром, чтобы принудить их открыть номер выигрыша в будущий розыгрыш лотереи, и что плотские насилия там часто бывают с целью достигнуть от такой связи исцеления от болезней». *Sumner-Maine* говорит: «Две кельтические общины, основанные на британских островах

антропологического типа, который бы всегда заслуживал эпитета преступника.

Следовательно, всегда можно сказать, что, каков бы ни был преступник, при иных условиях он, может быть, был бы честным человеком и даже героем. Все категории истинного сумасшествия, какие мы только знаем, и прежде считались таким же настоящим безумием, как теперь, хотя масса мозговых и телесных болезней тогда оставалась мало известной. Прежние исступленные со своими коленопреклоненными молитвами и сжигаемые живыми чародеи были только истериками. Ошибки с ними не мешают нам утверждать, что чувства сумасшедших, признанных или непризнанных таковыми, раз в их биографиях нам удавалось найти явные признаки их органического расстройства, всегда находились в разладе с окружающей природой, и что это несогласие не изменилось. Нам хорошо известно, что человека, когда-то убившего или укравшего, мы не всегда вправе считать преступником, потому что преступность свидетельствует не о неизменной природе, а о мнении и законодательстве, которые меняются вместе с социальным устройством.

Наконец, если стать на точку зрения Ломброзо, то между безумием и преступлением будет такая же разница, как между красноречием и поэзией. Преступником родятся, говорят нам, а безумным делаются потом, и это верно. Действительно, безумие так часто зависит от социальных причин, что его рост в наш век правильно увеличивается вместе с прогрессом просвещения, с городской жизнью и особенно цивилизацией, которой мы пользуемся. То же, впрочем, относится и к преступлению, я говорю о преступлении по привычке, о рецидиве — правильность прогрессирования которого не менее ужасна. Если обратиться с этим к статистике и в преступнике от природы ви-

(Шотландии и Ирландии), открыто пристрастились к краже скота». Эта привычка не считается у них позорной; она не выше морского грабежа финикийцев или соблазна женщин у новейших европейцев.

деть рецидивиста (это, впрочем, идея не нашего автора), ассимиляция преступления с безумием в этом отношении станет возможной, пожалуй, даже вероятной. Но тогда не надо говорить, что гипотеза о прирожденном преступнике почти так же постоянна, как цифры злодейств, ему приписанные, и, опираясь на эту гипотезу, радоваться тому открытию, что при все возрастающем числе рецидивов число убийств ежегодно остается почти одинаковым. Поэтому воры, цифры которых постоянно растут, исключаются из категории преступников от рождения. В том же месте, желая видеть статистическое подтверждение существования этих последних, ученый криминалист делает большую ошибку, случайно принимая за «постоянное и периодическое возвращение данного числа преступлений». Однако что-нибудь одно. Если это числовое постоянство есть или действительно было, то было бы очень важно статистическое подтверждение реальности преступного типа, такого, каким его понимает Ломброзо; в то же время это было бы статистическим опровержением отождествления безумного с врожденным преступником. Если, наоборот, привычная закоренелая преступность выводится из непостоянных цифр, рецидивист может отождествляться с безумным, но это доказывает то, что рецидивист совсем или не всегда бывает врожденным преступником.

Lacassagne, держась идей Ломброзо, признает, что безумные преступники составляют слабое исключение даже среди рецидивистов. Но он также отождествляет преступное безумие с преступным типом. Однако это смешивание мне кажется неосновательным. Преступный тип — природный; преступное безумие, как и все другое, может явиться у человека, имеющего в общем самый честный и нормальный облик, и никогда не было доказано, что оно является всегда у личностей, как бы предназначенных для преступления. Напротив, у врожденных преступников и безумных часто замечается слишком очевидная разница в сложении. Ломброзо, ясно сознавая эти трудности, называет врожденных преступников quasi — безумными

(mattoidi)[1]. Но полубезумие, так можно назвать нелепость, свойственную mattoidi, есть полупреступление или полубезобразие: мир им полон, большинство им совершено. Полное безумие есть исключение, как полный разум, который идет рука об руку с безумием и должен, без сомнения, увеличиваться вместе с цивилизацией, чтобы вознаградить соответственно возрастающее число сумасшествий. Это положение, по правде сказать, ничего не имеет такого, что отличало бы от других врожденного преступника с точки зрения ответственности общества за его поступки, и что нас особенно интересует. Для детерминиста ответственность не предполагает свободы, потому что никто не свободен — ни умный, ни безумный; она предполагает причинность, идентичность личности и вреда, причиняемого другому. Главное, нужно, чтобы обвиняемый желал своего действия, желал сам по себе, а не в силу гипнотического внушения, иначе оно не будет психологичным, социальным, не будет причиной. Это условие вполне исключает акт безумия. Во-вторых, что касается вреда, то из двух добровольных участников большая ответственность падает на того, на ком менее отзывается его проступок, кто более упорно не сознается, потому ли, что прошло немного времени (давность для преследований), или потому, что его внутренняя эволюция совершается более медленно и менее неровно, менее извилисто и более спокойно.

Систематическое единство идей, иерархическое единство желаний, тесная связь этих двух единств и их постоянство — самая высокая степень личного сходства, какой только можно достигнуть; наоборот, разбросанность, несвязность, противоречие во взглядах и склонностях, утверждениях и страстях постоянно влекут за собой отчуждение. Разумный человек бесконечно ответственнее сумасшедшего. Но среди полусумасшедших и полуразумных,

---

[1] Кажется, я дурно понял смысл, данный автором *mattoidi*. Я допускаю, однако, это, чтобы не лишить смысла заманчивый ответ Ломброзо в *Bevue philosophique* в августе 1885 года на мои замечания о нем.

заполняющих промежуток между вполне сумасшедшими и вполне умными, кто из преступников более ответствен, случайный или преступник по своему характеру? Конечно, последний. Во всякий момент он неизменно чувствует себя способным возобновить то, в чем его упрекают. Первый же, совершая преступление, совершает его по личной инициативе или только считает, что делает так. (Прибавим, что этот всегда опаснее и вреднее.) В момент совершения преступления случайный преступник, у которого нет анатомических и физиономических признаков преступника, гораздо ближе к умопомешательству, чем типичный преступник, когда он исполнил задуманное. Нет, кажется, никакого смысла говорить о безумии или почти безумии в первом случае более, чем во втором. Следовательно, если поступать согласно вполне правильной идее новой школы и вместо тюрем и различных карательных мер не только для различных категорий злодейств, но и для различных категорий преступников предпочесть выражение manicomio criminale (убежище для безумных преступников), предоставив его взамен ареста самым закоснелым преступникам, то оно окажется совершенно негодным. Здесь дело не только в словах...

Думали такую бешеную привычку к преступлению отнести под именем «морального безумия» в разряд умопомешательства. Этот вопрос мы также рассмотрим подобно предыдущим. Вместе с Гарофало[1], прежде чем допустить это новое подразделение безумия, к которому относят всевозможные мозговые расстройства, причисляя к нему, впрочем, и другие виды известного безумия, имеющие с ним общим лишь характер полного или частичного отсутствия моральной мысли, я жду, что все согласятся относительно этого пункта. Maudsley, правда, относится к нему утвердительно, и его авторитет мно-

---

[1] Смотри об этом в его «Криминологии». Также и *Bonvecchiato*, который специально занимался этим, особенно в вышеупомянутом сочинении, и после большого спора высказался почти в том же духе.

го значит, но между морально безумным, мнимо принятым таким, каким стараются нам его определить, и врожденным преступником есть разница, которую правильно указывает Гарофало. Эта действительно важная разница состоит в том, что у безумного цель — само исполнение преступного акта; у преступника — это только средство получить другую выгоду, ценную даже и для самого честного человека в свете. Или, еще вернее, для самого безумца преступление есть благо, если угодно, средство для удовольствия, потому что, как замечает Maudsley («Патология ума»), совершение убийства доставляет истинное утешение тому, кто его совершил в силу непреодолимого болезненного побуждения; но это удовольствие ненормально, и нет лучше факта, который отличает в преступлении безумного от преступника. Преступник, правда, также имеет болезненные аномалии, но они в большей или меньшей степени лишены известных симпатичных скорбей, известных отвращений, которые настолько сильны у честных людей, чтобы удержать их от совершения известных актов. Присутствие в человеке болезненной склонности, которая толкает на дело даже без побуждения извне, — это одно, а отвращение, мешающее уступить внешнему соблазну, — это другое.

Мне нетрудно допустить, что при отсутствии моральной мысли недаром бывает налицо особое мозговое строение, как при дальтонизме или афазии[1]. Но из того, что афазия или дальтонизм есть болезнь, а не вид безумия, я думаю, нельзя вывести заключения, что отсутствие моральной мысли делает человека безумным, хотя он и будет больным. Мне будут говорить, что это объяснение не важно. Разве можно упрекать лишенного мораль-

---

[1] В своей прекрасной лекции об открытиях экспериментальной психологи в Сорбонне Рибо охотно занялся новой школой итальянских криминалистов и подтвердил действительность преступного типа. «Могут быть, — говорит он, — в организации мысли недостатки, подобные потере какого-нибудь члена или функции: тогда это будут существа, которых природа или обстоятельства сделали нечеловеческими».

ной мысли человека за то, что он не чувствует безнравственности своего поступка, точно так же, как взыскивать со страдающего дальтонизмом за то, что он не рассмотрел на железной дороге красного диска и не дал сигнала об опасности, почему произошло крушение? Я отвечу, что с точки зрения уголовной, то есть социальной, это сравнение недопустимо. Видеть красное есть чувство чисто натуральное, очень полезное или необходимое при исполнении определенных социальных функций, и недостаток его не делает человека негодным к жизни в обществе. Ошибка в том, что ему вверили функции, о которых идет речь. Но между всеми нашими чувствами только моральное имеет происхождение исключительно социальное, и только оно одно необходимо всегда, во всех социальных положениях. Человек, даже если известно, что он страдает дальтонизмом, может иметь свое социальное место, может находиться в своей социальной группе, но безнравственный от рождения, то есть человек антисоциальный, должен быть поставлен вне социального закона. Это темное пятно на человеческом лице. Подобно тигру, убежавшему из зверинца и гуляющему по нашему городу, его надо исключать и отлучать от общества. Остроги и тюрьмы — правильное и в этом случае единственное проявление этого более или менее полного отлучения.

Без сомнения, можно сказать, что этот вид отлучения от общества начинает выходить из употребления, что его сделают вечным, а не временным, и что человека, который составляет предмет отлучения, будут отлучать без презрения, без гнева, со спокойной важностью олимпийского исполнителя. Но так как нет ни надежды, ни, может быть, даже желания, чтобы большая часть людей доходила до высоты этого идеального бесчувствия, то не следует жалеть о том, что умирает эта идея применения судебного осуждения к врожденному ли преступнику или к человеку, вовлеченному в преступление минутной безнравственностью, способной проявиться вдруг. Освободив всех без исключения преступников от социального унижения, ко-

торое сопровождает изгнание их из общества, надо сохранить изгнание как для врожденных, так и для случайных преступников, потому что безнравственность этих последних слишком мало сама по себе связана с вызывающими ее мозговыми условиями для того, чтобы быть минутной.

Ломброзо я скажу сверх того: есть два тезиса, внесенных в третье издание вашей книги. Первый, старый — уподобление преступника первобытному дикарю, объяснение преступления атавизмом; вы в нем опровергаете гипотезу преступления-безумия. Но с тех пор, отступая, как говорите вы, от сильных доводов, вы принимаете это последнее толкование, не оставляя, впрочем, и предыдущего. Они чередуются в вашем произведении. Говорят даже, что в ваших глазах взаимно друг друга подкрепляют. Разве, однако, они не противоречат друг другу? Безумие — плод цивилизации, сопровождающий до известной степени прогресс; оно почти неизвестно в неразвитых классах и еще более у народов низших рас. Если же преступник дикарь, то он не может быть безумным, а если он безумен, не может быть дикарем. Надо выбрать один из этих двух тезисов или пойти на компромисс, говоря о почти-безумии (а почему не о лжеатавизме?), надо помнить, что одно ослабляет и искажает другое[1].

Но разве первый из них не лучший? Он очень понятен и основан на самых чистых принципах дарвинизма. По крайней мере, он дает остроумный ответ и ставит проблемы. Он вместе с тем оптимистичен, привлекателен для цивилизации, для которой преступление — только все уменьшающийся остаток древней дикости. Если он и не согласен со статистикой преступлений нашего времени, то можно сказать, что наше теперешнее моральное попятное движение кратковременно: оно лишь след после движения. Затем

---

[1] Я не настаиваю на мелких противоречиях. В новом примечании Ломброзо говорит, что он отделяет врожденного преступника от безумного и алкоголика. Еще более он радуется, что открыл полное единство между идеей врожденного преступника и моральным безумием.

он наполнен, к счастью, интересными и вполне новыми результатами изучения criminalité infantile, чем заняться у нас нет времени. Эта идея, взятая у эволюционистов[1], настолько же правдоподобная, как то, что дитя отчасти представляет дикаря своим языком, своей непредусмотрительностью, своими склонностями и даже своими чертами, надо прибавить — еще и своим преступным инстинктом, если уж на самом деле истинный преступник — дикарь. Отсюда формула: преступность — только продолжающееся детство или, скорее, пережиток дикости.

Надо ли принять его последнюю точку зрения, и в какой мере она заслуживает этого? Может быть, чтобы избежать такой дилеммы, было бы лучше держаться моего благоразумного тезиса, что преступление есть самое простое ремесло, несомненное наследство очень далекого прошлого, но наследство порой весьма культивированное и увеличенное принявшей его цивилизацией? Чтобы ответить на этот новый вопрос, надо изучить привычного преступника с социологической точки зрения, то есть как члена особого общества, у которого свои нравы, мы хотим сказать, — свои привычки и свой язык.

4. Корпорации преступников

Если мы хотим понять эмбриональное состояние, нам надо сначала изучить взрослое. Если мы хотим иметь правильное представление о небольших товариществах злодеев, то начнем с изучения больших. Древняя camorra, которая свирепствует еще в Неаполе, и в отношении которой сицилийская Мафия есть отделившаяся ветвь, — прекрасный образец этих последних; она помогает нам изучить андалузское mano nera, русский нигилизм и многое другое.

---

[1] Заслуга этой школы в том, что она, возможно, глубоко отыскала источники преступления и особенно источники наследственности. О преступности животных, чем с любовью занимался *Lacassagne*, Ферри написал интересную, мной разобранную брошюру.

«Каморра, — говорит Laveleye в своих "Письмах об Италии", — есть самое простое искусство дойти до тонкости в запугивании или, лучше сказать, в организации запугивания и эксплуатации людской трусости». Она пользуется человеческой склонностью, как другие промышленники развратом, тщеславием и пьянством. «Вы найдете каморристов повсюду, от переулков Santa Lucia до самых высоких административных и политических центров. В Неаполе вы входите в карету, каморрист берет су с кучера. На каждой улице лавочники платят каморристам, боясь их»[1]. Как становятся каморристами? Так же, как делаются членом кружка масонской ложи, театральной труппы, какого-нибудь гражданского или торгового общества. При избрании, после правильного испытания он выдерживает более или менее долгий искус, во время которого новый товарищ бывает покорным слугой и очень мало получает. После этого он становится членом общества. Красивое убийство делает ему честь среди большого собрания быть посвященным в каморристы и в этом звании под двумя скрещенными шпагами произнести клятву, которую я назову профессиональной: «Я клянусь быть верным товарищем и врагом правительству, не входить в сношение с полицией, не указывать воров, напротив, любить их всей душой, потому что они подвергают опасности свою жизнь». Все внутренние трудности каморристы непременно решают, как и в нашем коммерческом обществе, собранием и подачей голосов. Правда, у них есть не только обряды и форма, но специальный свод законов, но ему плохо пови-

---

[1] На высших политических сферах каморра упражняется в своем влиянии; если вы ей противитесь, она вас погубит. Один сановник, старшина одного южного города, совершенно проигравшись, находил возможность хорошо жить, ничего не получая. Каждый день он роскошно обедал в лучшем ресторане города, и ему никогда не смели подать счет... Тем не менее, в кабинете он чванился, выгнув грудь, подняв голову, имел вид покровителя. Его боялись, льстили ему, приветствовали его. В городе он был силой. В каждой стране есть люди такого сорта, но они не должны занимать первых мест («Письма об Италии»).

нуются. Тот, кто отказывается исполнить убийство, назначенное начальником, приговаривается к смерти после вотума. Есть должностные лица. Каждое воскресенье секретарь вместе со счетоводом и казначеем раздает полученные деньги, как известно, публично, главным образом в игорных домах, в домах терпимости и в тюрьмах. «Каморрист, — говорит Ломброзо, — был (а, может быть, и сейчас есть) естественным судьей среди народа, он поддерживал порядок в коечных квартирах и тюрьмах без лицеприятия. Его охотно слушались, как будто он платил деньги».

Нет ли тут связи с тем, что было распространено во время путешествия Диодора сицилийского, нашедшего неверных? Этот автор рассказывает нам, что в Египте был начальник воров, что ремесло воров там практиковалось публично, почти официально, и что воры должны были вносить в казну шайки денежную подать. Thonissen («Уголовное право древних народов», т. I) думает, что это шайка кочующих арабов и грабителей, которым платили нечто вроде платы по подписке, как это еще практикуется с бедуинами в Сирии, — единственное средство против их грабежа. Разве это не та же самая египетская каморра? Это явление наблюдается во всякое время, а в новейшую эпоху лишь в более сильной степени. Каморра преимущественно якобинское общество, — это можно найти у Тэна, если прочесть его внимательно, — спрут с тысячью рук, сдавливающий, задушающий и эксплуатирующий революцию. Факт тот, что это катехизис, не узкий и ложный, а катехизис правящего вертепа — чудное сравнение[1].

Вот то, что я вправе назвать великим преступным искусством. Оно редко, потому что наши социальные условия обыкновенно не благоприятствуют такого рода собраниям, а когда имеют право на это, то причисляют к катего-

---

[1] Найдут интересные подробности о *Мафия* и ее политическом происхождении или развитии под властью непопулярных Бурбонов в интересной и поучительной брошюре Наполеона Колайянни «*La Delinquenza della Sicilia*».

рии подозрительных обществ с целью шантажа, клеветы и особенно ложных свидетельств, существование которых нам показали известные процессы. Но зато бесчисленны небольшие общества преступников, так сказать, составленные из мастера и одного или двух учеников, из старого рецидивиста и нескольких молодых воров. Ломброзо вполне правильно замечает об этом, что быстрое размножение многочисленных маленьких групп злодеев, впрочем, очень мало опасных, в городе или среди народа — тяжелый симптом, гораздо тяжелее по своему образованию многих больших легендарных шаек, устрашающих толпу. Эти последние ассоциации своим существованием обязаны злодейскому обаянию одного человека и могут вместе с ним исчезнуть; но те, которые одновременно являются повсюду, «указывают на печальную тенденцию, на социальную болезнь страны, где они возникли». Таким образом, чтобы судить, до какой степени народ от природы склонен к промышленности и трудолюбив, и к какому труду он способен, надо принять во внимание скорее самопроизвольное разделение маленького предприятия, как, например, возделывания земли, чем образчики большого. Это последнее скорее станет ясным при шуме ткацких станков, чем при посещении образцовой фермы или большой фабрики, созданной, может быть, иностранцем.

Словом, эти общества преступников походят на промышленную корпорацию и не составляют самого маленького в свете племени дикарей. Это не то, по своему существу семейное и религиозное, общество, в которое входят по праву наследования, а не по выбору, где на первом месте стоят кумиры или фетиши, святые или «табу». Такие общества гораздо чаще бывают пастушескими и безобидными, чем разбойничьими и воинственными, так как чувствуется большая необходимость в дичи, а не в охотниках. Они иногда, я сношусь на Спенсера и Валласа, дают нам удивительные образцы народной добродетели, честности и правдивости, заставляющие нас краснеть; они даже если и живут разбоем, убийством и кражей, производимыми

над врагами, подобны, если угодно, постоянной армии, а не вертепу убийц. Напрасно Ломброзо старается нам показать, что все ассоциации злодеев имеют предводителя, «облеченного диктаторской властью, который, как у племени дикарей (прибавим, как и у самых цивилизованных и демократических наций), зависит больше от своих личных талантов, чем от буйного подчинения большинства». Я не нахожу здесь такого поразительного сходства. Мне кажется даже, что привычка к татуировке, свойственная многим злодеям и нецивилизованным, и некоторое смутное сходство языка острогов с языками океанийцев, американцев или негров недостаточны для доказательства их близости. Мы это увидим.

Любопытно, что в низших классах цивилизованных народов, у матросов и даже у солдат, но особенно в среде преступников — заметим, что никогда у сумасшедших — иногда делаются фигурные надрезы на коже. Не остатки ли это татуировки, сохраненные атавизмом, как считает Ломброзо (скажем, на всякий случай, по преданию, потому что наследственности здесь не заметно), той татуировки, которая, как считают, была распространена у наших невежественных предков? Мне кажется более вероятным то предположение, что этот обычай остался не от предков, а от моды, принятой моряками и воинами по примеру настоящих дикарей, с которыми они входили в сношение. Он также процветает у матросов и солдат в наших французских полках, находящихся в Африке, среди кабилов или арабов. Эти народы, несмотря на запрещение Корана, не перестали татуироваться (см. «Преступность у арабов» доктора Кошера)[1]. Этот обычай должен был распространяться у осужденных быстрее, чем в других местах, благодаря нечувствительности их кожи, так хорошо доказанной нашим ученым автором, и сильной скуки заключения. Действительно, он более распространен среди рецидивистов. В девяти случаях из десяти (из 506 татуированных 489) рисунки, символы и буквы, о которых идет дело, начертаны на предплечье, самом удобном месте и для опе-

ратора, и для оперируемого; они никогда не встречаются на лице. Очень часто это приблизительный портрет любимой женщины или ее инициалы. Они напоминают переплетенные цифры, которые влюбленные вырезают на деревьях. Не имея древесной коры, узники употребляют свою кожу. В другой раз татуированный носит знак своей профессии: якорь, скрипку, наковальню или изречение, в котором старается увековечить свою злобу, а иногда бывает изображен фаллос... Все это чистая забава или праздная страсть; все это неважно и бесполезно. Злодей, забавляясь таким образом и рисуя фантастичные фигуры на тех частях тела, которые обыкновенно скрывает, не старается произвести какое-нибудь действие. Но когда молодой житель Океании все свое тело и прежде всего лицо, что он выставляет всем на вид, подвергает ужасной операции, которую на него налагают обряды его племени, то он знает важную причину, побуждающую к этому, и то важное значение, которое она преследует. Его религия, его обычаи — все, что для него священно, повелевает ему быть смелым, чтобы поразить ужасом врага, чтобы заставить гордиться своих жен, чтобы неизгладимо быть запечатленным в образе его племени[1]. Он не воспроизводит на самом себе ничего внешнего; он рисует приятные или характерные арабески, которые своими линиями удивительно согласуются с формами его тела. Ложная татуировка злодеев, напротив, состоит из столь странных изображений на его коже, что их можно счесть за надписи ребенка на стене здания. Она подражательна, а не выразительна. Что она может иметь общего, кроме названия, с благородной татуировкой полинезийцев, например, которая представляет собой истинное произведение искусства, воплощенное художником, как роль — хорошим артистом?

Перейдем к языку. Еще замечательное профессиональное свойство. Всякая старая профессия имеет свой

[1] Татуировка, как правильно замечает Ломброзо, есть первое письмо дикаря, первая книга гражданского государства.

особенный язык; есть язык солдат, моряков, каменщиков, медников, трубочистов, живописцев, даже адвокатов[1]. Точно так же есть язык убийц и воров. Сумасшедшие, между прочим, его не имеют: заметим, кстати, это новое важное отличие. Разве это особый язык? Нет. Вся грамматика этих языков из обыкновенного языка, то есть того, на котором она составлена, ничего не изменяет, говорит сам Ломброзо; изменена только небольшая часть словаря. Эти изменения, я это знаю, неопределенно напоминают разговор дикарей или детей. Сначала вещи обозначаются эпитетами: газовый рожок — l'incommode, адвокат — blanchisseur, фуражка — couvrante. Потом изобилует звукоподражание: tap — ход, tic — часы, fric-frac — выход из тюрьмы. Затем много повторений: toe-toe — помешанный; ty-ty — типография; bibi — Бисетр; coco, bebe — друг. Благодаря этому лингвистический тип, конечно, на одну или две ступени становится ниже, подобно тому, как гриб, растущий у дуба, принадлежит к более низкому ботаническому семейству, чем это величественное дерево[2]. Но, в сущности, главный характер этого языка — цинизм. Он не груб и не конкретен подобно первобытным языкам, а тяжел; это язык зверя; он оскотинивает того, кого касается, но вполне соответствует, впрочем, физическому типу говорящего на нем. Кожа на нем называется шкурой, рука — крылышком, рот — клювом, умереть — издохнуть. Этот язык прежде всего зловеще весел. Он состоит из собрания крепких и вращающихся около монеты мерзостей, грязных метафор, дурной игры слов и проч. Иметь шута в ящике — значит быть беременной[3]. Но язык дикарей со-

---

[1] Говорят, что клиент учит своего поверенного, когда платит ему. Этот взгляд существует несколько веков. Я читал у Ранке о сицилийских судьях в XVI веке: «Так как жалованье называли свечами, то говорили иронически, что тот, кто больше зажжет свечей для того, чтобы его судья мог лучше узнать правду, естественно должен выиграть процесс».

[2] Во французском языке существует 72 синонима для пьянства и питья.

[3] Не быть злым — значит быть глупцом. Это выражение перешло совсем в иную среду.

всем другой, всегда тяжелый, даже при выражении свирепости, никогда не бывает ироническим и веселым; он лишен стремления загрязнить предмет своей мысли, прост в своих метафорах и изобилует своеобразными и цельными грамматическими формами.

Прибавлять ли наконец, что литература преступников, очень интересные образцы которой дает нам Ломброзо, не походит на литературу первобытных народов так же, как испорченный плод не имеет вкуса плода зеленого? Но за недостатком времени я не приступлю к рассмотрению этого интересного предмета. Я не скажу ничего более о графологических наблюдениях над письмом преступников. Убийцы, кажется, отличаются — как вообще, впрочем, все энергичные личности — ясным и отчетливым удлинением поперечной черты буквы, свободным и легким произношением всех других букв, также как и иероглифическим усложнением своих подписей. Способ письма воров отличается мягким, гладким, немного женским характером. Так как очень возможно, что читатель попытается воспользоваться графологией для астрологии или хиромантии, то я замечу, что недавними опытами, произведенными в Сальпетриере над hynoptiques'ами, письмо которых искажалось каждый раз, как им внушали, что они являются новой личностью, поразительно подтверждаются известные законы, изложенные в трактатах графологии (см. отчет об этих опытах и картины для подтверждения в Revue philosophue, апрель 1886).

5. Проявления преступности у врожденного преступника

Таким образом, несмотря на анатомическое и физиологическое, но не социологическое неоспоримое сходство с доисторическим и современным дикарем, врожденный преступник не дикарь и не сумасшедший. Он урод и, как все уроды, регрессирует в прошлое расы или вида, но

его регрессивные черты комбинируются иначе, и надо остерегаться судить о наших предках по этому образцу. Что наши предки для нас, цивилизованных народов, должны быть настоящими дикарями, я об этом не спорю, хотя самые древние документы показывают нам их простыми варварами с телесными формами, подобными нашим, только более красивыми. Существуют добрые дикари — Валлас, Дарвин, Спенсер, Катрфаж заставили даже нас их полюбить — но что касается меня, я думаю, что среди современных дикарей их значительное меньшинство, какое только возможно. Мы позволим себе предположить, что из наших предков добрых было тоже небольшое число. Можно думать, то есть предположить, что и мы в среднем не родимся с качествами более нравственными, чем у наших предков, при виде того, что моральный прогресс обществ вместе с цивилизацией идет гораздо медленнее и сомнительнее их интеллектуального прогресса, и что хотя он и существует, но скорее как социально выгодное преобразование безнравственности, чем как действительное личное усовершенствование. Впрочем, по мере того, как истинно моральное действие растущей социализации начинало проникать в кровь наций или самых цивилизованных классов, то есть классов, уже давно ставших господствующими, то медленно начиналось поглощение этих наций или классов крайне плодовитыми низшими классами, если не нациями. Таково моральное действие естественного подбора, примененного к нашему обществу. Для морального улучшения было слишком мало времени, чтобы наследственность в подборе могла действовать в его пользу, чтобы это улучшение имело возможность укрепиться в глубоких и неразрушимых инстинктах и заметно сказаться на изменении черепа и черт. Следовательно, то хорошее, что из него вытекает и даже развивается под его влиянием, более обязано социальным, чем жизненным причинам; оно обязано продолжительному, мирному и осадочному действию воспитания и примера, основание которого, к несчастью, каждую минуту подтачи-

вают грубые брызги политических или военных фактов. Что думать о пользе, когда говорят о необходимости лжи, измены и жестокости сердца для успеха в деле выбора, на поле битвы, на конгрессе дипломатов!

Не скажут, что я спорю против всех или только некоторых свойств, присущих врожденному преступнику, проявившихся спустя огромный промежуток времени в виде атавизма или наследственности. Хорошо, что жизнь заимствует некоторые элементы случайных уродливостей, ускользающих от нее. Где бы она взяла их, если бы прошлое не записывало их? Она может найти их, пожалуй, в редко открываемой сокровищнице творческой фантазии, которой она наделяет человека, рождая в нем гения, а не выделяя в нем урода, преступника или сумасшедшего. Я спорю только против такого проявления преступности у врожденного преступника. Женщины имеют поразительное сходство с врожденными преступниками, но это не мешает им быть в четыре раза менее склонными к преступлению, чем мужчины, и я могу прибавить — в четыре раза более склонными к хорошему. «Из 60 наград, присужденных в 1880 году комиссией по премии Монтиона, 47 были присуждены женщинам». Они более прагматичны, чем мужчины, тем не менее (Топинард), у них череп менее объемист, и мозг менее тяжел даже при одинаковом строении; формы их мозга до некоторой степени напоминают формы детей и зародыша. Среди них реже встречаются владеющие только правой рукой, чаще они левши или имеют одинаково развитые руки; у них ноги, если можно так выразиться, более плоски и менее выгнуты, наконец, у них мускулы слабее, они совсем лишены бороды, их волосы густы. Это черты, общие с нашими злодеями, но это не все. Та же непредусмотрительность, то же тщеславие — два свойства, которые Ферри правильно считает господствующими в преступнике. Кроме того, та же скудость изобретения, та же склонность к подражанию, та же подвижность ума во вред воображению, то же снисходительное упорство в желании телесного... Но женщина зато

в высшей степени добра и самоотверженна, и этой только разницы довольно, чтобы перевесить все предыдущие сходства. Женщина связана со своими семейными традициями, религией и национальными обычаями, ее мнение уважают. Этим она глубоко отличается от преступника, несмотря на некоторое суеверие, иногда в ней остающееся; этим она приближается к дикарю, к доброму дикарю, на которого она действительно похожа гораздо более, чем на него похож преступник. Мы не должны удивляться, узнав от натуралистов, до какой степени древний образец расы точно сохранен в женском поле, и что цивилизация по своим причинам и последствиям — дело преимущественно мужское. Причины ясны из того, что изобретения, из которых она состоит, почти все принадлежат мужчинам; последствия — из того, что разницу двух полов в деле размножения она явно употребляет в пользу мужчины. Если мы хотим мысленно воспроизвести себе первых людей, мы должны посмотреть на женщину, а не на убийцу или привычного вора. В ней, как в беспредельном и украшенном, но, может быть, не слишком неверном зеркале, мы найдем страстный и живой, беспокойный и милый, опасный и наивный образ первобытного человечества. Не нрав ли дикого деревца, упорно сидящий в ней наперекор всякой культуре, за всеми преимуществами простой или высшей способности, главным образом вызывает ее прелесть и даже невинность, самые лучшие и нравственные ее качества? Не будем торопиться решать, не исследовав полнее, что наши преступления идут от предков, и что только добродетели принадлежат нам[1].

---

[1] В своем ответе на мою критику, «самую лучшую и глубокую», по его словам, из всех критик, какие появлялись на *Uomo delinquente*, — ответ, к несчастью, слишком длинен, чтобы здесь его перепечатывать, несмотря на все его значение, — Ломброзо пишет о предмете, разбираемом выше: «Без сомнения, женщина представляет самую большую аналогию с первобытным человеком и, следовательно, с злодеем, но ее преступность не уступает преступности мужчины, когда с ней соединяется проституция». На это я возражаю: «Что касается преступности

Моя критика, очевидно, касается только объяснений, данных Ломброзо относительно физических или других свойств, так часто проявляемых злодеями, но она не касается совсем реальности преступного типа. Нам остается со своей стороны только объяснить, как мы это понимаем. Постараемся найти место этому типу среди тех рубрик, которые под тем же именем разрабатывает и собирает антрополог, этот онтолог без знания. Мне кажется, можно различать два значения в слове «тип». Как пример первого можно привести L'Hoтте americain Орбиньи, а примером второго — L'Uomo delinquente. Говоря о первом, разумеют те общие свойства каждой человеческой расы, каждой разновидности или подразновидности этой расы, которые разделяют их между собой. Так говорят о типе англичанина, немца, испанца, итальянца, француза или еврея и араба. Значит ли это сказать, что отличительные черты всегда встречаются у коренных представителей различных народов, о которых идет речь? Нет. Редко они встречаются вместе; каждая же отдельно бывает часто. Однако это не представляет серьезного возражения ни против истинности построенных таким образом схем, ни против реальности их объекта. Отвлеченная истинность и глубокая реальность состоит в более или менее ясном и энергичном стремлении расы или ее разновидности распространять при помощи наследственности всю группу свойственных ей качеств, если только ничто этому не пре-

---

женщин, я утверждаю, что она уступает мужской, несмотря на проституцию. Если в цифры женской преступности хотят включить куртизанок, я спрошу себя, почему не включат в цифры мужской преступности не только сутенеров, но также развратников, игроков, пьяниц и ленивых из нашего пола. Проституция, по правде сказать, есть алкоголизм, паразитизм и пауперизм женщин. Женщина пьяная по слабости и лени близка к пороку, как и мужчина в праздности и низости предается пьянству или более или менее низкому нищенству. Но не будем смешивать условия преступления с самим преступлением. Без проституции контингент женщин в преступной статистике, конечно, будет меньше, как еще больше контингент мужчин без пьянства, игры и разврата. Брать женщину в отдельности бесполезно».

пятствует. Эти качества все более и более становятся частыми и, наконец, исключительными, как будто только в этом стремлении и заключается прочное, хотя и краткое, равновесие расы.

В этом случае мы имеем совершенно иной смысл, чем когда говорим о типе рыбака, охотника, крестьянина, моряка, солдата, юриста или поэта. Это совершенно новое значение того же самого термина, можно сказать, поперечное или перпендикулярное первому. Путешествуя, узнали англичанина, араба и китайца, к какой бы профессии или расе он ни принадлежал. Не так ли узнали во всей Европе и во всем мире и крестьянина, воина, священника как такового, какова бы ни была его раса и национальность? Это впечатление вообще смутно, и его не анализируют, но пример Ломброзо и его товарищей, которому остается последовать, показывает, что оно неожиданно оказалось некоторым образом анатомически и физиологически верным. Не надо забывать моей главной мысли — глубины сходства, по которому, я думаю, профессиональные или социальные типы можно прямо отличать между расами, часто совсем не схожими. Я не ограничусь указанием на одинаковые привычки работы мускулов и нервов, являющиеся (через подражание) вследствие навыка в одном и том же ремесле. Они, если можно так выразиться, капитализируются из физически приобретенных в физически врожденные черты. Я убежден, впрочем, что известные анатомические свойства, полученные вместе с рождением, по своим причинам исключительно жизненные, а не социальные, наложившиеся только поколениями, где подражание не имеет места, влияют на приметы каждой большой профессии, если не каждого большого социального класса. Такие замечания о мужчине, как: он физически соответствует свой должности, у него вид военного, судьи, духовного лица, вполне имеют смысл. Это о лице, но почему нельзя сказать того же о теле? Если на сотне или тысяче судей, адвокатов, земледельцев и музыкантов, взяв их наудачу из разных стран, испытали ряд мер и черепо-

метрических, алгометрических, пульсометрических, графологических, фотографических и других опытов, аналогичных опытам Ломброзо, и получили такие результаты, то над сотней и тысячью преступников, весьма вероятно, придется констатировать факты не менее изумительные. Возьмем, например, адвокатов и, главным образом, адвокатов почтенных, так сказать, врожденных, похожих на врожденных преступников и созданных для их защиты, — они имеют в среднем талию, вес, вместимость черепа на такое же количество кубических сантиметров, граммов, милиграммов выше или ниже талии, веса, средней черепной вместимости других людей, хотя они и принадлежат к той же расе и полу. Было открыто, что у рабочих, принадлежащих к одному ремеслу и одинаково ловких, пропорция левшей к владеющим одинаково обеими руками отличается от обыкновенной пропорции. Это отличие можно выразить в цифрах. Открыли, что их восприимчивость к горю, к холоду, к свету, к электрическим переменам имеет свою собственную величину, общую и постоянную до известной степени; что их трогает скорее вид доброго стакана вина, чем красивой женщины или vice versa. Для этого сравнивали биение их пульса, записанного пульсографом, и исследовали самые кратковременные интеллектуальные и нравственные оттенки.

Я предвижу результаты, какие даст, вероятно, громадная антропологическая коллекция, собранная по методу ученых-криминалистов, о которых я говорю. Этот метод надо применять ко всем ремеслам, как его применяли к ремеслу преступления. Что может быть естественнее этого предположения? Почему одной уголовной карьере дана привилегия владеть физической характеристикой, а другие карьеры этого лишены? Напротив, есть основание думать a priori, что их антропологические приметы должны быть более подчеркнуты, потому что уголовное поприще черпает для себя силы повсюду чаще, чем другие, без разбора и требует гораздо менее специальных способностей. Если читатель решит, что портрет, родственный Галтону,

данный Ломброзо в «Преступном человеке», достаточно чист и точен, он должен будет подумать a fortiori, что родственные черты в рыбаке, охотнике, земледельце, купце и других возможны и ждут своего фотографа. Неожиданно стал ясен интерес этого большого сочинения, наполненного довольно беспорядочными цифрами и отвратительными человеческими документами.

Если бы Ломброзо, став на эту точку зрения, подумал, что его преступный тип — только профессиональный тип необыкновенного и особенно древнего вида, он бы, может быть, реже противополагал uomo delinquente нормальному человеку, как будто бы отличительные физические свойства делали его феноменом среди однородной массы честного человечества. Он выбирал бы для сравнения самые точные и самые выгодные, более всего выделяющиеся особенности антропологической, скажем лучше — социологической разновидности, которую он открыл. Я очень бы хотел человека-преступника противопоставить ученому, человеку религиозному и артисту. Было бы особенно любопытно сравнить его с человеком добродетельным. Мы с удивлением узнали бы, что если этот последний как физически, так и морально составляет совершенную противоположность преступнику, что если у получающих ежегодно премию Монтиона лиц голова имеет длинную, а не круглую форму, если руки у них короткие, а не длинные, лоб открытый, ухо гладкое, а челюсть слабо развита, если вместе с тем они обладают удивительно живой, а не тупой восприимчивостью к горю, их пульс при виде любовной картины бьется быстрее, чем при виде пьянства... то и со всем тем они столь же далеки от цивилизованных людей, как и злодеи средней руки, но только совершенно в ином смысле.

Ломброзо довольно плохо защищается против сделанного ему возражения: «Как можете вы говорить о преступном типе, когда у вас 60 преступников из 100 не имеют таких свойств!». Он просто отвечает, что слабая пропорция итальянцев, представляя тип их расы, не дает нико-

му права отрицать итальянский тип, еще менее тип монгольский, и т.д... Было бы слишком говорить против этого смешения двух значений слова «тип», нами разделенных. Но с моей точки зрения было бы возможно ответить противникам этого разделения: не только неправда, что мои опыты не имеют важного значения, так как они приводят, как вы видите, к известному результату, но они вдвойне поучительны. Действительно, несмотря на непостоянство преступного типа у злодеев, он, тем не менее, реален в том смысле, как мы выше определили. Впрочем, степень его повторности, измеренная пропорциональными цифрами, которые я позаботился дать, выясняет или способствует со своей стороны выяснению уровня нашего социального положения и высоты, которой еще можно достигнуть. В обществах с замкнутыми сословиями, где различные ремесла — земледелие, торговля, военное искусство и жречество — передаются не при помощи чистого и простого подражания, но при помощи подражания вынужденного, в зависимости от происхождения, профессиональный тип, как известно, имел мало шансов часто проявляться среди лиц, отдавшихся соответствующей профессии; это частое повторение должно усилиться по мере освобождения чистого социального принципа жизни, по мере того как место сословий занимали корпорации, потом свободно избранные правительства и особенно, когда вместо женатого духовенства появилось холостое. Тип иезуита, например, гораздо распространеннее и постояннее среди отцов общества Иисуса, чем это могло быть в том случае, если бы этот славный орден подобно сословию браминов распространялся путем естественного происхождения. Если бы направление наших обществ в новую эру было идеально, то никакая искусственная преграда не препятствовала бы лучшему и возможному приложению индивидуальных призваний. Тогда в каждой профессии были бы только люди, рожденные и до известной степени созданные для нее. Таким образом, профессиональные типы, став на место этнических типов, которые теряли бы с ка-

ждым днем свое значение, дали бы человечеству высшее деление на классы. Социальный принцип, который действовал в пользу жизненного принципа размножения и наследственности, как и следует во времена каст, подчинялся бы этому последнему. То же было бы и с профессией тунеядцев, живущих за чужой счет. Врожденный преступник новых криминалистов — единственный преступник будущего, закоснелый и необузданный рецидивист. Растущая война преступной статистики уже указывает на появление этого ужасного чудовища, этой пены; указывает на физическое и психологическое образование формы, которая решительно отказывается от социального объединения или — теперь, по крайней мере, — чуждается этого объединения. Из этого нам ясно его значение и то любопытство, если не симпатии, которое связано с его верным и полным описанием[1].

---

[1] В сообщении, адресованном обществу физиологической психологии под председательством Шарко, Гарофало, передав свои личные замечания о теории преступного типа, делает оговорку насчет гадательного объяснения, которую я сейчас передам. «Как объяснить, — говорит он, — что психологические и физиологические свойства врожденного преступника так редко встречаются у настоящих профессиональных преступников, например у *pick-pockets?* Однако самые закоснелые рецидивисты, преимущественно неисправимые, отличаясь среди преступников самыми выдающимися свойствами этого типа, почти никогда не имеют времени стать привычными. Часто они с самого начала выступают с большим делом, ведущим их вполне правильно в острог или на эшафот; во всяком случае преступление ничего не приносит им вообще, кроме удовлетворения дикого инстинкта». Я вижу, судя по этому возражению, что, может быть, я неясно выразился. Я слышал, как говорят, что врожденного преступника влечет на поприще преступления истинное призвание, как математика от природы любовь к математике, и что это призвание часто бывает очевидно с первого злодейства, так что другие доказательства излишни. Что касается сбитых с дороги артистов, посвящающих себя по лени остроумным маленьким кражам, то они выбрали это ремесло, как выбрали бы всякое другое, столь же доходное, но легкое, и если они остаются ему верными, то только потому, что, будучи раз охвачены этим колесом, больше не могут из него выйти. Впрочем, Гарофало признал, что существование наших профессиональных типов «не вероятно».

6. Социальное объяснение преступления

Возможно, что из предыдущего можно было бы вывести более утешительное заключение. Классифицировав преступный тип, не имеем ли мы право подозревать, что он имеет относительный и, кто знает, может быть, временный характер? Если действительно 40 или 50 лет тому назад занимающихся в заведениях почтовых карет, на воздушных телеграфах или служителей всякой другой исчезнувшей администрации подвергли бы опытам и наблюдениям Ломброзо, то нашли бы, что специальный физический тип в каждом из этих ремесел встречался чаще, чем где бы то ни было. Были бы до известной степени в праве сказать, что существуют, например, врожденные кондукторы дилижансов. Это не помешало бросить прежние рыдваны и неудобные телеграфы, когда были изобретены и распространились локомотивы и электрический телеграф. Я не намекаю этим на то, что легко было бы при помощи нескольких новых открытий уничтожить поприще для преступления, выгодно заменив его. Эта надежда, однако, не вполне химерична, что мы, может быть, и увидим. Нам достаточно будет сказать при случае, что предположение естественного призвания, из которого мы исходили выше, в известных частных случаях социальной деятельности требует исправления и точного распределения. Природа, разнообразя свои собственные темы, совершенно не обращает внимания на возможное употребление их обществом. Равным образом природа представляет очень широкий простор в выборе, когда дает возможность без различия выбирать многие ремесла. В своих глубоких исследованиях наследственности и подбора в человеческом роде Alphonse de Candolle делает следующее замечание относительно научных способностей. Если, конечно, правильно это замечание в отношении научных способностей, то гораздо правильнее оно должно быть для большей части других способностей. «Человек, — говорит

он, — одаренный в сильной степени постоянством, вниманием, способностью суждения, если у него нет сильного недостатка в других способностях, будет правоведом, историком, ученым, натуралистом, химиком, геологом или медиком сообразно со своей волей, определяемой множеством обстоятельств... Я мало думаю о необходимости врожденного и повелительного призвания к специальным предметам, исключая, пожалуй, математики. Этим я не отрицаю влияния наследственности, но только гляжу на нее как на нечто общее, совместимое со свободой личности»[1]. Может быть, de Candolle преувеличивает здесь неопределенность врожденных качеств. Он, кажется, забывает, что среди всех форм деятельности, исследованных или рассмотренных нами, всегда есть одна, почти единственная, которой мы оказываем предпочтение. По мере расширения поля наших первоначальных ощущений путем развития сношений мы приближаемся к моменту, когда объединятся все области существующих в данную эпоху поприщ. Тогда придет время сказать, что всегда или почти всегда в каждый момент истории существует для всякой индивидуальности, несмотря на все их разнообразие, одно определенное, естественно соответствующее ей и исключительно привлекательное для нее поприще, если ничто не препятствует ее выбору. Не надо быть особенным человеком, чтобы объяснить у лиц, отдающих себя известному делу, полное или частичное соответствие их склонностей с их делом. Статистика, указывая на это разнообразие, может только показать действие одной постоянной причины среди массы других причин, именно она укажет то постоянное влияние естественных склонностей, которое в связи с многосложными и сильнообразными социальными влияниями толкает на выбор жизненного пути. Реальность типа в таком объяснении бесспорна, но в то же время совсем не надо переходить из одного социального положения в другое, то есть не надо внезап-

[1] История наук и ученых за два столетия. Женева, 1885.

но изменять число, природу и преимущества или относительную опасность различных профессий, чтобы сильно изменить направление всех, даже самых твердо установившихся призваний. Нельзя допустить утверждения, что будто человек, обреченный роком на преступление, всегда был и будет преступником потому, что он преступник от рождения. Исключая нескольких мономанов пожара или убийства или нескольких клептоманов, никого не надо рассматривать в связи с врожденными преступниками. Никто не родится для убийства, поджога, насилования или кражи у своего ближнего. Если бы в Афинах Алкивиада были антропологи, они достаточно бы очертили типичные черты врожденного педераста, которого, казалось, органический и непреодолимый импульс с колыбели наталкивал на это национальное уклонение полового инстинкта. Афиняне нередко были склонны к этой закоренелой привычке подобно тому, как наши рецидивисты — к краже или убийству. Мы знаем, однако, что эта позорная привычка, не всегда бывшая традицией, я говорю об аттическом институте, началась благодаря обычаю, принесенному извне, и что она кончила тем, что ушла так же, как пришла. Не надо слишком торопиться объяснять физиологически то, что, может быть, в большинстве случаев можно объяснить социальной жизнью.

Видя из «Истории революции» Тэна проявление жестокой и вместе корыстолюбивой преступности, до которой дошли известные террористы, Carrier, Lebon и другие их считают врожденными преступниками самой чистой воды, хотя, конечно, для объяснения всех их действий достаточно влияния окружающего примера, что и доказало их остальное существование. Однако в их ужасном видоизменении есть такая черта, которая испугала бы Ласенера или устрашила бы жителя острова Фиджи: например, казнь на глазах у Carrier ребенка 13 лет, который был настолько мал, что под ножом была одна только макушка головы. Когда его уже привязали к столбу, он сказал исполнителю казни: «Ты мне сделаешь очень больно?». Дру-

гой пример. Известны ужасные обряды древних ацтеков, их тысячные человеческие жертвоприношения, их идолы, испачканные кровью жертв, их постоянное пролитие крови в храме или жилище в силу жизненной привычки. Индеец, выходящий прямо из этого племени, но мнению Биара, самый нежный, самый смирный и менее жестокий из людей. Нравы его предков не были расовыми — раса не изменилась; они были продуктом их религиозных, отчасти случайных верований и могли бы быть другими, что и доказывает их дальнейшая перемена.

Ферри сам делает замечание, которым подтверждает наши идеи. В ответ на возражение, что преступный тип, хотя и очень редко, все же наблюдается среди обыкновенных людей или, по крайней мере, среди людей, не обвиненных по суду, он замечает вполне правильно, что врожденная преступность может остаться скрытой, и что врожденные преступники, у которых не было случая совершить преступление, похожи на случайных преступников, не рожденных для преступления. «У индивидуумов образованных классов, — говорит он еще, — преступные инстинкты могут быть заглушены средой (богатством, властью, более всего влиянием общественного мнения и т.д.). Преступные инстинкты живут под скрытыми формами, уклоняясь от уголовного кодекса. Вместо убийства кинжалом они толкают свою жертву в опасные предприятия, вместо кражи на публичной дороге они толкают на обман во время игры на бирже; вместо изнасилования обольщают и оставляют свою жертву...» Ломброзо со своей стороны говорит то же самое. Что касается ассоциаций злодеев, он не говорит нам, что их меньше в цивилизованных странах, «но что они преобразовываются в подозрительные, политические или торговые ассоциации». Сколько существует анонимных обществ, агентств и комитетов, которые есть не что иное, как общества разбойников, но разбойников, смягченных культурой! Ученый профессор любит уподоблять куртизанок преступникам и видеть в домах терпимости женский эквивалент

исправительных домов. Пусть будет так. Среди этих особого рода заключенных ему также легко было бы установить две ясно разграниченные категории, наверно, более ясные, чем две соответствующие категории преступного мира, а именно проституток случайных и врожденных. Однако эти женщины, которых совершенно особый и, конечно, самый повелительный из всех темперамент, кажется, предназначает к грязным квартирам, никогда не взошли бы в них без социальных условий или встреч, которые действительно толкают их на это. Счастье или замужество дало бы им возможность остаться, что называется, честными; они могли бы быть, и дьявол от этого ничего не потерял бы, хорошими торговками в лавочках; гостиная не убила бы в них легкомысленности, кокетливости или очаровательности, и они могли бы быть восхитительными актрисами. Мы только что указали те пути, которые со временем могут привести к истощению преступного яда. Это истощение, вполне аналогичное тому, которым занимался Пастер, дозволяет ряд последовательных видоизменений; неудачная кража становится плутовством или злоупотреблением доверием, потом — игрой на бирже или грабежом, совершаемым под видом политической меры, наконец, тем, что называется ловкостью. Неудачное убийство становится дуэлью, потом — вредной клеветой или доносом, влекущим за собой смерть, наконец, силой, дерзостью и хладнокровием. Разведенный водой яд часто перестает быть полезным ферментом, и, действительно, было бы нетрудно в глубине самых богатых и просветительных социальных явлений открыть честолюбие, алчность, вежливость, смелость и вообще силу, склонность к диким инстинктам, смягчение которых так медленно подвигается вперед. Наконец, в интересной главе о преступности детей Ломброзо отмечает, насколько преступные инстинкты часты в этом возрасте, и как легко они исчезают под влиянием хорошего воспитания, прибавим, при благоприятных условиях. Если, однако, дитя дурно воспитано и несчастливо, преступные инстинкты остаются

у него и в зрелом возрасте. В этом случае их можно называть врожденными, потому что они действительно таковы. Однако разве присутствие этих качеств, обязанное социальной среде, не равносильно их социальному приобретению? Если возможно, измените лучше условия общества, а не систему наказания, и преступность общества изменится. На этом хорошо мотивированном (Nuovi orizzoni, 3-е изд.) убеждении основывается, в сущности, теория Ферри относительно Sostitutivi penali, относительно эквивалентов наказания, что в равной мере относится и к эквивалентам преступления.

Совершенно неверно, что преступление, даже доведенное до данного раз навсегда числового minimum'a, было поставлено с самого начала подобно любви в положение античного хора «среди вечных и божественных сил, двигающих этим миром». Его происхождение прежде всего историческое, его объяснение прежде всего социальное. Но от ожидания, что преступление когда-нибудь исчезнет, едва ли исчезнут различные человеческие страсти, которые в настоящее время питают это преступление и в своей совокупности составляют его тип. Они рассеются и разместятся среди других типов. От этого ожидания — я боюсь, оно будет очень продолжительным — тип, который составляют эти страсти, нисколько не потеряет своей реальности, потому что неизменность его сущности надо считать очень спорной.

Глава II. ПРОБЛЕМЫ КАРАТЕЛЬНЫХ МЕР

В одной из предыдущих глав мы показали, что были далеки от непризнания значения антропологических факторов в преступлении, как говорит Ферри. Мы знаем, что нельзя назвать социальным явление, не рожденное силами природы; но нет ни одного явления, которое не имело бы своих социальных причин. Так как криминалист в наших глазах прежде всего не натуралист, но скорее просвещенный моралист, то есть социолог, то его главная работа состоит в том, чтобы разобрать, я не говорю — социальные факторы (потому что все факторы индивидуальны и физиологичны), но социальные причины преступления с целью воздействия на них. В этой и следующей главах мы возьмем наудачу некоторые проблемы, которые ставит статистика преступлений или новая психология. Наши последующие рассуждения будут иметь социологический смысл. Вопрос, какую часть надо приписать психологическим импульсам, а какую оставить для социального влияния — вопрос не чисто теоретический. Он представляет более практический интерес. Если, например, у некоторых преступников уместно счесть импульсы физической жизни за побудителей, наказание, называемое здесь скорее лечением, может быть вполне новым, несмотря на судебные обычаи и народные привычки. Почему? Потому что самый закоренелый в традициях консерватор очень хорошо понимает необходимость быстрого обновления в медицине во всех тех случаях, когда новое открытие подсказало лечение лучше прежнего, хотя и многовекового. Здесь надо принять во внимание эквивалент привычки, привычку физиологическую, темперамент, на который следует всегда обращать внимание, изучая больного. Точно так же, когда дело идет о том, как на преступление,

появившееся главным образом вследствие социальных причин, ответить подобающим ему приемом, то есть подходящим к нему наказанием, надо в качестве карательной меры брать быстрое обновление, внезапную пертурбацию социальных привычек и национального темперамента.

1. Необходимая степень судебных улик

Начнем с небольшого вопроса, который по странной случайности совершенно не обсуждался даже итальянскими криминалистами. Они принадлежат к классической или новой школе и занимаются отысканием возможно лучшей классификации преступлений, преступников и наказания, пропорционального тяжести преступления (пустая мечта первых) и выбранного для исцеления или изолирования преступников (вполне практическая цель вторых). Прежде всего, судье очень трудно узнать, действительно ли предположенный автор преступления преступник. К степени важности судебной улики; которую Бентам мало исследовал, надо было бы относиться с особой осторожностью. Я этого не предпринимаю; я ограничиваюсь вопросом, какова в данный момент степень уверенности судьи в виновности обвиняемого. Вопрос, без сомнения, удивит, а, может быть, и возмутит последних потомков Беккария, пустившего в ход знаменитую аксиому: самое легкое сомнение должно послужить на пользу обвиняемого, и доказательство обвинения в преступлении должно быть полным. Этот чисто словесный принцип, впрочем, остерегаются применять на практике, зная, что духом лжи, как мы увидим дальше, наше социальное общество проникнуто до мозга костей. Его держат в запасе в глубине души для известных случаев, когда, чтобы не признаться самому себе в пристрастии в пользу друга или единоверца, вызывают на свет старую поговорку. «Судья, оправдывающий обвиняемого, — говорит Курно, — не слушает, по большей части, подтверждения того,

что обвиняемый не виновен, но обращает внимание только на то, что в его глазах признаки виновности недостаточны для обвинения. В свою очередь, судья, который обвиняет, не ищет абсолютного подтверждения виновности обвиняемого, а только присутствия таких признаков, он требует, чтобы было налицо сильное подозрение виновности, в силу которого нельзя было бы оправдать обвиняемых, не парализуя действия суда и не компрометируя народную безопасность... Точно так же хирург, подающий голос за ампутацию, абсолютно не утверждает невозможности другого лечения; он только утверждает, что, по его мнению, шансы печального исхода, если член не будет ампутирован, достаточно велики, чтобы решиться пожертвовать этим больным членом. Это самое замечание относится к большей части людских судов; нельзя сказать ничего особенного и об уголовном суде». Отсюда разделение обвиняемых не на виновных и невинных, но на достойных обвинения и недостойных обвинения.

На самом деле, у каждого обыкновенного суда и суда присяжных мерило для обвинения, если судить об этом по средней пропорции оправданий, различно. «Отчет показывает, — говорит Курно, — что число обвиненных на общее число обвиняемых, которое в Бельгии достигало 0,83, когда преступления ведали постоянные суды, спустилось до 0,60, когда в этой стране восстановили институт французского суда присяжных. Отсюда заключают, по интересному замечанию Пуассона, что пропорция обвиненных быстро убыла вследствие установления института суда присяжных, хотя формы предварительного следствия остались те же, и что вследствие этого пропорция обвиняемых, виновных на самом деле, не должна была чувствительно измениться». Этими словами он хочет сказать, что суд присяжных не считал достаточными улики, достаточные для коронного суда. Но возможно, что его взгляд не позволил ему ценить некоторые вероятности по их истинной стоимости, возможно, что он действовал под влиянием меньшего убеждения, чем общие суды.

Поэтому сравним между собой различные суды присяжных и простые суды. От 1831 до 1880 года мы видим: пропорция обвинений, вполне отвергнутых французским судом присяжных, мало-помалу спускается с 33 до 17 на 100. Невозможно, чтобы этот результат был основан на продолжающемся уменьшении требований суда присяжных в деле улик. Тем менее можно подумать, что камеры предания суду с каждым днем приближались к этим известным им требованиям и несознательно поднимали постепенно minimum вероятности уверенности, требуемой ими от улик. Если мы теперь возьмем среднее число оправданий суда присяжных, которое от 1832 до 1880 года составляло 21 на 100, то мы констатируем, что оно возвысилось, благодаря суду присяжных во многих департаментах, а особенно в Дордонье, в Восточных Пиренеях, в Верхних Пиренеях, где оно составляет от 35 до 37 на 100, тогда как в Майне-и-Луаре, Дроме, Илле-и-Вилене оно далеко не достигло 21 и составляет там от 13 до 14 на 100. Это значит, я думаю, что присяжных департамента Илля-и-Вилена, например, не надо было убеждать так же сильно, как присяжных Дордоньи, чтобы они решились вынести обвинительный вердикт.

Но это еще наиболее слабые противоположности в сравнении с тем, что дают нам другие сопоставления в ходе правосудия. Какая разница между слабыми подозрениями, которых во время революции или смуты вполне достаточно суду, чтобы отправить подозреваемого на эшафот, и строгими уликами, необходимыми во время полного спокойствия для того, чтобы только отправить рецидивиста в тюрьму! Какой контраст между решениями военного суда, который во время войны на другой день после битвы дает приказы расстреливать по простым подозрениям мнимого шпиона, и решениями этого же самого суда во время мира! Действительно, ничего нет разнообразнее степени уверенности, от которой зависит обвинение людей. Она изменяется от нуля до бесконечной величины, от простого подозрения до очевидности, от сомнения до

уверенности. Если мы старательно рассмотрим то психологически особенное положение судьи, которое заставляет его удостовериться, то мы не удивимся. Опытный адвокат всегда подметит тот момент, иногда неожиданный и прихотливый, когда судья, перед которым он говорит, переступает эту черту. С этого момента он знает, что бесполезно говорить перед ним. Что же, следовательно, представляет из себя это внезапное и странное определение или мысленное отвердение, о котором идет речь? Решения влияют на него столько же, сколько и доказательства. Я думаю, что влияние, хотя и несознательно, передается от товарища к товарищу, и может быть, даже на эстраде судей, оказывающих давление друг на друга и время от времени обменивающихся смехом или полусловом, Рише мог выбирать свои лучшие примеры этого «нормального внушения без гипнотизма», так тонко им изученного. Неизвестно, с какой силой мнение некоторых судей, не всегда даже самых образованных, но в общем самых неуступчивых и авторитетных, навязывается их соседям. Эта причина, безусловно, могла бы уменьшить власть судов над многими, если бы единоличный судья, избавленный от такого рода братского и бескорыстного влияния, не подпал под еще более полное и более сомнительное действие внушения того или иного адвоката. Как бы там ни было, что же происходит с судьей, когда он решается? Благодаря колебанию одного мнения над другим его ум устает; тогда вмешивается действие воли; усталость уменьшает его внимание, и здесь вдруг наступает конец. Это происходит несознательно, и самый чистосердечный в свете судья в момент, когда он ставит приговор, считает, что дело стало для него яснее, чем оно было за секунду перед этим. Однако постоянство этого внутреннего равновесия зависит от очень разнообразных степеней убеждения. Слабое убеждение, поддержанное твердым решением, дает место столь же большому постоянству, как сильное убеждение, связанное с мягким решением. Если, следовательно, желание убедиться усилится по какой-нибудь причине, по тем

обстоятельствам, в которых находятся судьи, то само убеждение может без вреда уменьшиться. Отсюда, без сомнения, и вытекают числовые неравенства, на которые мы только что указали.

Но какому правилу подчинены теоретически эти перемены? Что касается этого вопроса, то он аналогичен первому нашему вопросу. Говорили, что тяжесть наказания должна быть в прямом отношении к страху наказания и в обратном отношении к возможности безнаказанности при данном социальном положении. Этот род карательной теоремы требует, мне кажется, следующего дополнения: minimum, дающий возможность разнообразить наказания, должен изменяться в данной стране и в данное время в прямом отношении к безопасности и спокойствию народа и в обратном отношении к беспорядку[1]. Следовательно, все прочие условия одинаково (то есть при равенстве всех других причин смятений или самонадеянности) противоположны сумме преступности. Каждый данный род правонарушения надо специально исследовать там, где он более всего распространен. Суд присяжных, я должен в этом сознаться, вполне правильно поступает вопреки этому правилу: он, главным образом, оправдывает преступления против личности в тех департаментах и провинциях, где более всего убивают, будь то во Франции или в Италии, а преступления против собственности — там, где чаще всего совершаются кражи[2].

---

[1] Конечно, в известной мере. В моей мысли никогда не было желания оправдывать революционный суд, какой функционировал, как известно, у нас в различные эпохи.

[2] Заметим, что обвинение при всех равных прочих условиях, то есть когда социальные условия остаются те же, зависит от умения найти степень требуемого судом доказательства. В деле отравления, например, до прогресса химии старались осуждать людей по простым, слабым подозрениям, без которых все эти преступления остались бы безнаказанными. Но с тех пор, как посредством особых реактивов могли узнавать присутствие ядовитых веществ, имеют право требовать доказательства, гораздо более надежного, чем прежние. В деле поджогов (преступление редкое, свойственное недавнему времени) осуждение

Кроме этого, из предыдущего следует, что чем больше рост опасности и особенно преступности в стране, тем важнее поднять интеллектуальный уровень судей, которым вверен интерес охранения социального строя, потому что одни и те же улики против невиновного на двух судей, одного очень умного, другого менее умного, подействуют не в одинаковой степени, но для первого они будут более убедительны, чем для второго. Эта разница, может быть, позволит во время смуты, если просвещенный судья будет выбран именно тогда, minimum'у потребной вероятности опуститься к большой выгоде для личной свободы и без большой опасности для общества, чего не случилось бы при противоположном выборе. Но на это почти нет надежды. Скорее, по мере того как нация успокаивается, она более чувствует пользу от просвещенной магистратуры. Это происходит по двум причинам: растущей проницательности судей и меньшей опасности, связанной с безнаказанностью и оправданием ставших более редкими злодеев. В спокойное время для обвинения требуют почти что абсолютной доказанности виновности. В этом заключается выгода мира и порядка.

также основывают на простых подозрениях по недостатку доводов. Может быть, когда-нибудь поджог так же легко будет доказать, как теперь отравление. Сейчас его так же трудно доказать, как некогда было трудно доказать отравление. Известные изобретения и открытия сделали невозможным возвращение к некоторым суеверным способам при судебных разбирательствах, принятым прежде у всех народов. Но тогда отсутствие этих изобретений и открытий делало необходимыми эти способы. Сомнение, особенно в важных преступлениях, так тяжело, что человеческая природа всячески старается всегда выйти из него. Не в одни средние века, а и в Египте, в Греции и везде в древности обращались к оракулам или к Божьему суду, чтобы узнать виновность невинных точно так же, как теперь, и иногда не менее безрассудно, обращаются к экспертам по судебной медицине. Суды Божьи были тогда божественной экспертизой. К этому надо было часто прибегать тогда, когда еще не было естественных наук и химии.

2. Внушение и ответственность

Предположим, что обвиняемый явно совершил инкриминируемый поступок. По какому признаку мы будем считать его ответственным, и почему, если он ответственен, его надо будет наказать? Эти высшие вопросы нельзя более решать с точки зрения гипотезы свободной воли или мистической теории искупления.

Недавние опыты над гипнотическим внушением позволяют определить их с точностью.

Сначала рассмотрим, но не так, как рекомендует Ферри, связь между преступной деятельностью нации и ее экономической деятельностью или, еще вернее, между ее карательными мерами и ее промышленностью. Интерес общества — помешать возвращению или защититься от повторения некоторых фактов, вредящих его членам, когда эти факты происходят под влиянием исключительно физических причин, а отчасти социальных. В этом последнем случае они являются в большей или меньшей степени отражением воли. Как поступает общество в первом случае, когда дело идет о том, например, чтобы защититься от повторения (нельзя помешать, но можно предупредить вредные действия, а это одно и то же) дождя, атмосферического холода, молнии, ночи, бурь, когда дело идет о том, чтобы действительно помешать возвращению голода или неурожая, эпидемии или эпизоотии? Оно противополагает явлениям свой страх перед сопротивлением подобному роду причин. Страшному явлению оно приписывает мистическую причину, волю Бога. Оно противополагает этому явлению материальное сопротивление, если открывает в нем материальную причину. Сила сопротивления пропорциональна относительной истине найденной и меняющейся от времени до времени причины. Часто случается даже, что благодаря глубокому исследованию истинных условий вредного факта этот факт, относимый до этих пор к категории неизбежных бичей, переходит в

категорию бичей, могущих быть убитыми в зародыше. Голод был периодическим, и его так же невозможно было избежать, как затмений и циклонов, но только до тех пор, пока не стало ясно, что он основан на недостатке сношений. Изобретение передвижения при помощи пара заставило его стать второстепенным, как открытие оспопрививания позволило предупреждать оспу вместо того, чтобы ограничиться ее объяснением. Если бы метод Пастера неожиданно оправдал надежды, и паразитарная теория восторжествовала, то это отразилось бы на большей части лихорадок и заразных болезней, всевозможных эпидемий и эпизоотий, как отразилось на оспе. Медицина, став искусством прививок, слилась бы тогда с гигиеной, которая сделала бы излишней всю нынешнюю терапевтику. Надо, однако, заметить, что страх перед подобными фактами часто исчезает благодаря устранению причины их, или когда мы видим наше ничтожество перед их громадностью. Мы прекрасно сознаем, что ночь зависит от обращения Земли, морские приливы — от притяжения Луны, бури — от солнечного жара экваториальных поясов (или от какой-либо другой причины), и мы не более прежнего можем помешать возвращению ночи, морских приливов или бурь. Нужды нет, что изучение их причин для нас бесполезно, оно нам показывает точнее их законы и тем дает нам возможность среди тех сетей, в каких мы находимся, выбирать лучшие средства для борьбы с их гибельными действиями. Когда дан закон циклонов, мы можем предсказать их направление и по кабелю Атлантического океана известить вовремя заинтересованных в этом. Мы устраняем молнию громоотводом, а ночь — газовым освещением и т.д.

Как же должно поступать общество, когда дело идет о том, чтобы охранить себя не от физических явлений, где человеческая воля не участвует, но от добровольных поступков? Оно противополагает и, я думаю, имеет основание противополагать этим моральным и социальным фактам моральные и социальные силы, как бесчестие, тя-

жесть наказания, страх смерти или, может быть, еще лучше — реформу некоторых учреждений. Но оно должно себя спросить, принадлежат ли такие факты к категории бедствий, которых можно избежать, или к тем, против которых можно просто бороться. Если правда, как хочет этого Кетле, что контингент преступлений почти неизменен и заранее определен, одним словом, если преступление и правонарушение — такие же роковые факты, как молния и дождь, но гораздо более правильные, то надо было бы сказать, что преступность должно ограничивать только устройством хороших громоотводов против преступной грозы, то есть усовершенствованием замков и денежных ящиков, револьверов и другого оружия защиты. Надо, однако, признать, что человечество никогда не останавливалось на этой точке зрения. Против этого рода бедствий, даже прежде чем исследовать их причины, оно инстинктивно дало большой выбор мастерских средств, не без основания считавшихся в свое время очень сильными. Странно видеть все это разнообразие карательных мер, которое дали по большей части так малоизобретательные первобытные законодатели: крест, изуродование голоса преступника, избиение камнями, отдача зверям, распиливание тела, потопление, раздавливание ногами слона и т.д. Вероятно, земледелие и промышленность едва зарождались, а изобретение карательных мер уже истощилось. Причина этого, без сомнения, такова: подобно тому, как закон должен быть одним из первых социальных творений, одним из первых проявлений (после речи) гения — творца людей, добровольное нарушение закона, то есть преступление, должно было быть одним из первых поприщ, на котором упражнялся человеческий гений-разрушитель. В деле преступления изобретение было, следовательно, истощено с самого отдаленного времени, о чем мы можем судить по тем перечислениям, которыми переполнены старые законодательства. Отсюда и появилась наложенная на законодателя необходимость проявлять большую и скороспелую изобретательность. Тут происходит

нечто вроде продолжительного поединка между воображением преступника и криминалиста. С одной стороны, мучения отвлекают от боли мук, с другой — насильственная смерть увеличивается всякими жестокостями. Боролись с бичом преступления такими способами, какими думали предупредить голод и заразу, болезнь или затмение Луны, — гекатомбой, общественными постами и танцами на оргиях. Таков был дебют карательных мер, таково было начало искусства. Кажется, однако, что первый был менее ребяческим, чем второй, и, конечно, страх держать на руках в течение трех дней труп своего ребенка более всего должен был мешать детоубийству в Египте. Заклание в жертву быков не помешало там суровости. Известно, что если вначале карательные меры и сильнее действовали на умы, чем промышленность, то промышленное развитие шло быстрее и совсем иначе, чем исправление и уголовные реформы. Теперь самое время об этом подумать. Одно только продолжительное исследование и глубокое изучение причин преступления и правонарушения дает нам право решить, должно ли эти человеческие несчастия определять в указанном выше смысле. Может быть, вдумавшись лучше в условия, которые их заставляют появляться, мы обнаружим, что они не находятся вне нашей власти, и мы научимся их обуздывать. Если мы этого не достигнем, изучение и знание не принесут нам пользы. Согласимся с Ломброзо, что, с одной стороны, преступность обязана посмертному внушению, которое передали живым наши доисторические предки. Согласимся, что с этой стороны источник преступления будет окончательно вырван из нашей власти. Но будем помнить определение преступного типа, изменяющее это атавистическое внушение, чтобы быть всегда настороже. Что касается большей части преступлений и правонарушений, которых эта причина не объясняет, то предположим, что она основана на известных особенных свойствах социального общества: это немного напоминает тезис Ферри — sostitutivi penali. Конечно, из этого не следует, что мы будем в силах

уничтожить когда-нибудь такого рода преступность, но надежда на ее исчезновение нам дана. В ожидании этого должны ли мы оставаться бездеятельными? Нет, тем более что мы, как люди последнего столетия, до Жаннэ не знавшие гарантии оспопрививания, не должны были пренебрегать меньшими предосторожностями — употреблением некоторых правил гигиены и удалением от себя зараженных лиц. Карательные меры, еще известные и употребляемые в теперешнее время как предупредительное средство против преступления и правонарушения, играют скромную и неизбежную роль тех элементарных мер, которые употребляли наши отцы против своих болезней. Призваны ли они к радикальному преобразованию, к особой миссии? Здесь полезно рассмотреть вопрос об ответственности.

Мы только что сказали о внушении, исходящем от умерших, которое мы можем только воспринимать: скажем теперь также о внушении среди живых наших современников, на которых мы можем действовать. Это последнее внушение, понимаемое как гипнотическое, есть явление столь исключительное, что законодатель имеет право с ним не считаться. Обвиняемый, который в целях оправдания ссылался бы на то, что убийство совершенно им под непреодолимым влиянием, будучи задержан по приказу, полученному несколько дней или месяцев раньше, как очень основательно указывают Бони и Ферри, мог бы думать, что он привел достаточное объяснение такому исключительному случаю. Я не стал бы останавливаться и на тех небольших любопытных, но легко разрешимых проблемах, которые возбуждают эти патологические особенности, если бы путем аналогии и индукции они не были способны показать нам в нашей обыденной социальной жизни всемирную и постоянную работу очень слабого, конечно, но подобного влияния. Они могли бы служить нам при изучении того обстоятельства, что сознательная причина наших действий почти никогда не бывает истинной причиной. Например, усыпленный гипно-

тизмом получил приказание (см. Revue philisophique, январь 1885) показывать нос бюсту Галля. Его будят, под влиянием этого приказания, которого он, однако, более не помнит, он показывает нос. Однако, как бы для того, чтобы не признаться самому себе в том, что им управляет непреодолимая внешняя причина, он спешит сказать, что этот бюст «отвратителен». Я сошлюсь на тысячу таких фактов. Пусть прикажут такому человеку, будь он даже истерик, выстрелить из револьвера в своего брата; проснувшись, он исполнит это. Но можно ли думать, что он станет в тупик, объясняя себе свое поведение? Нет, он будет убежден, что убил своего брата потому, что брат был против него виноват, что его оскорбили при семейном разделе или была какая-нибудь другая причина. От него абсолютно ускользает истинная причина его поступка. Также и у мономана, повинующегося своей непобедимой склонности, всегда будут хорошие основания для мотивировки его безумного действия. Сумасшедшие вообще обнаруживают массу изобретательности в оправдании своих поступков. Первый источник толчка лежит здесь в мозговом повреждении, тогда как в предыдущем примере побудительной причиной было внешнее приказание, полученное посредством гипнотизма. Но разница пропадает, если мы обратим внимание на то, что истинная причина внушения находится в самом гипнотизируемом, в его аномалии, а не в таинственной, так сказать, силе гипнотизера. Данное им приказание просто придало известный ход болезни гипнотизированного, правда, очень решительный; оно сыграло роль случайных обстоятельств, впрочем, в высшей степени важных, которые заставили мономанию обнаружиться у мономана. Эти два случая, следовательно, аналогичны.

Разве это не близко к поступку человека, который, безумно влюбившись в женщину, встреченную случайно в гостиной, начнет себе открывать в ней всевозможные физические, моральные, интеллектуальные совершенства и убеждать себя, что любит в ней ее таланты и добродетели? Можно ли думать, что игрок, честолюбец или скупой сами

по себе станут менее глупы, если будут хвалить выгоды и заслуги игры, успеха в избрании, финансовой прибыли и какого-нибудь кумира, которому они приносят в жертву свое здоровье, честь и жизнь? Человек, защищающий в кофейне свои политические убеждения, красноречив, логичен и искренен. Его очень бы удивили, если бы доказали, что он монархист или республиканец не в силу превосходных доводов, которые он приводит, но вследствие влияния семьи или товарищества, словом, в силу личных очарований, которые в пределах легковерия и покорности его натуры действовали на него в силу его мозговой организации. Здесь эта организация нормальна, там ненормальна, хотя и в том и в другом случае природа явления не изменилась. Человек со здоровым умом, приобретая собственность или совершая какое-нибудь промышленное или земледельческое дело, покоряется впечатлению, в котором не сомневается. Он думает всегда, что делает хорошее дело, потому что оно ему представляется таким. Следовательно, это самое обыкновенное понятие внушения. Так создана социальная жизнь. Торговля особенно основана на прихоти внушения.

Если принять эту точку зрения, можно сказать, что единственная разница между внушенным поведением разбуженного сомнамбула и обыкновенным поведением всех людей состоит в следующем: внушения, которым нормальный человек повинуется ежеминутно, гораздо многочисленнее и в меньшей степени даются извне; они тесно связаны друг с другом, и оба вместе придают человеку ложный вид самоуправляющегося субъекта. Вследствие перехода гипнотическое состояние в этих двух отношениях неотделимо от обычного состояния. С одной стороны, совместное существование внушений у сомнамбула есть факт приобретенный. «Я могу, — говорит Бони, — во время гипнотического сна внушить субъекту, что он через восемь дней сделает какое-нибудь дело, на другой день внушить ему, что он в четыре дня совершит третье дело, через день приказать ему сделать другое дело в тот же са-

мый день, и все эти внушения осуществятся в назначенное время: они могут существовать совместно, нисколько не мешая одно другому. Впрочем, мало имеет значения, были ли даны эти совместно существующие внушения одним и тем же экспериментатором или разными. Этому есть, однако, известный предел, и я заметил, что когда внушения делаются слишком часто, они взаимно друг другу вредят». Это не все. Внушение может быть неопределенным и состоять, например, из внушенной идеи сделать что-нибудь смешное или почувствовать большое удовольствие. Разве здесь не говорится о действии внешнего примера, толкающего нас на подражание, если не вполне точное, то по крайней мере свободное? Прибавим, что внушение всегда одного и того же экспериментатора не всегда непреодолимо. Субъект часто борется с ним более или менее успешно, и эта борьба часто носит трагический характер, сильно отражаясь на его чертах. Если в нем борются два внушения, противореча одно другому, то необходимо, чтобы одно осталось неисполненным, побежденным более сильным, так что его свобода увеличивалась бы по мере того, как усложнялась бы его зависимость. Доктора Лиебо, а также Бони поражает логика загипнотизированных, их сила и быстрота дедукции. Теперь соединим все эти свойства, увеличим их и спросим себя, в чем гипнотик, у которого мозг полон более или менее продолжительных, более или менее неопределенных, пришедших с тысячи сторон и накопленных с детства внушений, в чем такой, немного путающийся и вследствие этого сильно борющийся гипнотик отличается от разумного и свободного человека, особенно если предположить для дополнения гипотезы, что между этими бесчисленными внушениями отобраны самые сильные, самые древние и самые закоренелые? Я хорошо знаю, что внешние приказания в большинстве случаев в мозгу нормального человека не складываются в словесную формулу, скорее, они являются безмолвными советами, примерами, спасительная или гибельная сила которых скрыта вообще от их авторов. Однако это име-

ет очень мало значения, так как произведенные над гипнотиками опыты показывают, что без различия можно заменить повелительное влияние действия влиянием слова. О гипнотике, который показал нос бюсту Галля, Бони и Ферри спешат заметить, что «когда он останавливается, достаточно сделать вид, что ты хочешь его поманить, чтобы заставить его взять назад свой насмешливый жест. Это очень хорошо доказывает силу примера».

С другой стороны, срок исполнения внушения гипнотиком может быть, как известно, неопределенным. Бони говорит нам, что он видел исполнение в назначенный день внушения, сделанного им за 172 дня перед этим, и он не думает, что этот срок слишком велик. Значит ли это, что внушение, так долго находившееся в клеточках мозга, в момент его исполнения в такой же мере чуждо исполнителю, как если бы оно было исполнено через полчаса после получения приказания? Разве мозг не начинает приноравливаться к нему, не усваивает его благодаря столь долгому инкубационному периоду? Можно ли поручиться, что наступит момент, когда это внушение сделается даже его сущностью; оно войдет в него, наверное, менее глубоко, чем анцестральные внушения, о которых я сказал выше, но довольно существенно, если это начинается в детстве или в первой молодости[1].

Благодаря очень интересным опытам (которые были вкратце переданы в майском номере Revue philosophique за 1886 год) Дельбеф, инициатор в этом деле, стал опять усиленно заниматься гипнотизмом над нормальной жизнью и восстановил «единицу сознания» загипнотизиро-

---

[1] Бони имеет основание говорить, что гипнотическое внушение дает в психологии единственный известный метод опытного исследования. Можно было бы прибавить: и в социологии. Действительно, оно дает не только средство разобщать самые мелкие умственные действия (например, случай *отрицательных* внушений), но и разложить до крайних элементов умственную жизнь загипнотизированного. Благодаря единственной и особой связи с гипнотизером оно обнажает донага элементы социальной жизни.

ванного. Он остроумно дошел до того, что загипнотизированный после пробуждения припоминает сон, который только что ему был внушен, и показал, что это воспоминание появляется даже при таких условиях, когда редко имеет место воспоминание слов. Он показал, наконец, что гипнотический сон, подобно обыкновенному, бывает иногда скорее произвольной (чтобы не сказать свободной) репродукцией ощущений, прочувствованных во время бодрствования, чем логическим приведением в порядок внешнего приказания, которое здесь состоит из жестов или слов магнетизера, а там — из шума, запаха, ощущений температуры или мускулов или из каких-нибудь случайных впечатлений, пришедших извне. Гипнотизм, эта странная поляризация души, является, следовательно, подобно ему, только упрощением. Поистине чудесен, в сущности, не сон, не гипнотическое внушение, а положение нормального бодрствования, этот чрезвычайно запутанный и в то же время столь согласно приведенный в порядок гипнотический сон. Так как ход мечтательных идей точен, внушен внешним впечатлением, то можно сказать, разрушая формулу Тэна, что галлюцинация есть вид чувства, потому что чувство также только группировка воспоминаний случайных ощущений. Единственная разница состоит в том, что во время бодрствования ощущения более многочисленны, более ясны, и их внушения ограничиваются и взаимно исправляются. Когда одно ощущение начинает доминировать над пассивным воображением спящего, реакция, следующая за этим ощущением, то есть появление сна, может и даже должна распространиться на все могущие появиться образы, то есть, как это доказал на опыте Мори, должно появиться преувеличение: например, при самом слабом уколе булавкой спящий во сне получит удар шпагой. Это единственное ощущение, впрочем, в разное время различное, распоряжается, следовательно, всем мозгом спящего; в этом отношении оно играет роль магнетизера. Когда его монополия кончается появлением всевозможных ощущений, которые стремят-

ся вылиться в различные чувства, наступает постепенное пробуждение. Таким образом, ясно, что повседневно сбывается гипотеза, с которой я только что согласился, гипотеза существования массы магнетизеров, конкурирующих между собой.

Из этой гипотезы мы можем вывести много заключений относительно уголовного закона. Сначала мы видим, что ответственность нашего гипотетического субъекта будет возрастать по мере того, как его внушения будут в него внедряться, что загипнотизированный и гипнотизер будут в нем сливаться в одно. Таким образом, действия, исполненные человеком в период перехода от обыкновенного сна к полному пробуждению, требовали бы все большей и большей ответственности. Законодательства, кажется, стоят несознательно на этой точке зрения, когда смотрят ни отца или хозяина как на ответственного отчасти за поступок, совершенный его сыном или слугой[1]. Не надо забывать, что ответственность за поступок, как она здесь понимается, имеет сходство не с этим актом, отныне непреложным, но с подобными ему или одинаково с ним вредными возможными актами, которые желают сделать невозможными или менее вероятными. Чтобы помешать повторению преступного акта его собственным автором или кем-нибудь другим, надо, насколько возможно, поражать причины этого акта. Однако надо поражать моральные и социальные причины, которые состоят из желаний, иначе, чем причины физические или физиологические, хотя эти последние, по правде сказать, обусловливают первые. Карательные меры как лечение собственно социальное должны ограничиться лечением первых причин; вторые требуют других забот. Врач приказывает усыпленному сомнамбулу совершить убийство над личностью, которую этот внутренне ненавидит. Проснувшись, он совершает это преступление. Где виновная воля? Она в лице

---

[1] В казармах жандармов мужа наказывают за погрешности жены. Это немного расширяет принцип.

врача. Социальная причина акта здесь лежит совершенно вне действующего лица. Здесь нет, впрочем, даже физической причины, я понимаю здесь только болезненное состояние действователя. Таким образом, чтобы предупредить повторение подобных фактов, недостаточно еще будет врача посадить в острог или отрезать ему голову, чтобы он больше не мог никого магнетизировать, недостаточно будет сделать то же и с этим субъектом. Надо будет еще отправить сомнамбула в убежище и избавить его от власти других преступников, которые желали бы делать из него свое послушное орудие[1]. Предположим, что его вылечат от его недуга, и что все больные этим неврозом будут также вылечены, тогда тюремное заключение врача будет бесполезно, по крайней мере, насколько оно стремится помешать такому роду преступления. Правда, даже эта гипотеза, объясняющая преступную извращенность, не исключает боязни других преступлений. Несмотря на ее принятие, было бы еще уместно заключать преступника в тюрьму с целью предупреждения рецидива с его стороны и с тем, чтобы скрыть от него позор с целью предупреждения внешнего заражения его примером. Но его пример заразителен только для людей, предрасположенных увлечься им. Если же это болезненное предрасположение было со своей стороны способно уничтожиться, то наказание могло бы без затруднения быть заменено потерей свободы, вынужденным пребыванием в больнице и совершенно не быть позорным. К несчастью, нет никакого специфического средства против этой природной болезни, называемой порочной натурой. Есть только паллиативы, дающие соответственное воспитание, или, что еще луч-

---

[1] Прибавим, что при его опасной болезни следовало бы ему, как, впрочем, и большей части сумасшедших, запретить производить на свет детей. Действительно, в тех случаях, где причиной поступка, возвращение которого надо предупредить, является безумие, повторение этого поступка возможно, кроме привычки, только в силу *наследственности*, а не *подражания*. Запрещение брака правильно было бы признать эквивалентом наказания.

ше, известные преобразования социального строя. Таким образом, пока будет так, надо остерегаться лишать характерного клейма те меры народной безопасности, которых требует проявление преступных инстинктов.

Однако, если мы убийцу-сомнамбула, хотя сам он, совершая убийство, считал себя свободным и способным совершить его в другой раз, удалили в убежище, а не в острог, то почему мы отправляем в острог, а не в убежище его магнетизера? Сам он, правда, внушая преступный поступок загипнотизированному, считал себя автономным, но он ошибался относительно себя. Он также покорился внутреннему импульсу, и что за дело, что это не было приказание медиума, а собрание наследственных особенностей его мозговой поверхности, перешедших к нему от предков? Вот в чем вопрос. Но достаточно отвечать на него после всего того, что было сказано выше. Здесь истинная причина поступка, то есть приказание убить, не является внешней для действующей силы, для магнетизера, она лежит только внутри его и ему свойственна. Этого достаточно. Действительно, здесь дело идет не о свободе, а о тождестве. Мое действие социально принадлежит мне, и, следовательно, помешать его социальному повторению могу только я, когда оно (свободно, впрочем, или нет) благодаря своей психологической социальной причине, воле и желанию, которое оно содержит, и которое связано логическим узлом с моими идеями и существенными желаниями, исходит от меня или от окружающих меня. Я понимаю моих родных, прежде меня бывших, к которым я приноровился с рождения. Оно принадлежит мне только психологически, когда, вызванное приступом безумия, оно имеет свою жизненную причину в моем мозгу, а свою социальную причину, а именно — намерение и решение, содержащиеся в нем, имеет вне моей обычной личности. Есть, впрочем, степени и в тождестве, и даже в несходстве и в различии. Конечно, причины наших действий нам более или менее чужды, более или менее они носят свой особенный характер. Нужно ли, повторяю, на социальные

причины действовать социальными же средствами? В чем состоит эта злая воля, этот постоянный источник новых преступлений, который наш магнетизер носит в себе, если взять ее физиологически отдельно? Она состоит из веры и желаний и прежде всего из более или менее выгодного мнения о том, что этот преступник носит в себе. Надо поражать эту гордость, противопоставляя ей точно противоположное народное мнение, энергичное порицание, которое через подражание всегда ослабляет в известной мере его значение и часто наносит ему ужасный удар. Во всяком случае, это осуждение разрушит его престиж и этим уменьшит его влияние на других.

Я только что сказал, что в глазах судебных властей научный вопрос, исходит ли виновное действие от меня или от окружающих меня, мало значит, когда окружающие и я неделимы. Но надо заметить, что степени этой неделимости очень различны в ходе социальных преобразований, и это лучше всего способно доказать, что социальная ответственность имеет основанием не свободу и даже не причинность в научном смысле слова, а тождество. Дело идет просто о том, чтобы решить, находится или нет причина наказуемого поступка, какова бы она ни была, в недрах указанного социального единства. Что такое это единство? В наше время это личность, индивидуальный организм в его целом, без какого-либо определенного различия между органами, которые его составляют, и особенно между различными частями мозга[1]. Однако часто личность одна брала на себя инициативу преступного действия и исполняла его наперекор бессильной оппозиции всех других. Но в первобытную эпоху, которая еще упорно держится в известных отсталых частях земного шара, социальное единство заключалось в неразрывной связи семейной или племенной группы. Тогда почти так же странно было думать об удалении человека из его семьи или племени и о наложении на него одного, и только на одного, ответственности за его собственные преступления, как теперь обвинять в убийстве или краже осо-

бые изгибы левого или правого полушария мозга злодея, исключая все остальное в его существе. Чтобы составить себе понятие об этом первобытном взгляде, вспомним о догмате первородного греха. Вообразим, что этот догмат нам неизвестен, но что на земле его узнают в первый раз: кого из всего бесконечного рода сочли бы ответственным за грех его первого отца? Это было решено вполне естественно еврейской нацией и другими древними народами, жившими в такое время, когда единственной известной законной личностью, могущей иметь права и обязанности (как очень хорошо говорит об этом Сюмнэ Мэн), была целая семья. Личность эта, впрочем, была бессмертна и ответственна, следовательно, in infinitum за правонарушения, совершенные ее членами. Даже тогда, когда исчезает всякое другое основание веры в это древнее социальное положение, будет достаточно первородного греха, чтобы оправдать его существование.

Разве лишено вероятности предположение, что в то время, когда властвовало это особое криминальное право, находились все-таки умы, довольно выдающиеся, которые, несмотря ни на что, считали единственным автором убийства Петра или Павла, а не всю группу его предков или могущих появиться потомков? Конечно, нет, но тогда прекрасно умели держать этот факт на точке зрения неоспоримости и защищать внутреннюю взаимную ответственность родственников между собой от такого разделения. Точно так же наши алиенисты и эксперты по судебной медицине прекрасно могли бы нам доказать научно, что именно такой-то узелок, лопасть или клетка мозга обвиняемого совершила все зло. Суд вполне основательно откажется входить в эту подробность и сочтет себя вправе отрезать всю голову, содержащую этот узелок, лопасть или клетку. Заметим, что если это обезглавливание правильно наперекор научному анализу, то существуют аналогичные основания оправдывать это очень древнее преследование преступления, распространявшееся целиком на все племя. Некогда разлагать племя — значило бы так-

же входить в запрещенные анатомические подробности окружающего общества, которое слагалось не из индивидуумов, а из племен. И если мы ищем причины этой семейной нерасторжимости, то мы найдем их в том состоянии постоянных войн, которые семейства вели между собой. Еще в наши дни во время войны главная армия является личностью, целиком ответственной в глазах главной армии врага. За жестокий поступок, за выстрел какого-нибудь солдата, нарушающий права людей, все его товарищи подлежат возмездию, которое в этом случае считается законным.

Таким образом, одно является причиной поступка с точки зрения науки, другое — с точки зрения уголовного права. Причина в первом смысле есть одна из сил, дающих основание правосудию, но это только одна из сил. Продолжим предыдущую аналогию. Древняя семья, единая перед лицом врага, имела своих собственных погибших детей, своих преступников, имела чуждые ей элементы. И вот, когда один из них совершал какое-нибудь зло во вред соседнему племени, его старались выдать этому племени со связанными руками и ногами, чтобы предупредить месть всему племени. Этого удовлетворения часто бывало достаточно, так как такой выдачей устанавливалось, что между этой личностью и ее племенем не существовало ничего общего. Но когда алиенист после испытания обвиняемого скажет нам: «Этот человек безумец, и его безумие сидит в такой-то определенной части мозга, откуда я надеюсь его изгнать подходящим приемом», то это значит, что между причиной инкриминируемого поступка и личностью человека нет ничего общего, что одно, правда, заключается в другом, но что одно не владеет другим. В этой гипотезе с точки зрения самого уголовного суда организм индивида является раздвоенным.

Я предполагаю, что безумие неизлечимо и владеет всем мозгом. Как надо понимать социальную ответственность в этой гипотезе? Надо ли говорить, что эти несчастные, очень редко встречаемые на самом деле, мозг ко-

торых попеременно находится под влиянием двух, трех, четырех, пяти или шести различных личностей, подобно трону разлагающегося государства, который кратковременно занимают воюющие монархи, являются самым полным опровержением законного вымысла индивидуального единства и показывают нам в этом единстве почти такую же искусственность и произвольность, как некогда в вымысле семейного единства? Это очень важный вопрос, который я не имею намерения разрешать одним словом. Чтобы отделить преступника от безумного или, беря вопрос шире, социально-предосудительные, заслуживающие наказания акты от не заслуживающих, нужен пробный камень. Все чувствуют, что он один, но что его трудно указать. Попробуем.

Некоторые отрицают это различие. Нам говорят, например, что прогресс идей, уничтожив предрассудки прошлого, на основании которых безумие безумных считали за нравственный недостаток, вполне достаточен для уничтожения и этого существующего предрассудка, на основании которого в злодействах, совершенных в полном разуме, хотя эти поступки, как и поступки сумасшедших, производят особо роковое действие, усматривают нравственный недостаток. Не менее верно, отвечу я, что добровольный поступок, свободный или нет, вытекает из обдуманного выбора, что как таковой он может повториться через подражание, тогда как еще недостаточно видеть пример преступления, совершенного безумным и оставшегося ненаказанным, чтобы самому сделаться безумным, и что, наконец, обществу необходимо, даже с утилитарной точки зрения, отделять поступки заразительные от поступков, лишенных этого важного свойства. Отсюда полное преимущество за безумным, но только не за пьяным человеком, совершающим преступление. Действительно, «сумасшедшим становится не всякий, желающий этого, — как вполне правильно говорит Лелорен — напротив, пьянство доступно для всех». То же самое относится и ко всякого рода quasi-проступкам. Начальник станции

благодаря минутному помрачению памяти, не основанному на невнимательности, которого не избегают даже самые внимательные, бывает причиной столкновения поездов и смерти сотни людей. Непосредственное зло велико, общий испуг громаден. Однако этот несчастный, которого более надо жалеть, чем осуждать, понесет далеко не такое наказание, как автор маленькой кражи со взломом, о котором мир очень мало беспокоится. Почему это? Потому что очень легко можно его повесить или четвертовать, но этим нельзя предупредить в будущем воспроизведение хотя одного из таких нечаянных, совсем не подражательных фактов, имеющих вполне физические и физиологические, а вовсе не социальные причины.

Следовательно, можно было бы остаться утилитарным и избежать таких отступлений от доктрины. Теперь допустим, что, приговаривая к смерти этого начальника станции, в сущности, несчастного, дадут, таким образом, всем начальникам станции в стране полезное предостережение, которое действительно будет способно предупредить столь частое повторение подобных случаев, то есть, например, предупредить смерть десяти лиц. С утилитарной точки зрения казалось бы очень выгодным пожертвовать человеческой жизнью, чтобы спасти этим десятерых. Справедливо, но даже сознание того народа, интересы которого законодатель ставит выше всякой утилитарной логики, возмутится против подобного варварского наказания. Почему? Спросим себя еще раз. Потому что ответственность предполагает причинность и, наверное, тождество, если даже не свободу, что очень спорно. Человек мог бы считаться причиной только таких действий, совершенных им самим или его родными, которые он старался совершить или допустил, чтобы их совершили, или, наконец, склонил кого-нибудь совершить их. Это надо понимать в том смысле, что в известных случаях его можно заранее судить как соавтора тех действий, которые, если допустить их безнаказанность, будут, наверное, совершены в силу подражания, но не тех невольных и потому не зависимых от подражания действий, которые имели бы ме-

сто в этой гипотезе при безнаказанности окружающих и не имели бы его, если бы наказание распространялось на окружающих, потому что тогда такое наказание надо было бы рассматривать как пример, которому не должно следовать. Следовательно, я могу быть с большим основанием наказан в предупреждение тех действий, которые могли бы вызвать подражание моему поступку, но те действия, которые никоим образом нельзя считать подражанием моему поступку, хотя они и исполнены, мне чужды.

Итак, логически я не могу быть наказан на основании этих последних, хотя, впрочем, пример моего непоследовательного наказания на самом деле мог бы помешать их исполнению. Это, может быть, очень тонко, но, по-видимому, такой вывод является единственным возможным решением споров, возбужденных этим щекотливым предметом. Ответственность действующего лица, повторяю я, независимо от действий, которые оно посоветовало, которыми распоряжалось или которые исполняло, где его присутствие, как причины, неоспоримо, независимо также от действий, исходящих от его малолетних детей или его слуг, то есть лиц, отождествленных с его лицом архаическим вымыслом, все более и более отвергается нашими нравами и ограничивается теми социальными последствиями, которые может породить подражательное повторение его действий. Однако ответственность возможна постольку, поскольку действие могло быть воспроизведено самим лицом в силу подражания, то есть постольку, поскольку оно произвольно[1]. При свете этой идеи подража-

[1] Конечно, *я* сложно, но общество, суживая значение своих составных единиц (сначала племени, потом все более и более сокращающейся семейной группы, затем личности), не могло бы опуститься до этого *я* и взять его как общее. Таким образом, все добровольное в личной деятельности доступно социальному развитию, потому что, как очень хорошо показал Рибо, добровольному действию свойственно быть не только простым преобразованием отдаленного сознания, но принимать участие во всей группе сознательных или подсознательных состояний, составляющих *я* в данный момент.

ния все, и преимущественно социологическое познание, становится ясным, сомнительная же идея пользы гасит и путает этот единственный светоч. Этим можно объяснить себе причину того, что с ходом цивилизации участие и значение непроизвольности в человеческой жизни уменьшается, как это показывает беспрерывная замена договоров естественными обязательствами, а законодательной деятельности — правами, основанными на обычае.

Можно ли при столь знаменательном движении уничтожить в уголовном праве разницу между случайным и добровольным как совершенно ненужную и под предлогом социального спасения вычеркнуть из ряда некоторых сил природы наиболее просветительную силу — волю?

Я не хочу более исследовать эти проблемы. Для меня достаточно указать, на каких новых основаниях, несмотря на всю спорность этого вопроса, может быть построена уголовная ответственность. Теперь же перейдем собственно к преступности.

Глава III. ПРОБЛЕМЫ ПРЕСТУПНОСТИ

1. География преступности

Рассмотрим сначала одно наблюдение или pseudo-закон, толкование которого кажется при поверхностном взгляде очень легким. «Кетле, — говорит в своей “Криминологии” Гарофало, — первый статистически доказал, что кровавые преступления увеличиваются в теплых климатах и уменьшаются в холодных. Он ограничил свои замечания Францией[1], но статистика других европейских стран показала повсеместность этого закона. Даже в Соединенных Штатах Америки замечено, что на севере преобладают кражи, а на юге — убийства». Я спорю против того, что это правило не имеет значительных исключений, хотя в известной мере оно верно. Работы Ферри много способствовали доказательству истины этого. Пусть, однако, не слишком торопятся приписывать эту связь одному только влиянию климата. Действительно, заметим, что в том же самом совсем не смягченном климате находящийся на пути к цивилизации народ дает пропорциональный рост хитрой или сладострастной преступности и относительное уменьшение преступности, сопряженной с насилием. Теперь сравним две связи, одну — преступления и температуры, другую — преступления и цивилизации. Одно кажется идентичным другому. Следовательно, на первый взгляд странным кажется то, что прогресс цивилизации имеет такое же точно действие на направление народа, внушенное преступными склонностями, какое имело бы охлаждение его климата. Следовательно,

[1] Дальше увидят, что это наблюдение приложимо к Франции, если исключить Корсику.

цивилизация действует успокоительно на нервы расы, как холод? Мы замечаем, однако, совершенно противоположное. Цивилизованная жизнь, жизнь городская, по преимуществу чрезмерно возбуждает нервную систему, возбуждает в той мере, в какой сельская жизнь ее успокаивает и питает мускулы насчет нервной системы. Цивилизованная жизнь действует в том смысле, как действовало бы не охлаждение, а повышение температуры.

Как же объяснить это? Здесь надо, я думаю, ввести обыкновенное замечание о ходе цивилизации на севере, так научно и искусно разобранное Mougeolle'ом (в его книге, озаглавленной «Статистика цивилизации»). Если это замечание верно, и если, конечно, не станут оспаривать его истинности, то числовое превосходство краж на севере и убийств на юге основано не на физических причинах, но на историческом законе; не на том факте, что север холоднее, а юг теплее, но на том, что север более цивилизован, а юг менее. Самыми цивилизованными в настоящее время странами являются страны с наиболее недавней цивилизацией. Главным образом это страны северные. Зараза просвещения, передаваясь менее мягким и более сильным, менее нервным и обладающим большей мускульной энергией расам, удивляет свет замечательным блеском своего проявления. Ее необыкновенное распространение на девственных землях производит там перемены с еще большей напряженностью, чем в тех местах, откуда она, кажется, эмигрировала, и где, по правде сказать, она сохраняется или не прогрессируя, или даже уменьшаясь. Между другими действиями она уменьшала в своем новом местопребывании жестокую преступность, прежде там свирепствовавшую, и увеличивала вероломную и сладострастную преступность, которая еще недавно была там ниже первой. Статистика того времени, когда север был более варварским, а цивилизация не пропала еще с севера на юг, показала, конечно, что кровавые преступления были чаще в северных климатах, где те-

перь они реже, и вызвала появление закона, прямо противоположного указанному выше закону. Если, например, разделить современную Италию на три пояса — Ломбардию, центральную Италию и юг, то окажется, что в первой на 100 000 жителей в год бывает 3 убийства, во второй — около 10, в третьей — больше 16[1]. Но не сочтут ли вероятным, что в ясные дни Великой Греции, когда на юге полуострова процветали Кротон и Сибари, у каждого северного разбойничьего и варварского народа, исключая только этрусков, пропорция кровавых преступлений могла быть обратной? Действительно, в Италии при одинаковом количестве населения в 16 раз больше убийств, чем в Англии, в 10 раз больше, чем в Бельгии, в 5 раз больше, чем во Франции. Но можно, конечно, поручиться, что в Римской империи было иначе и что дикари-бретонцы, даже бельгийцы и галлы превосходили мягких римлян привычной жестокостью нравов, храбростью и мстительной яростью. По Sumner Maine'у, скандинавская литература указывает, что в эпохи варварства убийство «было повседневным событием» у северных народов, теперь самых кротких и смирных во всей Европе[2].

Корсика в сравнении с Францией дает теперь исключительные цифры убийств из мести, но зато minimum краж. За семь или восемь столетий до христианской эры, когда Этрурия после Карфагена принесла на этот остров свои промышленные и земледельческие искусства, и в то время как Галлия находилась еще в варварском состоянии, на континенте цифра преступлений из мести, этой главной страсти варваров, надо полагать, была не ниже этой цифры на острове.

---

[1] «Криминология» Гарофало.

[2] Тот же контраст заметен в Испании. В северных провинциях среднее число преступлений, а особенно преступлений против личности, ниже числа их в южных провинциях. Может быть, подумают, что во время владычества арабов было то же самое? И сочтут, что тогда, как и теперь, общее число преступлений, сопровождаемых насилием, на этом полуострове было в 4 раза больше, чем во Франции?

Относительно Франции важно отметить, что, вопреки Кетле, она избегла закона указанного отклонения. Пусть посмотрят на прекрасные карты Ивернэ, приложенные к статистике преступлений за 1880 год. На карте преступлений против личности совсем не заметят желаемого сгущения красок с севера на юг, поражает только их чернота близ больших городов, на Сене, у устьев Роны, на Жиронде, Нижней Луаре, на Нижней Сене и на Роне. Разве карта преступлений против собственности рисует нам противоположную предыдущей шахматную доску красок? Совсем нет. Они обе не отличаются заметно друг от друга. Самые богатые департаменты, как и самые светлые, почти одинаковы и в том, и в другом. Заметим, что у Ивернэ собраны данные статистики за 50 лет. Но если бы подобный труд мог быть проделан в XVI веке нашей эры, в то время, когда Arles был большим городом с 100 000 жителей, окруженным лучезарным созвездием римских городов, а Lutece был уединенным местечком, то, можно ожидать, карта убийств вместо равномерных красок была бы гораздо темнее в местностях северных грубых германских племен, чем среди южных романизированных кельтов.

Если во Франции преступность против личности на юге заметна не более, чем на севере, то отношение преступности против собственности в одном и том же департаменте дает место очень интересному замечанию. Только в семи департаментах, все они лежат в горных местностях и отличаются бедностью, число преступлений против личности одинаково и превышает число преступлений против собственности, а именно: в Верхних Альпах, в Савойе, Авейроне, Лозере, в Нижних Альпах, в Восточных

Пиренеях и на Корсике. В остальных 79 пропорция обратная. Имеет ли здесь значение широта? Нет, скорее высота. Но вполне очевидно, что истинное объяснение лежит в социальном положении. Морселли в своем прекрасном труде старался в самоубийстве открыть аналогичное предыдущему влияние широты и даже геологических пород. Но необходимо, несмотря на его достойное

похвалы убеждение, признать недостаточность основания в его предположениях. Посмотрев на его карты, становится ясно, как он сам сознается, что центр Европы превосходит север большим количеством самоубийств и что в центральных частях, в Париже и середине Германии, иначе сказать, в двух континентальных средоточиях нашей европейской цивилизации, лежит центр этих самоубийств. Если третье, Лондон, находящееся на острове, избежало заразы, то, без сомнения, благодаря своему религиозному, традиционному и, таким образом, более оригинальному и менее смешанному характеру английской цивилизации. Что бы ни было, ясно, что географическое распространение самоубийств объясняется социологически, а не географически. Я думаю, что то же надо сказать вообще о распространении преступления.

Я не думаю отрицать влияние жары на усиление жестоких и кровожадных инстинктов. Я знаю, что maximum преступности против личности, то есть кровавых преступлений, падает в данной стране на весну или лето, а maximum преступности против собственности — на осень или зиму. Этот хронологический контраст, очевидно, нельзя толковать так, как я только что толковал аналогичный этому географический контраст. Он ясно показывает косвенное, правда, возбуждение вредных страстей, вызываемое высокой температурой, и аналогичное возбуждение от алкоголя, на что также указывает статистика. Эта причина, следовательно, должна иметь какое-нибудь место в географическом контрасте, но здесь ее покрывает относительная высота цивилизации, имеющая более непосредственное действие[1].

Между этими двумя толкованиями одна только разница — физическое объяснение преступления по мере чело-

---

[1] В этом отношении не самые теплые части, а самые холодные, то есть горы, имеют самую высокую преступность. Например, юг Франции, Восточные Пиренеи, Ардеш, Лозер, не говоря уже о Корсике. Причина этому та, что горные местности самые нецивилизованные.

вического прогресса с каждым днем теряет свое значение, тогда как социальное постоянно делается глубже и полнее. Вот почему сильные морозы, большие засухи и вообще времена года слабее, чем политические кризисы, влияют на ежегодную кривую преступлений, самоубийств, рождений и браков среди городских жителей в сравнении с сельскими. Следует заметить, что алкоголизм влияет на преступность в том же смысле, в каком теплый климат или теплое время года. Но именно эта позорная привычка к пьянству, ставшая возможной с первобытных времен и введенная примером, вероятно, в силу социальных причин распространяется скорее для того, чтобы уравновесить, а не подкрепить это термическое действие. Действительно, в холодное время года, а также в холодном климате пьют больше. Карта пьянства Ивернэ в этом отношении очень ясна (как и его карта рецидива). На ней краски постепенно темнеют по мере того, как доходят до северных департаментов, исключая подтверждающих правило: Пюи-де-Дом, Санталь, Лозер, Приморские Альпы и другие горные холодные, хотя и южные, местности. Следовательно, благодаря все возрастающему на севере алкоголизму распространяется нивелировка преступности на одной широте при помощи климата, на другой — при помощи вина, алкоголя или пива. Можно думать, что эндемическое и традиционное пьянство также сильно толкает северные народы на кровавые преступления, как южные — их солнце. Если же первые чаще склонны к жестокости, если всякий англичанин, например, употребляющий гораздо более алкоголя, в 16 раз реже итальянца[1] бывает убийцей, то этот результат, мне кажется, главным образом основан на пре-

---

[1] Гарофало объясняет эту разницу различием рас. Я думаю, что это опять заблуждение. Национальная привычка, свойственная не исключительно только итальянской расе, то есть привычка к мести, в достаточной мере объясняет насильственную преступность этой нации. Но мне тяжело говорить о Гарофало только с целью противоречия ему, и я пользуюсь случаем, чтобы похвалить основательную глубину взглядов его произведения.

восходстве социальной культуры, что в наше время мы замечаем на севере.

Одним словом, если бы цивилизация дошла до апогея, то можно думать, что влияние времен года и климатов на преступность свелось бы к нулю, и что одни только социальные влияния заслуживали бы исследования. Остановимся на них. Мне могут возразить, что физическое объяснение преступности только отодвинуто в моем воззрении, потому что если меньшая жестокость самых холодных стран основана на их высшей цивилизации, то превосходство этой последней, в свою очередь, объясняется ее движением с севера на юг, за что ответственна, кажется, только разница климатов. Теперь время исследовать ближе этот термический закон истории и рассмотреть, не вытекает ли он, несмотря па свое физическое проявление, из какой-нибудь вполне социальной причины? Прежде всего отдадим справедливость Mougeolle'у за то, что он не пренебрегал ничем, чтобы придать этому закону полную точность и желательную основательность. Проводя на карте земных полушарий четыре или пять главных изотермических линий между жаркими и холодными поясами, он показывает или старается показать, что каждая пара их содержит в себе или даже почти соединяет различные большие центры, где сосредоточивается и откуда распространяется цивилизация в каждую данную историческую эпоху, и что движение этих эпох, этих просветительных очагов, начавшееся от тропиков, вполне совпадает с этими линиями. На одном и том же изотерме в самый древний из известных нам периодов мы видим процветание Мемфиса и Вавилона; позднее — Ниневии, Тира, Афин, первых китайских городов — Нанкина и Гангчей-фу; затем Рима, Константинополя, Кордовы, Венеции; наконец, в умеренном поясе наших дней — Лондона, Парижа, Берлина, Вены и, прибавим еще, Пекина. Сверх этого «распространяется пояс, содержащий в себе цивилизованные части Скандинавии и России, стран, которые последними достигли европейской жизни». В частности,

особенно изотермическая карта бассейна Средиземного моря является подтверждением этого закона. Однако есть и исключения. Например, история египетской цивилизации, развитие которой вопреки общему направлению шло с севера на юг, из Мемфиса в Фивы. На это автор не отвечает ничего или почти ничего. В сравнении с тем тяжелым препятствием, которое представляет из себя ход американских цивилизаций до завоевания, Египет счастливее. В Америке цивилизация, возникшая так же, как и в Старом свете, то есть в жарком поясе, — Гватемале, Юкатане и Табаско, медленно распространяется в территориях, еще более близких к экватору, — в Мексике, в Боготе и Квито. Но нам основательно могут заметить, что движение в высоту избавило здесь от движения в широту, и что это движение не нарушает термического закона. Цивилизация в Мексике и Перу развивалась на плоскогорьях, по крайней мере, от 2 до 3 тысяч метров высоты, где средняя температура была от 15 до 16 градусов. Это исключительное «направление общего хода цивилизации, следовательно, только подтверждает общность термического закона». Автор считает себя вправе заключить, что существует постоянное необходимое отношение между последовательным развитием цивилизации во времени и движением изотермов на поверхности земли.

Это правдоподобно до известной степени, но неопределенно. Приняв участие в этом немного скором обобщении, надо, я думаю, отнестись с полным вниманием к этому достойному научного значения произведению и поставить его на свое место. Существовал ли этот северный путь цивилизации так же, как и ее западный путь, о котором также много говорили? Дорога, в то время как она шла с юга на север, свет к человеческому роду шел с востока на запад, и это движение признавалось не менее роковым до новейших времен, когда, достигнув на своем пути Франции и Англии, оно начало отступать к Германии и России и даже к своим источникам, Италии и Греции и, наконец, к Индии и Японии. Правда, в Америке, составляю-

щей для нас крайний запад, цивилизация, придя с востока, распространяется по ее территории с востока на запад, что может быть блестящим подтверждением тенденции, о которой идет дело. Но что доказывает это противоположное предшествующему и одновременное с ним движение, как не тот тип цивилизации, когда она, окрепнув и вылившись в форму большого цветущего города, стремится распространиться во все стороны, по всем главным направлениям — путем ли внешней и перемежающейся колонизации, на которую всегда обращают главное внимание, или путем внутренней и постоянной колонизации, которую называют основанием новых городов, преобразованием местечек в города и уподоблением столице всех городов и всех уже существующих местечек? Одним словом, она двигалась силой подражания, постоянно действующего в недрах обществ. Возьмите какой-либо из древних городов, находящихся на ваших изотермах, Тир, Вавилон, Афины: всегда во всех отношениях они стремились распространять свое влияние и побеждать, и, действительно, они распространили его и победили. Если чаще всего случалось, что во всех направлениях, исключая северо-западное, лучи их внешнего влияния встречали препятствия, которые мешали зажечь новые светильники, то это основано, без сомнения, на случайных обстоятельствах, которые исчезли в наш век. Как для поляризованного света поляризация является случаем, а распространение сияния — законом и сущностью, так для цивилизации — прямолинейный, узкий и ускоренный ход. Нам не надо скрывать бесконечное и всеобщее распространение властолюбия, которое составляет душу и существенную силу истории. Истина этой точки зрения, наконец, проявляется в наши дни, когда цивилизации идет не только с запада на восток, все более и более распространяя прогресс на пройденные ею страны и особенно на Россию, куда она, начавшись с Франции или Англии, отступает через Германию, но еще и с севера на юг, в то же время усиливаясь, насколько возможно, на севере. Доказательством это-

го являются английская Индия и Ява, Австралия и весь африканский берег Средиземного моря вместе с Египтом, который стал европейским на наших глазах. Благодаря разветвлению зараз во все стороны наша цивилизация возрождает, по всей вероятности, свойственное первобытным цивилизациям качество, и прежде всего качество, свойственное первым языкам, которые с первой мифологией распространились по всем направлениям в большей части света, распространяясь именно с севера на юг. Я хочу сказать об Океании, где луч азиатского гения, освещая остров за островом, совершит свою длинную одиссею среди пирог и дикарей, о которых рассказывает нам Катрфаж. Mougeolle, кажется, думает, что грядущее процветание больших городов, которые затмят Париж, Лондон и Берлин, будет согласно его закону находиться в еще более холодном или менее умеренном, чем наш, изотерме. Судя по этому, неужели цивилизация должна достигнуть своего зенита только у северного полюса? Нет, по всем вероятиям, Россия найдет свою новую столицу, способную затмить Петербург, не на Шпицбергене или в Гренландии; она будет на берегах Босфора. По всему видно, что будущее готовит нашим потомкам большое чудо — воскресение и новый расцвет восточных и южных городов после их долгой смерти. Впрочем, ничего нет проще этой кратковременной необходимости, которой покорилась цивилизация или, скорее, цивилизации в своем столь продолжительном стремлении на север. На самом деле, они должны родиться в теплых странах, у тропиков, там, где более обильные средства оставляли человеку больше досуга, и где более богатая фауна и флора возбуждали его любознательность. Вопреки пословице «Необходимость — мать промышленности», одна красота видов, свойственная теплым странам, а не напряженность потребностей, свойственная холодным странам, могла сначала возбуждать человеческое воображение, если судить о ней по эстетическому характеру ее первых творений, языков и мифологий, откуда косвенно берет начало вся промышленность.

Но чуткий к природе человеческий гений не мог остаться в своей тропической колыбели. Стараясь выйти из нее, он, естественно, подошел к более и более холодным странам, тем более что открытия, сделанные уже в благоприятном климате, позволяли человеку применяться к условиям более суровых или более непостоянных климатов. По всей вероятности, изобретения, например, одежды или жилища, ткацкого производства и шитья, кирпичных заводов и архитектуры, которые сделали возможным пребывание человека в умеренных странах, родились в теплых странах, где было бы можно обойтись совершенно без них. Впрочем, неудивительно, что каждая из этих пересадок была отмечена прогрессом, если принять во внимание, что в каждом организме способность совершенствоваться является привилегией молодости. Во всяком случае, позволительно думать, что в местах, где цивилизация процветает давно, ее роковой относительный упадок и почти насильное изгнание имеют прежде всего социальные причины, между прочим, например, все возрастающее и в конце концов противозаконное повышение цены на землю в тех странах, где население с ходом цивилизации сгущается. Падение в наше время победоносной конкуренции из-за американских земель, против которой не могли бы бороться собственники старого европейского континента, осужденные с тех пор на неизбежную гибель, прежде даже в самое отдаленное прошлое, должно было часто повторяться, но только в самом ограниченном масштабе. Прибавим к этому истощение почвы и расы.

Будем точнее. В прекрасных лекциях «Расширение Англии» Сели удивительно ясно указывает на то, что ход европейской цивилизации к западу в начале XVI столетия был главным образом обусловлен открытием Нового Света, ставшего центром притяжения для Старого Света. В то время Италия падает, потому что океан как великий торговый путь естественно занимает место Средиземного моря. Деятельность, жизнь, благосостояние переходят, таким образом, к Штатам, лежащим по берегу Атланти-

ческого океана, к Испании, к Португалии, к тем частям Франции, которые расположены по берегам моря, к Англии и Голландии, как некогда, в мифологической древности, их считали вечной привилегией народов, живших по берегам Средиземного моря: Египта, Финикии, Малой Азии, Карфагена, Греции, Римской империи, Южной Испании во времена арабов, Прованса и итальянских республик. Здесь уместно подумать, что не увенчайся успехом великие мореплавания XV столетия, ставшие возможными благодаря изобретению компаса, богатство и высокая культура остались бы на неопределенное время связанными с берегами Средиземного моря. Так объясняется западный ход цивилизации в течение трех веков. Прежде ее ход направлялся с запада на восток: из Рима в Константинополь, например, от арабов Испании ко всем христианским народам, теперь же замечается обратное. Что касается одновременного движения цивилизации к северу, то оно также основано на том особом притяжении личной инициативы, которое шло рука об руку с вышеприведенными причинами, а именно: на притяжении некультурного и храброго севера более цивилизованным и обессиленным войнами югом. Отсюда вторжения и как бы просачивания варваров в Римскую империю, ожесточение севера против юга во Франции под предлогом ереси альбигойцев, экспедиции французов в Италию при Карле VIII; прибавим еще крестовые походы. Здесь добыча цивилизовала охотника, тогда как привлекательность и завоевание Америк произвели противоположное действие. С точки зрения распространения просвещения это даже хорошо. Что касается крестовых походов, то снискание рая укрепляло притягательную силу завоевания востока. Тем не менее, все эти притяжения, повторяю я, были кратковременными и, несмотря на их долгое существование, случайными поляризациями просветительного света.

Таковы причины, на основании которых я позволю себе заключить, резюмируя все сказанное, что меньшая преступность северных стран зависит от социально-

го факта, от того, что на севере цивилизация существует уже давно, и что этот факт сам заключает в себе социальную причину, что в нем лежит сила подражательного распространения. Если в Италии разница между северными и южными провинциями с точки зрения кровавых преступлений очень резка, а во Франции она почти не чувствительна, то не потому ли это происходит, что социальная жизнь нашей страны дольше и глубже волновалась в новейшее время, как это доказывает особая степень национального объединения, осуществленного ею?

Я забываю один аргумент a fortiori, который, может быть, имеет свою цену. Я не вижу, почему преступление более, чем безумие и гений, зависит прежде всего от естественных причин, а не от социальных. Если доказано статистикой, что гений и безумие — следствия социальных условий, то мы должны думать с еще большим основанием, что преступление объясняется тем же. Я говорю — с большим основанием, потому что из этих трех аномалий первые две не чужды социальной среде, а третья заставляет нас спорить; следовательно, она зависит от этой среды гораздо более других. Но против безумия невозможно спорить: статистика, показывающая его прогрессию параллельно с прогрессией социальных, точно определенных влияний (городской жизни, образования, холостой жизни и пр.), неопровержимо красноречива. А о гении, например, в науке, пусть прочтут сочинение Кандолля. Со списком членов иностранных корреспондентов различных ученых обществ за два века в руках, распределив их по национальности, религии, профессии или сословиям, он учит нас, что «великое разнообразие причин влияет на творения различных ученых, и что моральные причины (чтобы дополнить его идею, прибавим — социальные) имеют более значения, чем причины материальные». Пример Швейцарии может чудесно обнаружить эту истину. В этой маленькой стране, в целом, цифра гениальных ученых гораздо выше той, которую можно было ожидать от ее слабого населения. В протестантских кантонах

пропорция поднимается до необыкновенной высоты. Почему? Потому что социальные условия, благоприятствующие оригинальному развитию науки (Кандолль точно определил их и тщательно составил для них список), сгруппировались исключительно в Швейцарии и особенно в ее протестантских областях. Значит ли это, что гений не есть дар природы, а безумие — природное несчастье? Нет. В недрах нации с помощью климата расцветают, без сомнения, кандидаты на гения, прибавим еще на безумие и на преступление. Но общество выбирает и посвящает этих кандидатов. Видя, как оно одних ведет, таким образом, в академии или больницы для сумасшедших, мы не должны удивляться, что другим оно назначает путь в острог.

2. Убийство и самоубийство

В связи с предыдущим надо решить вопрос, правда ли, как утверждают самые авторитетные писатели, особенно Ферри и Морселли, что ход самоубийств противоположен ходу убийства, и что первое везде и всегда служит в некотором роде дополнением или противодействием второму[1]? Относительно Omicidio — suicidio Ферри я позволил бы себе высказать сомнения. Этот автор, мое несогласие с которым, может быть, скорее мнимое, чем действительное, или скорее поверхностное, чем глубокое, во втором издании своей брошюры ответил мне одной из самых поучительных графических таблиц, где все элементы проблемы повторены вкратце. Для всех государств кривая убийства противопоставлена кривой самоубийства во все периоды, доступные статистике. И что же? Чем более я изучал эту таблицу, тем менее я был расположен допус-

---

[1] Это значит, что противоположный тезис не был подтвержден, но для одной очень древней эпохи *Cazauvieilh* в 1840 году старался установить, кажется, что число самоубийств и число преступлений, основанных на насилии, всегда прогрессируют и убывают вместе.

тить тезис, который она старалась доказать. Я очень хорошо вижу, что, действительно, соединяя попарно и сравнивая кривые, видно, как одна поднимается, когда другая опускается, и наоборот. Этот факт поразителен своим постоянством в Ирландии и в целом достаточно объясняет обобщение, которое я оспариваю. Но, прежде всего, есть много исключений. В Италии, например, где кривые слишком, впрочем, коротки, чтобы полезно было их сравнивать, понижение кривой убийства в 1868 году совпадает с понижением, а не с повышением кривой самоубийства. В Англии с 1857 до 1859 года, с 1870 до 1874 года обе скорее параллельны, чем обратны, так же и в Бельгии с 1851 до 1855 года и с 1861 до 1864 года. Начиная с 1865 года для Пруссии кривые также скорее параллельны и обе восходящие[1]. А во Франции кривая убийства, горизонтальная и слабо изломанная, в общем соответствует, а не противоречит более заметным отклонениям сильно восходящей кривой самоубийства. Прибавим к этому, что карта самоубийства во французских департаментах, если сравнить ее с картой убийств, вообще не отличается от последней. Совпадение этих двух результатов, одного — во времени, другого — в пространстве, знаменательно.

Я должен указать на то поистине достойное замечания отклонение, которое наблюдается в Ирландии. Обе кривые поднимаются, одна меньше, другая больше. Выше всего поднимается кривая убийства, особенность, которая одна способна показать нам то исключительное положение этой несчастной страны, где бедность так велика, а взаимная ненависть так возбуждена, что ежегод-

---

[1] Пруссия — редкость для цивилизованных государств: в ней убийство находится на пути значительного роста, несмотря на прогресс ее культуры. Это, может быть, последствие социального равновесия Европы (поставленного на место древнего политического равновесия), которое стремится установить уровень преступности у наций с равной цивилизацией. Действительно, Пруссии остается сделать еще несколько шагов по тому же пути убийств, чтобы достигнуть уровня, например, Франции.

но часть населения бывает осуждена пройти через одну из трех дверей: эмиграцию, самоубийство или убийство. Если одна суживается, другие должны настолько же расширяться. Что бы, впрочем, ни было, это исключение на острове, мне кажется, не пример для других стран.

Во-вторых, если бы между убийством и самоубийством действительно было такое уравновешивающееся соотношение, то мы должны были бы видеть, что одно вообще падало бы сразу во всех цивилизованных государствах так же быстро, как другое поднималось. Но известно, что убийство имеет постоянную цифру или почти постоянную, а самоубийство растет с ужасающей быстротой и правильностью. Это показывает, что в данном случае имеет место влияние причины, исключительно свойственной этому печальному явлению, и что причина эта — социального характера. Благодаря этому и многим другим чертам ход самоубийства аналогичен ходу безумия. По правде сказать, даже доказательства указанного отношения между самим безумием и убийством основаны на одинаковых статистических данных. Но доведенный до излишества тезис показывает свою непрочность. Что доказывает это сходство? Что безумие — предохранительный клапан против преступления? Странно было бы, если бы этот непроизвольный предохранительный клапан развивался в такое же время и таким же образом, как самоубийство, которое по большей части является добровольной заволокой, и в этом состоит его двойное дело.

Продолжим. Если бы такое отклонение было в действительности, то надо было бы считать, что некоторые причины, как, например, температура, влияют одинаково на убийство и самоубийство. С возвращением теплого времени года, весны, наблюдается maximum обоих одинаково. Прогрессия убийств и самоубийств одинаково возрастает вместе с возрастом до 30 или 40 лет; потом склонность к преступлению уменьшается, стремление же умерщвлять самого себя не перестает расти до самых поздних лет. Женщины, как нам показал Colajanni, дают в одно и то

же время minimum убийств и minimum самоубийств. Тот же автор не менее правильно замечает, что евреи также достигают этого двойного minimum'а. Наконец, влияние брака, по-видимому, действует на эти две грозные силы в том направлении, что одновременно их ослабляет, вместо того чтобы одну возбуждать, а другую задерживать.

О влиянии времен года и часа дня я замечу мимоходом, что физическое влияние легко может здесь скрывать и маскировать влияние социальное. Maximum самоубийств имеет место не в полдень, а в самые деловые часы полуденного времени, minimum — в полночь. Свет и жар, без сомнения, мало значат в этом случае. Maximum падает равномерно не на самые теплые месяцы, а на май; minimum — на ноябрь. Впрочем, ежегодно кривая самоубийств неизменно в январе поднимается на короткое время. Этот факт нельзя иначе объяснить, как вмешательством социального фактора, в силу которого, минуя конец декабря, увеличение перескакивает к первому января. Положим, что социальный год начинается первого апреля, а не первого января, тогда изменения кривой, о которой идет дело, конечно, будут перемещены. Подобное этому незначительному явлению дает нам ежегодная кривая детоубийств. Здесь мы видим, что число детоубийств увеличивается в девять раз в ноябре после карнавала. Если бы организаторы нашей религии установили пост в октябре, а не в марте, силуэт этого чертежа был бы другой. Статистика показывает, сверх того, все возрастающее по мере хода цивилизации участие социальных влияний и относительное уменьшение физических или жизненных влияний. Что касается самоубийства, например, расстояние между maximum и minimum, о котором я только что говорил, по крайней мере во Франции, уменьшается, то есть теперь зимой убивают себя пропорционально больше, чем прежде, летом же — меньше. В больших городах это отклонение слабее, чем в деревнях. В Италии оно сильнее, чем во Франции. Из всех влияний природы только одно по мере движения цивилизации вместо того чтобы пропасть, вы-

ступает резче, — это влияние пола. Числовая разница между самоубийством мужчин и женщин стала сильнее у более цивилизованных наций или классов. Во Франции, например, городские женщины составляют 0,18 всей суммы, тогда как деревенские дают 0,20. То же самое и в Италии, Пруссии, Швеции, Норвегии, Дании. Следовательно, цивилизация совсем не стремится сравнять оба пола. Она, я думаю, принадлежит преимущественно мужчинам, и вот, может быть, почему она в сущности так антипатична тем, кто ею больше всех пользуется, — поэтам, артистам и таким по существу «женственным» умам, как Руссо и Шатобриан.

Legogt в своем добросовестном произведении между самоубийством и эмиграцией установил совершенно противоположное отклонение. В Дании самоубийство из года в год уменьшается по мере того, как увеличивается эмиграция, в Англии же эмиграция очень сильна, а самоубийство очень слабо. Во Франции замечается противоположное. В Германии исключительный рост самоубийств с 1872 до 1878 года совпадает с прогрессивным уменьшением эмиграции. Вот пример легко объяснимого соотношения. Обратное, но не случайное отношение могло бы действительно существовать в социальной жизни только между двумя дополняющими друг друга течениями, то есть двумя течениями, отвечающими на одну и ту же нужду различными средствами. Что несчастный, не будучи в силах переносить лишения и мучения, эмигрирует, чтобы не быть убитым, или лишает себя жизни, не имея возможности эмигрировать, это понятно. Но какой общественной нужде удовлетворяют убийство и самоубийство? Разве необходимо, чтобы известное число людей обречено было на гибель от своей собственной руки или от руки другого?

Положим, у нации все преступные инстинкты одинаково сильны; тогда, без сомнения, между различными отраслями преступлений и правонарушений, например ме-

жду убийством, кражей, мошенничеством и нарушением обычаев, была бы такая тесная солидарность, что рост одного непосредственно возмещался бы пропорционально уменьшением всех других. Почему так? Потому что не только всякого рода злодейства берут начало из одного и того же безнравственного источника, распределяя его между собой, но преследуемая ими цель в широком смысле у всех их одна и та же. Убийца, как и вор, мошенник или старый волокита, добивается или запрещенного наслаждения, или недозволенного способа наслаждения. Различны только приемы: убийца убивает, вор влезает в окно или разбивает стекло в раме, stuprator насилует ребенка. С этой точки зрения на кражу, мошенничество, ложь, злоупотребление доверием, даже насилие и посягательство на целомудрие надо смотреть как на истинные предохранительные клапаны против разных видов убийства. Иначе сказать, если кражи, мошенничества, подделки подписей и насилия среди данного народа становились вдруг реже, и их труднее становилось совершать, то, вероятно, среди него учащались случаи убийств. Наоборот, если эти случаи вдруг учащались, убийства становились реже. Это было бы так, если бы при резком изменении в социальных условиях сила преступных наклонностей оставалась неизменной. Но когда это преобразование производится медленно, энергия преступности имеет время увеличиться, скрываясь под видом предохранительного клапана. В наше время, например, во Франции и во всей Европе число убийств остается почти то же, что и полвека назад, несмотря на большую легкость, с какой теперь могут брать имущество другого и доставлять себе всевозможные удовольствия при помощи тысячи различных средств, ложных реклам, анонимных обществ, шантажа и других новых изобретений. С легкой руки Ласенера и Картуша преступная изобретательность заставила отнести к устарелым способам насильственные вымогательства и грязные средства. Из этого можно вывести следующее заклю-

чение: так как увеличение и беспрестанное нашествие этих отводных каналов тяжкой преступности, называемых кражей, мошенничеством, коммерческими подлогами, проступками против обычаев, недостаточно, чтобы понизить числовой уровень главного течения, называемого преступлениями против личности, то, значит, поток стал сильнее, значит, презрение к жизни другого, нечувствительность к чужим страданиям, эгоизм и жестокость, как говорят оптимисты, достигли существенного прогресса. Пусть наступит первый большой кризис для опровержения этого заключения!

Можно ли сказать о самоубийстве, что его цель хотя немного аналогична цели убийства? Почему она не аналогична также цели вора? Правда, самоубийство есть одна из форм невыносимого отчаяния, как убийство — одна из форм неуживчивого эгоизма. Но развитие эгоизма и развитие отчаяния не совпадают. Первый может расти без уменьшения второго, но различные формы, в которые каждый из них может облечься с ходом социального прогресса, могут совпадать между собой, как я это только что показал на преступном эгоизме. То же самое можно сказать и об отчаянии. Действительно, достаточно ли прогрессии самоубийств во всех цивилизованных государствах для доказательства того, что цивилизация увеличила бремя человеческого отчаяния? Нет. Она дает не более права на такое заключение, чем понижение тяжкой преступности там, где оно естественно дает право верить в действительное повышение нравственности, если преступность поднялась в равной пропорции. Устраним эти два заблуждения и сбережем для цивилизации этот излишек чести и это оскорбление. Вообще, бывает так, что благодаря двум самостоятельным преобразованиям она приучает к преступлению и несчастью и стремится заставить одержать верх не жестокие формы преступления, а кровавые формы несчастья. Этот факт носит случайный характер и, может быть, зависит от промышленного и ан-

тихристианского характера нашей европейской цивилизации. Предположим цивилизацию, где преимущественно развиты религия, искусство и в слабой степени промышленность, нечто вроде итальянского Возрождения; очень возможно, что ее влияние, напротив, раздражит порывы гордости, мести, бурной страсти и даже подавит смелые порывы уныния, участит убийства и сократит самоубийства. Действительно, те, кто теперь лишают себя жизни, тогда пойдут в монастырь и там будут домогаться нирваны или искры угрызения совести. Подобно тому, как те, кто прежде скрывался бы в кельях, теперь лишает себя жизни. Было время, когда люди под давлением горя, изнемогая от стыда, единственное открытое и дозволенное религией и обычаями убежище находили в стенах монастыря. Теперь, по мере того, как дверь туда закрывается, открывается другое, черное, но глубокое убежище. Вот почему самоубийства растут в обществах, цивилизующихся по-европейски или, скорее, освобождающихся от религиозной узды. Это не зависит от того, что там не растут убийства, это зависит от уменьшения в них религиозных склонностей. Эта причина, скорее, влияния климата, может служить объяснением редких случаев добровольной смерти в южных странах, где власть религии не уменьшилась. Самоубийство замечательно редко, как заметил Морселли, бывает среди лиц, посвятивших себя религии. Не надо забывать, что древние римляне часто лишали себя жизни, и что бич добровольной смерти мог бы эндемически распространиться и в Италии, где в настоящее время он гораздо менее интенсивен, чем прежде. Но древний политеизм допускал самоубийство, а христианство его запрещает. Англия, хотя и получила цивилизацию главным образом из Германии и во многих отношениях похожа на Римскую империю, но для нее было достаточно сохранить христианские нравы, чтобы принимать только слабое участие в господствующей болезни.

В течение нашего столетия прогрессия самоубийств постоянно и быстро поднимается вообще во всех государ-

ствах Европы, исключая Норвегию. Можно ли приписать это явление физическим или физиологическим причинам? Очевидно, нет. Ни климаты, ни расы заметно не изменились. Без сомнения, разница расы, после разницы в религии, — превосходное внешнее объяснение различного участия, какое принимают в общей прогрессии разные европейские нации, принадлежащие, впрочем, к одной религии. Немцы, а особенно саксонцы, очень склонны к самоубийству, фламандцы довольно мало, славяне еще меньше, кельты почти совсем не склонны. Кроме того, среди них католики имеют в этом отношении большее преимущество, чем протестанты. Чтобы еще более сузить физиологическое влияние, надо ли отметить Данию, которая среди скандинавских народов исключительно отличается очень сильной склонностью к самоубийству? Правда, в Нью-Йорке цветное население дает пропорцию добровольных смертей в 15 или 16 раз меньше белого. Здесь влияние расы может казаться громадным, если только вместе со мной не посмотреть на это скорее как на действие старого прошлого нашей цивилизации, ставшей конституционной. Во всяком случае, к какой бы расе ни принадлежал человек, он «никогда не лишил бы себя жизни, — как правильно говорит Морселли, — если бы жил далеко от людей и если бы не участвовал в слабостях своих ближних». Это место уважаемого статистика против желания самого Морселли достаточно доказывает мою преимущественно социологическую точку зрения и показывает, что при сознательном отношении к влияниям природы непозволительно ставить их на одну линию с социальными влияниями. Действительно, первые действуют только тогда, когда вмешиваются вторые. На человека изолированного, отвлеченного от сношения с другими действие естественных причин, толкающих на самоистребление, было бы безрезультатно. Они приняли бы другое направление. Как бы ни было слабо социальное влияние, но в сравнении с физическими и физиологическими влияниями оно

является побудительной причиной, потому что оно непосредственно. Легкое движение руки стрелочника, а не могучая сила пара устанавливает поезд на путь, который он выберет. Но совсем иная вещь — пропорциональная контрибуция каждого народа этому вторгающемуся злу, иная вещь даже это вторжение, этот ход вперед. На вопрос, почему самоубийство везде или почти везде прогрессирует, несмотря на то, что до некоторой степени оно согласуется с расовыми особенностями, можно ответить только ссылаясь на социальные причины. Среди этих последних экономические причины могли играть только слабую роль, если правда то, что благосостояние и довольство распространялись и прогрессировали в одно время с этой сильной эпидемией убийства. Политические причины также должны быть вычеркнуты, что доказывается той правильностью, с какой этот бич проходил через все периоды спокойствия или кризиса. Остаются только причины собственно социальные, причины в некотором роде утробные, составляющие беспрерывную и незаметную растительную жизнь обществ. Всякий раз, как перед нами окажется правильно восходящий ряд статистики, мы с уверенностью можем сказать, что он передает нам подражательное распространение, умственное и нравственное заражение человека человеком, то есть в данном случае постепенное распространение новых идей, которые покрывают и становятся на место древних верований. Так объясняется более частое повторение самоубийств не только в северных обновленных странах в сравнении с южными, связанными с традициями, но также среди более просвещенных высших классов в сравнении с более несчастными низшими классами и в городской среде сравнительно с деревнями.

В высшей степени легко понять то соотношение, которое отметил Жак Бертильон в своем прекрасном «Демографическом исследовании развода и прекращения сожительства». Констатировав возрастание этих семейных процессов во всей Европе, он ищет причину этого возрас-

тания и, как хороший статистик, по очереди сравнивает числовые результаты своего исследования, полученные сравнением рас, классов, возрастов и эпох, с множеством других категорий цифр, например, с цифрами, выражающими эмиграцию из деревень в города, частое повторение браков или пропорцию незаконных детей. Но между этими данными нет никакого отношения, если бы оно даже и казалось возможным. На первый взгляд одно сравнение обнаруживает непредвиденное сходство. Карта разводов и карта самоубийств представляют «поразительное сходство». Одни и те же причины действуют одинаково на эти два явления, столь чуждые одно другому. Они одинаково чаще бывают в городах, чем в деревнях, у образованных классов, чем в недрах необразованного населения, у немцев, чем у славян, и т.д. «Среди четырех скандинавских народов только Дания не дает этого странного исключения[1] для разводов и для самоубийств». Картина показывает, что странами, где мало, много, чрезмерно много самоубийств относительно цифры их населения, являются именно те, в которых мало, много или чрезмерно много разводов и прекращений сожительства. Это правило «подтверждается с большой точностью, если сравнить между собой различные части одной и той же страны», например, швейцарские кантоны и французские департаменты. «В швейцарских кантонах всегда насчитывается много разводов и также много самоубийств». Наоборот, там, где мало разводов, мало и самоубийств[2]. «На юге Франции прекращения сожительства редки, также редки и самоубийства. В северной части Луары прекращения сожительства часты и настолько же часты самоубийства. Однако на севере

---

[1] «Существуют два исключения, — говорит Бертильон. — При ближайшем исследовании эти исключения становятся чисто кажущимися и подходят под общее правило».

[2] Это различие очень существенно. Вспомним, на самом деле, громадное расстояние, отделяющее католические кантоны от протестантских, — насчитывается пять разводов в Виллиссе, например, а в Шафгаузене более 100.

Бретань, Фландрия и Артуа составляют исключение; прекращения сожительства там редки. То же исключение и для самоубийства. Эти две карты похожи между собой и даже в своих деталях».

Это странно тем более, что карта и кривая разводов буквально повторяют карту самоубийств, а потому между убийством и разводом должно было бы существовать отношение, противоположное воображаемому отношению между ними. Развод сам по себе является, следовательно, заместителем убийства. Какая странность!

Отделим, однако, в разводе, как выше в самоубийстве, причины, объясняющие различное участие разных стран или классов в числовом росте, от причин, отвечающих за этот самый рост. С одной стороны, при первом взгляде на проблему мы не должны удивляться, что различные наследственные или традиционные, жизненные или национальные условия передаются вдруг и одинаково различной силой необходимости освобождения, когда дело идет об освобождении от гнета жизни или брака. С другой стороны, если я имел основание объяснять растущий прилив самоубийств так, как я сделал это выше, по крайней мере в большей части, если этот прилив действительно в широкой мере основан на постепенном ослаблении религиозной узды и традиционных предрассудков, то не надо удивляться, что развод растет в тех самых странах и классах, где учащается самоубийство, так как нерасторжимость брака и неприкосновенность жизни суть два члена одного и того же credo, которое подтачивает с каждым днем сначала свободное исследование, а потом свободную мысль[1]. Я прибавляю, что эта точка зрения довольно утешительна: ведь прогрессия самоубийства, может быть, не дает пра-

---

[1] «Мы видели, — говорит Бертилльон, — *громадное влияние* религии на частое повторение развода». Он прибавляет, правда: «она действует в том же смысле и на самоубийство, но гораздо слабее». Это *гораздо слабее* очень спорно и приложимо самое большее к различному участию разных стран в прогрессии самоубийств, а не к самому факту этой прогрессии.

ва утверждать о прогрессе отчаяния, а прогрессия прекращений сожительства и разводов не может, конечно, быть достаточной для доказательства того, что люди стали менее счастливы в семейной жизни.

Однако само уменьшение веры и предрассудков не объясняет ни увеличения самоубийств, ни увеличения разводов. К этому надо прибавить, я думаю, две другие причины, растущие на наших глазах: алкоголизм и сложность отношений. Алкоголизм везде прогрессирует, его участие в самоубийстве громадно и все возрастает. Оно возросло, по словам официального отчета за 1880 год, до 483 на 100. В общем, оно стало в пять раз больше, тогда как влияние любви становится все менее и менее ощутительным. Это влияние пьянства показалось бы еще более сильным, «если бы, — как замечает Ивернэ, — в него включить самоубийства, приписываемые умопомешательству, которые в действительности происходят от злоупотребления напитками». Можно ли подобные самоубийства назвать преобразованным убийством? Что касается умножения отношений между членами наших цивилизованных обществ вследствие прогресса передвижения и прессы, то оно усилило и укрепило заразу примера. Кажется, что соединение этих трех причин вполне объясняет все статистические факты, а особенно частое повторение самоубийств на севере, где чрезвычайно сильное потребление алкоголя и полная эмансипация совести встречаются с величайшей плотностью городского населения.

С помощью этих трех ключей можно также решить одну из самых загадочных проблем, поставленную самоубийством на войне. Как могло случиться, что во всех странах армия отдает минотавру самоубийства пропорционально гораздо большую дань, чем остальное население, даже очень большую в сравнении с городскими жителями, которые, в свою очередь, сильно превышают сельских? Это может казаться странным. Однако зна-

чительное число самоубийств среди населения городов нельзя объяснять ни крайней распущенностью, ослаблением всякой узды и дисциплины, царящими в городах, ни страшной дороговизной жизни, ни дурной гигиеной и громадным числом болезней. В самом деле, армия всякой нации есть самое дисциплинированное, самое авторитарное, самое организованное, самое здоровое и законное общество, потому что для него выбирают самых сильных людей во цвете лет. Оно, наконец, более всех свободно от нищеты, потому что содержание ему обеспечено. В этом отношении армия представляется нам хуже больших центров. Не скажут, я надеюсь, что закон отклонения между убийством и самоубийством применим и здесь. Если верно то предположение, что убийство другого предохраняет от самоубийства и vice versa, то, конечно, вполне возможно, что военная жизнь с ее обязательными, законными и патриотическими, но от этого не менее кровавыми убийствами исцеляет цивилизованного человека от его роковой склонности к самоуничтожению. Она производит действие, прямо противоположное этому. Можно ли сказать, что войны редки, и что когда они вспыхивают, самоубийства среди военных уменьшаются? Без сомнения, во время революции замечается уменьшение самоубийств и проступков: для статистики это вполне очевидно. Впрочем, разве в мирное время не учащаются дуэли и кровавые драки в казармах, а не вне их? Напрасно буду приводить строгость военной службы: по мере ее смягчения самоубийства среди военных начинают свирепствовать сильнее и особенно проявляются среди офицеров. Но подумаем о том, чем является казарма для большей части рекрутов, то есть для всех тех, кого взяли с полей, и даже для части городских жителей. Сначала она является внезапным и могучим освобождением от религиозных и традиционных предрассудков, чем для ребенка является гимназия. Благодаря тому, что она должна внушить душе солдата новую религию sui generis, новый, присущий во-

енным вопрос о чести, она должна начать с освобождения его от его обычаев и старых идей. Corpora non agunt nisi soluta, говорили старые химики, — всякому соединению предшествует разложение. Во-вторых, ни для кого не тайна, что вынужденное бездействие в жизни полка способствует невоздержанным привычкам. Молодой крестьянин в деревне пьет вино только в воскресенье; на действительной службе он пьет водку каждый день, как только узнает, что офицер сел к столу в кофейне. С этой точки зрения, правда, во французской армии заметно улучшение с 1870 года. Надо ли еще прибавлять, что в последние годы пропорция самоубийств среди военных постепенно уменьшилась наполовину, и этот результат, может быть, основан, с одной стороны, на истощении первой из предыдущих причин, на том, что освободительный характер казармы сглаживается по мере того, как деревня становится более свободной, а солдат начинает вести жизнь менее изолированную от нашего нивелированного общества. Наконец, если и есть среда, в которой люди всегда соприкасаются друг с другом, где благодаря замечательной плотности социального тела социальная жизнь представляется исключительно, даже чрезмерно напряженной, где вследствие этого воспламеняющее действие примера распространяется с громадной силой и быстротой, то это, конечно, среда военная. В ней ни один акт горя или героизма не может проявиться без того, чтобы не вызвать подражания.

Каково бы ни было, впрочем, данное нами объяснение прогрессии самоубийства за последнее время, мы можем все-таки заключить, что на нее все более и более начинают влиять социальные причины преимущественно перед всеми другими причинами, что она берет свое начало в эволюции, в историческом преобразовании, в отчаянии, и что она не связана с пропорциональным уменьшением преступлений против личности сравнительно с преступлениями против имуществ.

3. Будущее преступления

Теперь время объяснить этот последний общий факт и остановиться на проблемах, связанных с ним. Попытавшись понять, почему наша цивилизация влияет на преобладание кровавых форм отчаяния, спросим себя, почему она способствует и предпочитает не кровавые формы проступка, не сопротивляясь, впрочем, и другим формам? Служит ли это явление необходимой принадлежностью всякой цивилизации, находящейся на пути прогресса, или является только кратковременным и второстепенным свойством нашей? Вот сложные, но столько же трудные для определения, как и для разрешения, вопросы.

Если верно то, что перед человеком лежат два больших пути, между которыми всякому приходится выбирать, — крутой путь честолюбия и гордости — добродетели убийцы и ровный путь удовольствия и тщеславия — обманчивые черты, то можно было бы подумать, что всякое общество, так же как и всякая личность, выбирает между этими двумя положениями — химерой славы и действительностью авторитарной власти или осязаемым удовольствием и очевидным равенством. Можно было бы подумать, что всякому народу позволено развиваться в одном из этих направлений, развивать в себе гордые характеры и сильные убеждения или изобретательные таланты и пленительные идеи, предрассудки или вымыслы, заблуждения или ложь, красивую расовую ненависть, прекрасные кровавые преступления подвига и мести или вожделения, зависть, ремесла и алчность. Но история, кажется, показывает скорее то, что всякое увеличивающееся племя, вышедшее из дикого состояния, должно начинать с того, что взбирается по первому из этих двух путей до самой высоты, где остается собственно в варварском состоянии, и затем, цивилизуясь благодаря бесконечным превратностям, спускается более или менее быстро на второй. Я, однако, склонен думать, что при переходе от первобытной дикости к вар-

варству была если не глубокая и полная деморализация, как предполагает Candolle, ссылаясь на вероятность, то, по крайней мере, было сильное проявление жестокости и вместе с тем храбрости, что должно было увеличить убийства. Апогей преступности надо, следовательно, отнести не к самому отдаленному прошлому, но к героической эпохе народа. Когда Ломброзо говорит нам, что кровавые преступления есть возвращение к дикому состоянию, мы должны с ним согласиться только в том, что они напоминают варварство.

Но заметно ли действительное улучшение нравов при переходе от варварства к цивилизации? Candolle думает так, но говорить об этом было бы слишком[1]. Остановимся на том действительном смягчении нравов, которое вызывает неоспоримое социальное, если не нравственное улучшение. Неоспорим тот факт, что, несмотря на числовую остановку, убийства, кажется, немного сокращаются в наш век. Взглянув на это ближе, ясно, что в наше время преступность, оставаясь по числу без изменения, локализуется и укрывается в трущобах городов, в грязном трюме судна нашей цивилизации, в подпочве нашего здания. Это становится очевидным при взгляде на графические кривые, по которым Bournet, например, сравнивает обвинения за преступления против лиц и собственности в городах с обвинениями в селах. Города становятся преступной фонтанелью деревень. Они морально снимают с последних пену, а интеллектуально снимают с них сливки. Однако чтобы охватить это поразительное явление, надо проследить его за значительный промежуток времени. Страны мести, Корсику и южную Италию, можно рассматривать в этом отношении как островки переживае-

[1] Допуская даже, что цивилизация морализует, в чем со своей стороны я не сомневаюсь, все-таки можно спросить, было ли у нее время разрушить растлевающее, как говорят, действие, очень длинного древнего периода и возвратить нас к нравственному уровню наших первых прародителей. Изменение нравов и нравственности известно.

мого варварства среди нашей цивилизации, хотя она все более и более заливает их своим приливом. Но благодаря крайне высокой цифре их мстительной и жестокой преступности, а также крайне низкой цифре их сладострастной и коварной преступности они составляют полный контраст со странами, вполне обновившими свою жизнь.

Но уменьшились ли убийства благодаря прогрессу сожаления? Нет, так же как кражи, злоупотребление доверием и ложь не увеличились от прогресса эгоизма. Все просто объясняется постоянно возрастающим сластолюбием наших нравов: рост детоубийств[1], последствие прогресса разврата, так же хорошо объясняется этим, как и уменьшение убийств из чувства чести, этого предрассудка, плохо согласуемого с необузданной любовью к удовольствиям; рост проступков против собственности так же хорошо объясняется, как посягательства на целомудрие. Вор и мошенник все более и более наслаждаются жизнью. Дыхание разрушительного сладострастия в нашем сердце сильнее благости[2]. Никто не избегает давления этого бурного ветра; нас всех оно затронуло, а некоторых даже ниспровергло. Растущее число падений, названных проступками, может служить мерилом возрастающей силы общего толчка. Все великие цивилизации, кажется, окончились у этого почти крайнего предела мудрости или счастья.

Доказывает ли постепенное исчезновение родовой мести и вооруженной руки уменьшение жажды мес-

---

[1] Рост детоубийств, хотя и довольно слабый, важен как знак падения нравов, потому что при этом стыд, связанный с незаконным материнством, уменьшается вместо того, чтобы увеличиваться.

[2] Открытые *Pall Mall Gazette* соблазны не представляются исключительными в нравственности нации, может быть, справедливо считаемой на континенте самой непорочной, и особенно в своих цивилизованных классах. Чрезмерное нервное возбуждение и ослабление мускулов, действие развития городской жизни, доводят до нимфомании и приапизма. Более ранняя, более продолжительная, более свободная и более бесплодная любовь — по таким признакам узнается повсюду, и в нации, и в классе, успех цивилизации. Смотрите у Тэна в *Ancien Regime* об аристократических нравах в XVII веке.

ти? Она, скорее, изменила свой вид. Если месть армий во время войн менее жестока, а месть политических партий стала только более ядовитой, то, глядя на беспрерывное распространение этой притворной, но жестокой злобы, я не удивляюсь, как криминалисты оскорбляются словами преследование преступника именем суда, которые еще употребляются некоторыми адвокатами, опоздавшими отдать эту дань веку. Довольно пушечных выстрелов из-за плетня; но в ответ мы видим трусливые доносы, скандальные процессы и потоки клеветы на словах или в печати. Возможно, что стали менее чувствительны к простым оскорблениям и к чести, но меньше ли страдают от этого интересы? Помимо всего этого семейная ненависть является отеческим долгом. Забота о том, чтобы избежать будущее зло, не думая о настоящем, есть чувство очень утилитарное, но мало эстетическое. Оно показывает скорее прогресс предусмотрительности, который следует отмечать после достижения прогресса благосостояния. Нужно лучше рассчитывать. Увеличивающаяся любовь к удовольствиям должна была бы дополняться возрастающей боязнью горя или мучения.

Таким образом, я стал бы считать итальянских криминалистов слишком строгими к собственной нации, если бы очень высокая цифра ее убийств заставляла их краснеть от стыда. Надо думать, что большая часть этих убийств внушена привычкой, как у нас дуэли, и что если итальянские убийцы названы преступниками, то наши дуэлисты почти так же заслуживают этого эпитета. Родовая месть есть убийство, предшествующее объявлению войны, чем она глубоко отличается от настоящего убийства и чем она почти схожа с войной. «На Корсике убийства распространены больше, чем где-либо, — говорил Мепти, — но никогда вы не найдете низкой причины в этих преступлениях». Можно то же сказать об Италии и об ее пылких убийствах. Заметим, что в ней много убийств, но зато детоубийства редки. В 1880 году в Италии насчитывается 82 преступления последнего рода против 184, совершенных

во Франции, хотя пропорция незаконных рождений у наших соседей гораздо больше.

Нет, если нравы смягчились, это не значит, что человек стал лучше. Старались показать, что в противоположность действительному или мнимому положению в животном мире борьба за существование в результате заставляет в наших коммерческих обществах переживать самых слабых, хуже всех одаренных и самых ленивых. Это спорно, но известно, что военная борьба имела последствием как во время цивилизации, так и во время варварства торжество самых грубых, скупых и наименее добросовестных наций. Как почти всегда важен в нравственном отношении побежденный для победителя: египтянин для гиксов, грек для римлянина, галло-римлянин для германца, англосакс для норманна времени Вильгельма, араб для турка, даже китаец для татарина! То же можно сказать и о политической борьбе, где выгода coeteris paribus до крайности свободна от всякого нравственного правила. Такое положение существует везде, от Индии — где, по словам Lyelle, чистые и честные кланы Radjpoutes'ов, например, вытеснены самыми нечистыми кланами, вроде Minas'ов, которые являются убежищем для искателей приключений, и были бы еще более вытеснены, если бы не было английского владычества, которое этому является помехой, — до нашей Европы, где власть переходит в руки выборных людей. Если, однако, нравственный прогресс произошел в смысле постепенной гуманизации, несмотря на войну и борьбу за существование, то на это повлияли внутренние, а не внешние причины.

Эти внутренние причины берут начало в самой сущности социального существования как такового, и мы не станем их разбирать. Объяснение проступка достаточно нам их подскажет. Можно ли действие назвать преступным только потому, что оно оскорбляет чувство, среднее между жалостью и справедливостью? Нет, если общественное мнение не считает его таковым. Вид резни на войне возбуждает в нас больше ужаса, чем вид одного уби-

того человека; мы больше жалеем жертвы набегов, чем жертвы кражи; однако генерал, отдавший приказание совершить эту резню и грабеж, не является преступником. Дозволенный законом или недозволенный характер действий — например, убийство в состоянии необходимой обороны или из мести и кражи, совершенные пиратами или на войне, — устанавливается господствующим уважаемым мнением членов той сознательной группы, в которой это действие имеет место. Во-вторых, акт, запрещенный этим мнением, если он совершен во вред члену этой группы или даже группы более обширной, становится дозволенным вне ее пределов.

Этот двойной принцип так же легко подтверждается среди цивилизованных людей, как и в недрах диких племен, что указал еще Тайлор. Только с прогрессом цивилизации расширяется социальная группа, мнение которой владеет совестью индивидуума и устанавливает свой нравственный закон, а социальная группа, границы которой кладут предел полю применения этого неприменимого вне ее границ нравственного закона, расширяется еще быстрее. Расстояние между этими двумя группами становится громадно среди очень образованных людей, нравственность которых, вращаясь в узком круге отборного человечества (квинтэссенция многих прошлых или современных великих наций и цивилизаций), создана ими из обязанностей в отношении всего человечества, даже всех живых существ. Если в низших кругах это расстояние гораздо меньше, то все-таки оно не перестает увеличиваться. Дикарь занимается только своим маленьким племенем и считает себя связанным некоторыми обязанностями только в отношении своего и некоторых соседних племен. Афинянин до Сократа понимал честность только в афинском смысле слова и в пределах Пелопоннеса или Греции. Римлянин империи, получивший свое нравственное вдохновение из Рима и из Афин, распространял свои нравственные отношения на все римское. Христианин средних веков повиновался нравственному кодексу уже очень

обширного общества, кодексу всех христианских народов, и, несмотря на свой ужас оказаться неверным, признавал в себе обязанности ко всему человеческому роду, а иногда даже применял их на практике. Однако слишком часто в феодальную эпоху главные правила христианства определялись и искажались в каждом деле местными традициями, царящими в нем, так сказать, нравственным провинциализмом, который в нем нагромождался. В то время христианин редко стыдился убивать или грабить мусульманина или еврея, иначе — еретика и схизматика. А теперь француз, обладатель еще более сложной морали, в одно время и христианин, и классик, и новейший человек, эхо Рима, Афин, Иерусалима, Парижа и всей цивилизованной Европы, считает себя обязанным уважать личность и имущество полуцивилизованных наций и варваров, хотя, по правде сказать, его поведение с африканскими арабами, с аннамитами Кохинхины и с воинственными племенами островов показывает прискорбное ослабление нравственного смысла, как только он переступает далекие границы своей расы и цивилизации.

Теперь, как совершилось прогрессивное расширение двойного концентрического круга морали? Конечно, благодаря непрерывному лучеиспусканию подражания от человека к человеку и медленной ассимиляции, которая в результате является источником новых симпатий?[1] Это распространение окружающих примеров, столь же необходимое, столь же постоянное в социальной жизни, как физически необходимо распространение световых или звуковых волн, всегда ведет за собой победу некоторых кратковременных форм цивилизации. Вследствие общей нивелировки (в наше время европейской, а в другие эпохи азиатской) члены различных наций, находящихся в одина-

---

[1] В XV веке в некоторых областях Италии, *куда не проникала культура,* сельские жители неизменно убивали всякого иностранца, попавшегося им в руки. Эта привычка существовала особенно в отдаленных частях неаполитанского королевства (*Burckardt*).

ковой атмосфере цивилизации, склонны считать себя социально соотечественниками, хотя они и чужды политически. В силу привычки они затем начинают немного больше уважать даже те народы, которые еще не подверглись заразе. Продолжительное влияние подражания совершило этот громадный нравственный прогресс. Неправильно видеть в нем действие внутреннего улучшения и появление более глубокого чувства справедливости, внутреннюю перемену, которая, если и есть в действительности, то является следствием, а не причиной этого прогресса. Если бы какой-нибудь переворот уничтожил наши железные дороги и телеграфы и похитил у нас их тайну, если бы какое-нибудь большое федеральное движение разорвало на тысячу кусков единство наших больших государств, и если бы мы, таким образом, опять стали редко сноситься друг с другом и находились бы в уединении у себя на месте, как три или четыре века тому назад, то нравы, идеи и привычки в каждом округе стали бы обособляться, и мы увидали бы, может быть, что войны даже на европейской территории опять стали бы такими жестокими, какой была Тридцатилетняя война, города были бы разрушены, женщин бы стали насиловать, и все это совершалось бы сообразно с правами людей[1].

Итак, какими благодеяниями, даже нравственными, мы обязаны изобретателям в области промышленности

[1] Нецивилизованный человек, живя уединенно в своей маленькой корпорации, стоит в стороне от мира. В его глазах иностранец не имеет почти ничего человеческого, это — добыча; убить его — значит поохотиться; ограбить — сорвать ягоду в невозделанном месте. Действительно, для нецивилизованного человека его племя, его города — то же, что для нас великая европейская семья. Мы так же виновны, убивая европейца или грабя его, как может быть виновен он, убивая или грабя человека из своего города, своего племени. Но разве мы человечнее в отношении европейцев, чем нецивилизованные люди в отношении своих родных или соседей? Вот в чем вопрос. Что касается наших отношений к иностранцам в настоящем смысле этого слова, то есть к варварам или дикарям Африки, Америки или Океании, то я еще раз повторяю, что они суть убийство, грабеж и всевозможные гнусности.

или в других областях, которые отчеканили и превратили в монету изобретательные и полезные идеи, тотчас же пустив их в ход? Одно из таких благодеяний было, без сомнения, необходимо, чтобы заставить нравственность выйти из ее семейной колыбели, из того первого круга, в котором она была заключена даже прежде, чем стала достоянием племени. Дело идет об обычае, бывшем в силе у многих диких, варварских или полуцивилизованных народов, который состоял в том, что для скрепления союза договаривающиеся смешивали несколько капель своей крови и потом вместе пили этот ужасный напиток. «Этот отвратительный способ, — говорит Тайлор, — достоин уважения и удивления с этической точки зрения. Действительно, прогресс цивилизации все более и более расширяет круг взаимных обязанностей и привязанностей; в истории человечества наиболее важным является факт открытия торжественного обряда, распространившего за узкие пределы семьи обязанности и чувства братства». Этот способ понимания нравственного прогресса как следствия распространенных подражанием открытий составляет, как видно, мою главную точку зрения. Она допускает тесную связь нравственного прогресса с прогрессом промышленности и науки, которые основаны на умножении счастливых изобретательностей[1]. В каждом из них надо различать группу более или менее логических и полезных открытий, сделанных независимо друг от друга на разных точках земного шара, от более или менее широкого и глубокого успеха этих открытий.

---

[1] Часто бывает достаточно открытия, даже чисто научного, чтобы иссяк известный источник преступлений. Например, вполне вероятно, что открытия современной химии по большей части способствовали очень значительному уменьшению отравлений, ставших *преступлением людей невежественных*, тогда как в XVII столетии оно было принадлежностью всех людей. Причина лежит в том, что это прежде самое безнаказанное преступление в наше время считается среди злодеев самым опасным.

Цивилизация владеет самой связной из всех этих групп и, ускоряя свое раздробление, укрепляет свою систематическую связь.

Верно, что цивилизация сама по себе делает людей нравственными; отсюда следует даже, что, доведенная до своих крайних пределов, она должна в конце концов всасывать проступок и до некоторой степени уничтожать порождаемую ею преступность, как некоторые печи — свой дым. Действительно, вообразим такое общество, где труд, приспособление и однообразие достигли своего предела; где, с одной стороны, все элементы, составляющие его цивилизацию, находятся в полной гармонии, противоречия верований и несходства нужд уничтожены; где, с другой стороны, сходство его членов друг с другом дошло до полного прекращения раздоров, — ясно, что там почти никогда не появится ни преступление, ни истинный проступок, то есть считаемый таковым общественным мнением, которое будет[1] относиться снисходительнее к некоторым, на наш взгляд, преступным актам и будет приспособляться к их непреодолимому частому повторению. Таким образом, такое общество, по крайней мере, надолго сохранилось бы чистым, как его раса; оставаясь изолированным, оно не имело бы ни коммерческих, ни военных сношений с беспокойными элементами различных цивилизованных обществ. Точно так же, следуя медицинской

[1] Во всякой стране наиболее легким считается именно то преступление, которое чаще всего там встречается, на юге, например, убийство, на севере — кража. Было в древности время, когда игра была общей страстью, и обманывать в игре не считалось бесчестнее прелюбодеяния во всякое время или в наши дни политического отречения. Это есть и будет всегда неучтивостью, вызываемой сильной и распространенной страстью. Мы знаем, таким образом, что в северной Италии суд присяжных, всегда верное эхо общественного мнения, слабее обвиняет кражи, чем убийства, и его снисходительность обратна снисходительности юга Италии. Французский суд присяжных подчинен тем же изменениям. С точки зрения силы подавления, повторяем, это является именно должной противоположностью.

паразитарной теории, нормальный организм, свободный от всякого ядовитого, получаемого извне микроба сам по себе никогда бы не дал плохой почки, а тем менее болезни. Но прежде чем достигнуть идеальной чистоты, общество, чтобы идти по пути прогресса, должно увеличить свои внешние отношения, обновить и умножить бесчисленными, а иногда и несвязными приливами свой багаж открытий, которые порождают самые непримиримые системы и программы и производят необыкновенное возмущение сознания: отсюда внезапное и кратковременное усиление проступков. Проступки являются в некотором роде накожной сыпью социального тела: будучи иногда признаками тяжелой болезни, они показывают, что полученные извне, от соседей, чужие идеи и нужды вступили на время в противоречие с национальными идеями и нуждами. Вот, может быть, почему, исследовав старательно различные карты преступлений и проступков против лиц и против собственности во французских департаментах, будут поражены тем, что на всех картах самые светлые оттенки приходятся на департаменты центра, исключая больших городов, а самые темные распределяются, напротив, в приморских областях и вообще на границах, то есть в областях, более всех открытых для иностранного влияния и беспокойных нововведений[1].

Что бы ни вышло из этого предположения, верно то, что для большего понимания значения преступности не надо забывать за преступлением и проступком, зарегистрированными статистикой, также и полупреступления, полупроступки, обычные нарушения и оставшиеся не на-

---

[1] Этот факт подтверждается и относительно Испании. По исследованиям *Limeno Agius*'а, прибрежные провинции вместе с северными дают самую низкую среднюю всевозможных преступлений и проступков, *delitos u faltos*. Но надо сказать, что те и другие провинции одинаково являются самыми трудолюбивыми, богатыми и просвещенными частями полуострова, и что большие гавани и скопления населения, редкие в Испании, здесь не уничтожают своим развращающим влиянием, как это бывает у нас, благих действий труда и довольства.

казанными нарушения закона, которые распространяются среди наций, находящихся в брожении. Эмбриология проступка, которой основательно занимается школа позитивистов, должна быть изучена так, как понимаю я, то есть надо доходить до преступления, начиная с первых и самых легких индивидуальных отклонений в строго однородной среде[1], а не прямо начинать с первых краж или убийств, совершенных нашими предками — животными, хотя это последнее исследование имеет, конечно, свой интерес. Но если бы можно было всегда добираться до социального источника всякого проступка, то можно было бы видеть, что началом брожения, о котором идет дело, является всегда ввоз промышленных или интеллектуальных новшеств. Ясно, например, что введение протестантского исповедания в католических странах в XVI столетии глубоко всколыхнуло старую веру и ввело в этих странах две противоположные между собой морали, повредив на короткое время нравственности. Так называемые революционные идеи занимают в наше время то же самое место. Может быть, спасительное? В добрый час.

Очевидно, не слишком уместно вздыхать над ростом нашей преступности. Нам не следует, основываясь на соображениях Полетти, уверять себя, что мы опровергли предыдущее. Но моя точка зрения еще более утешительна и, несмотря на глубокую разницу, близко касается его точки зрения. Он ошибается, я думаю, уверяя себя, что сумма бесчестного труда связана с суммой честного труда, и что быстрое развитие последнего в наш век объясняет рост

---

[1] Собор в Латране советует епископам в своих пастырских объездах тщательно следить и «доносить на людей, ведущих особую и отдельную от большей части верных жизнь». Ничто лучше этого текста не изображает связи между привычкой и моралью во всяком установившемся обществе. Аристотель в своей «Политике», кажется, предсказал предписания латинского собора. «Старательно смотрите, — говорит он, — за частным поведением граждан, любящих нововведения. Назначьте должностное лицо для надзора за образом жизни всех тех, кто не отвечает своим поведением взглядам правительства, и т.д.».

первого, хотя и очень небольшой. Честный труд, являясь подражанием большинству, стремится укрепить общую однородность и не может в действительности возбуждать нечестный труд, находящийся в расколе со всеми. Но обратим внимание на то, что каждая новая ветвь честного труда, каждый новый приток его реки является результатом какого-нибудь изобретения, которое, в свою очередь, получило начало от другого раскола. Возможно, что между этими расколами, которые своим обилием дают начало нашему благополучию, и числом преступных расколов в нашу эпоху существует некоторая связь. Эмансипация личности могла бы, конечно, быть источником обоих. Гораздо более изобретательное и гениальное, чем преступное[1] (преступное, может быть, отчасти потому, что оно гениально), наше просветительное брожение ищет выхода. Будем надеяться, что оно найдет его!

Прежде всего будем надеяться, что оно распространится в конце концов по всему земному шару и, несмотря на то что будет стоить жертв, навсегда достойных сожаления, совершит всемирную ассимиляцию. Это случится только тогда, когда будет возможно возрождение преобразованного золотого века. Если на самом деле всякая цивилизация самим своим появлением повышает нравственность, то есть исключает противоположные ей принципы, и если деморализация в старом обществе могла обыкновенно происходить только от ядовитых прививок благодаря соприкосновению с внешним влиянием, то из этого следует, что постоянство цивилизации и порожденной ею особой нравственности может существовать только при начале и конце истории: при начале, когда город-

---

[1] Можно утешать себя по той же причине растущим числом сумасшедших. «Ежегодно, — говорит Морселли, — в Старом свете насчитывают около 300 000 сумасшедших, и большая часть из них падает на Францию, Германию и Англию, именно на самые изобретательные страны. Остается узнать, рождается ли в этих странах каждый год достаточное число талантов или гениев для того, чтобы вознаградить потерю. Я сильно боюсь, что нет.

ские очаги цивилизации были отделены друг от друга значительными расстояниями, непреодолимыми в то время, как звезды на небе, так что каждый из них мог остаться неизменным; при конце, когда после долгого периода войн и революций, побед и очищений, называемых историей, на земле будет существовать только одно государство и только одна цивилизация.

4. Ложь и преступность

Исторические причины не должны мешать нам оценить невыгодное значение современного, поистине громадного роста коварной и сладострастной преступности. Этот рост указывает не только на распущенность чувственности, но и на уменьшение правдивости и искренности. Из всех условий, способствующих развитию даже грубого и жестокого проступка, самое фундаментальное — бесспорно, привычка ко лжи. Даже убийца должен лгать, чтобы скрыть свои приготовления перед судьей; он лжет чаще всего, хотя иногда, гордясь своей удалью, и делается искренним, но все-таки хвастает тем, что не сознается. Ложь играет здесь, однако, только второстепенную роль, напротив, в краже, мошенничестве, нарушении доверия и лжи она является необходимым элементом. Проступки же против обычаев живут ею не только в силу необходимости, но и с удовольствием; подобно ужу сластолюбец скрытен и угрюм от природы; обольститель лжив. Г-жа Бовари Флобера есть одно из его самых проницательных наблюдений; она лгала подобно тому, как течет вода из источника. Точно так же, когда путешественники объясняют нам, что некоторые дикие или варварские племена, например, куруба, алфаны, бады, конды, ведды, гезиды, друзы, отличаются своей честностью или чистотой нравов, мы не должны удивляться, что в то же время они отличаются чрезвычайной правдивостью. Любовь к истине, хотя бы несносная, связана с любовью к справед-

ливости, даже если она предосудительна. Как бы там ни было, вообразите себе в теперешней Франции абсолютно искренние типы, подобные янсенистам XVII века, теперь уже угасшие; на таких людях дурные страсти, толкающие на нечестность, на безнравственные соблазны, на прелюбодеяние, могут испытывать себя, но они рушатся перед этим препятствием, перед непреодолимым отвращением скрывать истину. Разве квакеры в высшей степени честны потому, что вполне искренни или vice versa[1]? В этом можно сомневаться. Они представляют собой кульминационные пункты человеческой честности, откуда вытекает, может быть, и наша, пожалуй, очень широкая, но очень слабая честность! Проявятся ли они в наше время, если прошлое не передало нам этих образцов? В наше время, напротив, доминирует интеллектуальная жизнь. После того как мы видели, что среди самого глубокого заблуждения и невежества рос пламенный культ истины, только еще более удивительно видеть падение правдивости среди лучезарного сияния открываемых истин. Это явление вдвойне странно. Оно ставит проблемы, которые заслуживают того, чтобы их выяснить.

Так как преступность, в особенности негрубая, связана с ложью, то научный вопрос, может ли проступок, главным образом, утонченный, быть побежден, сводится к вопросу, может ли ложь быть уничтожена; другими словами, бывают ли случаи и такие отношения в жизни общества, когда ложь, я не говорю, — полезна, но необходима, и можно ли надеяться, что эти случаи и отношения исчезнут или просто уменьшатся с ходом цивилизации.

Только один лжец может отрицать, что ложь полезна и даже очень часто полезна в жизни. Трудно решить, что способствовало победам Ганнибала, Цезаря и Наполеона, их гений или недобросовестность, и что дало Карфагену и Венеции власть на море, их недобросовестность или деятельность. Но можно сомневаться в необходимо-

---

[1] Наоборот (*лат.*)

сти лжи. Однако какой наставник не сочтет себя вправе ответить ложью на нескромное любопытство своего ученика? Какой министр во время войны не считает долгом своей совести сокращать депеши, обнародовать ложные бюллетени и держать в заблуждении военный энтузиазм своей страны? Сколько свободомыслящих отцов считают себя обязанными отравлять своих сыновей и дочерей по меньшей мере катехизисом! Конечно, детям говорят, обманывая их, что всегда надо говорить правду; но они немедленно догадываются, что это, так сказать, правило выдерживает бесчисленные исключения и что его насилуют всякий раз, как оно сталкивается с важнейшим интересом индивидуальной или социальной жизни. Наука любви с ее комплиментами, столь же лживыми, как ее разговоры, есть наука лжи, по словам Овидия. То же относится и к науке управления, по словам Макиавелли. Достигала ли когда-нибудь любовь действительного успеха без обмана, политика без клеветы, религия без лицемерия, дипломатия без измены, дело без хитрости и война без засады? Была ли когда-нибудь большая слава без малейшего шарлатанства? Бывают случаи, когда простое молчание в ответ на вопрос было бы уже компрометирующим ответом, и где надо или открыть важный секрет, который хранят, или прямо солгать. Сама честь повелевает клятвопреступлением: она приказывает любовнику клясться, что он никогда не был в интимных отношениях с женщиной; сыну, жене, родителям говорить ложные слова, могущие спасти жизнь одного из них. Словом, мораль всех людей абсолютно защищает ложь в тех важных обстоятельствах, о которых только что была речь, и тех неважных, когда, например, своего слугу заставляют ответить, что нет дома. Таким образом, употребление на деле этого правила ограничивается случаями вроде очень плохо определенного и могущего бесконечно суживаться умеренного пояса. У цивилизованных людей, «если кто-нибудь, — говорит Кандолль, — переходит за обыкновенный предел маленькой лжи и грубостей, начинают кричать ка-

раул, но предел этот довольно неясен». Хотя и неясный, но он существует. Однако неприятно то, что с ростом числа мошенников он становится более благоприятным для мошенничества, потому что мнение, устанавливающее демаркационную линию между честным и бесчестным, является особым судилищем, на которое влияют даже обвиняемые, и оно становится в силу этого более снисходительным к тому роду злодейств, который наиболее часто встречается, то есть к тому, к которому было бы уместно отнестись строже. Как доказательство можно привести решения его верного эха — суда присяжных. Следовательно, глядя на числовой рост краж, мошенничеств, коммерческих и супружеских обманов в нашу эпоху, уместно подумать, что публика в этом отношении все менее и менее становится строгой, и что цифра этих проступков была бы еще выше, если бы не было этого ослабления общественного мнения.

По-видимому, можно заключить, что мало найдется исторических истин, так хорошо доказанных, как всеобщность и необходимость лжи, более или менее, впрочем, преобразованной и утонченной. Если, действительно, существуют два способа лжи, во-первых, — говорить то, чего не думаешь, а во-вторых, — говорить то, в чем убежден и делать вид сомнения, то придется сознаться, что даже ученому человеку не приходится говорить без лжи и одного раза из десяти. Предположите государство, где все без исключения — священник на кафедре, журналист за письменным столом, депутат или министр на трибуне, выборный маклер в деревне, отец и муж в своем доме — говорят, пишут и внушают в точности то, что думают и как думают, и посмотрите, найдется ли там хотя одно из установлений, на которых покоится общество, — семья, религия, управление. Могло ли бы оно продержаться хотя один день при современном состоянии нравов и умов? Удивительно ли после этого, что нет, может быть, ни одной даже философской системы, которая не опиралась бы на искажение истинных фактов?

Но вопрос в том, стремится ли цивилизация развивать дух лжи или, наоборот, ослаблять его. Здесь надо выделить много причин. С одной стороны, научный прогресс, расширение договоров, которые, по замечанию Sumner Maine'а, все более и более становятся свойственной нашей эпохе юридической формой, и, наконец, социальная нивелировка стремятся укрепить вкусы и правдивые привычки. Что касается последней из указанных причин, заметим, что на самом деле люди более склонны лгать тем, с кем у них мало общего, хотя это и безразлично: лгут с меньшим сомнением ребенку, чем человеку сложившемуся, женщине, чем равному себе человеку, чужестранцу, чем соотечественнику, дикарю, чем европейцу. Следовательно, чем больше мы похожи друг на друга, тем больше должна быть в нас склонность к искренности. Тем больше, следовательно, мы виновны в том, что мы не таковы. Во-вторых, беспрерывный прогресс, о котором я сказал выше, то есть постепенное расширение поля нравственных отношений между людьми, предполагает расширение добросовестности, по крайней мере в пространстве. «Доверие, приобретенное и заслуженное в большом, — говорит Sumner Maine, — открывает легкий путь недобросовестности в малом». Я думаю, что здесь не надо тщательно отделять внешнее развитие искренности от его внутреннего укоренения. Без сомнения, в древних текстах «акты самой измены часто вовсе не порицаются, а иногда даже одобряются. В гомеровских поэмах лукавая хитрость Улисса прославляется как добродетель, подобно благоразумию Нестора, постоянству Гектора и храбрости Ахилла». На самом деле эти качества стремятся к одной и той же цели, так как это качества преимущественно военные. Двойственность и измена Улисса были военной хитростью и в качестве таковой заслуживали похвалы в отношении к открытым врагам и к чужестранцам, которых надо было остерегаться в ту эпоху, когда чужестранец, если он не был гостем, являлся несомненным врагом, и когда ограниченная власть города, а иногда и племени определяла сфе-

ру отношений морали и права. Остается узнать, был ли Улисс в отношениях со своими согражданами, которые не были для него ни врагами, ни соперниками в сражениях и убийствах, менее искренним, чем наши теперешние генералы или политики. С другой стороны, цивилизация по самому существу своему наталкивает нас на противоположное. Сначала, ставя промышленный и коммерческий режим на место военного, она ослабляет дух: чтобы быть везде правдивым, надо признать это. Она возбуждает алчность, которая увеличивает обман, фальсификацию и всевозможные хитрости. Пусть обратятся к ядовитому мнению об этом Спенсера, которого нельзя заподозрить в пристрастии, зная его особенную любовь к индустриализму. Теперь кстати заметить, что прогресс предусмотрительности, связанный с разбираемым изменением, способствует развитию расчета и хитрости. Во-вторых, политическая борьба следовала за религиозными спорами, столкновение интересов — за столкновением убеждений, творцы — за духовниками, забота об успехе — за правдивостью во что бы то ни стало. Сметливость, если рассматривать ее как искусство не быть никогда дураком, развивается, таким образом, в ущерб свойству никого не вводить в заблуждение.

В-третьих, освобождение умов от догмата расширило горизонты для индивидуума, что в результате увеличило необходимость отыскать средство для того, чтобы дать возможность стольким врагам жить вместе. Наконец, всю эту фальшь покрывает обязательная притворная вежливость, отличительная черта очень давно цивилизовавшихся народов, ставших от этого более лживыми. Таковы китайцы. Куда только не проникнет гипербола некрологии, например, это лицемерие, уничтожение которого было бы скандалом! Если альцесты становятся более редкими, значит, искренность есть причина увеличивающейся необщительности. Увеличение личных сношений и, следовательно, разговоров развивает клевету, а клевета — двойственность. Действительно, если бы свет ввел

у себя закон не пожимать руки и не оказывать хорошего приема человеку, о котором только что говорили неприятное, то кончилось бы тем, что он запутался бы во всех своих чувствах. Напротив, если бы были люди, говорящие хорошее о всех своих близких, то их всеобъемлющая благосклонность не могла бы долго держаться без постоянной перемены их мнений. Быть прямым и ловким (каким был Дюкло, по словам Руссо) — таков социальный идеал; но это почти квадратура круга.

Итак, на основании статистики проступков можно сказать, что вредные для искренности влияния в наше время одерживают верх. С первого взгляда довольно трудно понять, как истина может распространяться во время уменьшения правдивости, а безопасность прогрессировать во время понижения добросовестности. Но увеличение безопасности в странах, находящихся на пути к цивилизации, основывается на более правильном функционировании старых учреждений под влиянием более или менее лживого мнения, а не на неизменном характере лиц, поддержанном традиционными заблуждениями и великими призрачными надеждами. Бесполезно прибавлять, что личное доверие не могло бы пасть ниже известной точки, не оскорбив даже безличное доверие. Затем, если с трудом добытая ничтожным меньшинством искренних искателей истина начинает все более и более пробиваться сквозь густую атмосферу ложных новостей, корыстных напыщенных речей и хороших пожеланий, которые каждый день наполняют 99 печатных листов из 100, то это значит, что противоречивые заблуждения должны, наконец, истребить друг друга, а взаимно друг друга подтверждающие истины их пережить. Это зависит также от возрастания противодействующих первому факторов, так как необходимость защитить себя от обмана развивается еще скорее необходимости обманывать другого. Чтобы определить прогресс или упадок народной искренности, надо обратить внимание только на отношение нелгущих людей к людям, находящим во лжи интерес. Впрочем, бо-

лее и более точные и многочисленные исследования, которые со всех сторон, и из книг, и из газет, и от друзей, обрушиваются на цивилизованного человека, являются первыми причинами его лживых теоретических или практических действий, являются сетями, которые он старается набросить на публику, и чем богаче эти причины, тем шире раскидываются эти сети. Впрочем, публику, хотя и жаждущую исследований и точных и определенных фактов, привлекают иллюзии и успокоительные или вкрадчивые идеи. Ей дают то, чего она требует. Замечательно, что человек — посмотрите на ребенка — родится очень склонным верить всему, что ему говорят, и не говорить того, что он думает. Ничто более не поощряет ложь, как эти две первобытные склонности.

«Ни солнцу, ни смерти, — говорит Ларошфуко, — нельзя смотреть прямо в лицо». Пожалуй, он прав относительно солнца и смерти — их ослеплением нельзя пренебрегать без опасности для общества и даже для личности. Можно думать, что это известное качество иллюзий — изменяющееся со временем и местом — необходимо для общества, чтобы ему удержаться в нормальном положении, и что должно его всеми силами удерживать постоянными проповедями, речами адвокатов, газетными статьями, лекциями и всевозможными уверениями, прямо лживыми или только ошибочными. В этом последнем случае отчасти влияют прежние обманы; например, иногда так бывает в религиозных случаях. Если эта идея может многим казаться парадоксальной, то, следовательно, заблуждение не могло бы уменьшиться у нации без прогресса лжи, пока не изменились бы ее главные условия. Эту игру коромысла лжи и заблуждения было бы, я думаю, легче доказать, чем обратный, так сказать, ход самоубийства и убийства, о котором мы говорили выше. Например, в каком-нибудь государстве есть известная доза особой религиозной веры, неизбежная для сохранения иерархии и конституционной гармонии; по мере того, как в просвещенных умах является противоречие между этой верой и научными истинами,

эти умы начинают отбрасывать ее; за ними постепенно идут и все взрослые, но детей продолжают обучать в том же духе и с тем большей энергией, чем меньше убеждены в истинности этой веры. Впрочем, учреждения, которые особенно поддерживает религия, и обязанности, которые она налагает своими мистическими обещаниями, требуют, когда она начинает колебаться, новых подпор официальных катехизисов, догматов на заказ и великолепных нравоучений. Впрочем, возможно ли отсюда вывести заключение, что надо идти назад? Нет, потому что, несмотря на величайшую заслугу религиозной иллюзии, которая состоит в распространении обмана в тот период, когда она чистосердечна, она все-таки теряет почти всю свою силу, как только ей приходится лгать для своего сохранения. О политической иллюзии можно сказать то же самое. Есть minimum обаяния, без которого правительство не могло бы обойтись, и которое первоначально основывается на народных суевериях и легендах с окраской божественного права, которое некогда составляло главное и жизненное заблуждение обществ. Раз оно пропало, надо искать других оснований для авторитета, но это всегда фикции, только более искусственные, то есть более рациональные и умышленно составленные. Нужны официальные историографы для приспособления истории, нужны журналисты для искажения действительных фактов, нужно много актеров, чтобы успешно играть обширную похвальную комедию, все равно — ограниченную или всемирную, и заставить себя отдавать продиктованные приказания или комплименты, выдавая их за свои. Все это необходимо из опасения не иметь успеха; или все это необходимо, по крайней мере, до того дня, когда народ, достаточно напившись вина лжи и вполне впав в бред заблуждения, будет в состоянии невинно обходиться без виночерпиев. Патриотизм, другая важная и крайне необходимая иллюзия, надо сознаться, поддерживается таким же образом. Сначала он зиждется на изолированности каждого народа и на нелепой идее, что каждый из них правовернее своих сосе-

дей. Эта неизмеримая коллективная гордость, удвоенная глубоким презрением к иностранцу, позднее, когда народы ближе увидят друг друга, и в школе, и в семье с умыслом поддерживается полуискренними, полушарлатанами панегиристами, которых называют шовинистами. Шовинизм — тот же патриотизм, который, чувствуя свое падение, кричит сильнее: «Да здравствует отечество!», подобно тому, как «клерикализм» есть религиозная вера, которая, чувствуя свою слабость, тем более энергично говорит о себе и рисуется, а правый или левый радикализм есть политическая вера, которая, чувствуя свою смерть, реагирует усиленным догматизмом на возрастающий сепаратизм. Вот три современные формы особого соединения шарлатанства и фанатизма в одинаковых дозах, чему прекрасной иллюстрацией служит древность — и в особенности, если верить Ленорману, Пифагор. Всякая переходная эпоха должна пережить подобное явление.

Без сомнения, много форм лжи исчезло, но они выгодно замещены. Замечательно, что в детстве всех народов мы находим колдовство, затем — и это уже утонченность — авгуров, аруспициев и оракулов (не только во всей классической древности, но еще у ацтеков; такое совпадение знаменательно), потом ложные чудеса и т.д. В VI веке до Рождества Христова появляется орфизм. Но «как бы для более верного продолжения традиции Эпименидов, Аристеев, Абарисов и Замолксисов, этих особенных лиц, обаяние которых отчасти было основано на обмане, явился подделыватель, Ономакрит, желавший учредить новую секту» (Жюль Жирар «Религиозное чувство в Греции»). Тот же автор говорит нам об «Орфеотелестах», которые, запасшись апокрифическими письмами Орфея, сына Муз, и Музея, сына Селены, «стали стучаться у дверей богатых, чтобы предложить им свое заступничество, произнося за них искупительные формулы и обряды и отпуская грехи всей семьи, начиная с предков и кончая маленькими детьми». В средние века торговали поддельными мощами, позднее продавали индульгенции. Извес-

тен успех декреталий. Итальянское Возрождение (смотри Бурхардта) имело своих астрологов, а мы все до начала этого столетия имели своих колдунов. Теперь процветают медиумы и хиромантики. Но даже если бы исчезли и они, политики сумеют баланс лжи склонить в нашу пользу.

Мне скажут: как могло случиться, что ложь стоит в обратном отношении к заблуждению, которое является последствием лжи? Но я отрицаю, что заблуждение родится обычно от лжи, а ложь обычно ведет за собой заблуждение. Религии, например, редко создаются истинными обманщиками. Обман играет в них большую роль не в период их роста, но в час упадка, и только, впрочем, ускоряет его. Основатели религии или апостолы чаще всего бывают энтузиастами или очень искренними и верующими мечтателями. Только вера родит веру. Правда, может быть, точнее было бы сказать, что энтузиазм убывал по мере роста лжи для того, чтобы количество иллюзии оставалось почти одно и то же. Но ложь, продержавшись недолгое время, вообще рождает скептицизм и недоверие. Часто также замечают, что общества, пропитанные обманом, ничему более не верят по той же причине, по какой терроризированные общества ничего не щадят. Действительно, между террором и уважением социально существует то же самое обратное отношение, которое я только что установил между ложью и заблуждением. Правительства могут не быть террористами, деспотами и жестокими только пока их уважают. Уважение, которое они внушают к себе, имеет основанием не прошлую их жестокость, но их продолжительную военную и законодательную, правильную и охранительную, но всегда надменную власть, потому что как веру распространяет среди народа только обман чувств, так только гордость внушает уважение, этот отблеск гордости.

Словом, социальная проблема должна быть поставлена так: заблуждение и иллюзии необходимы социальному порядку, но ложь ему противоречит благодаря преступности, которой она покровительствует. Надо, следо-

вательно, искать источник иллюзии вне лжи. Я уже назвал его: это обман чувств. Следует еще назвать воображение. Воображение и сыграло несравненную роль в появлении изобретательных людей при начале цивилизации.

Наука собирает факты; воображение делает их пригодными для просвещения.

Истина открыта ученым; сочтите же лгунов, которые ею пользуются, начиная с промышленников, которые поместят ее в свои проспекты, и кончая теоретиками, которые ее систематизируют. Открыли в крови железо; тотчас сто фармацевтов приготовили на продажу более или менее сомнительной силы пилюли из железа, которые тысячи медицинских свидетельств провозгласили несравнимыми. Вульгаризация наук влияла бы на нравственность, если бы она способствовала развитию правдивости. Но она производит такое действие только на очень незначительную часть публики. Она влияет ни на фабриканта или политика, делающих из науки орудие власти или богатства, ни на романиста или поэта, требующих от нее новых эмоций, а только на ученого, пользующегося наукой для прогресса науки, что очень редко. Наконец, социальный организм защищается от нападающей со всех сторон истины, как естественный организм защищается от перемен погоды и физических сил. Она ему необходима, как необходимы живому существу внешние факторы, против которых оно постоянно борется и без которых оно погибло бы. Общество также живет истинами, которые постоянно обновляются знаниями. Оно пользуется всеми теми знаниями, которые ему доставляют ученые и философы. Эти последние поставлены в границы социального мира тем, что должны сообразоваться с вселенной, они подобны кожным клеточкам и глазным тканям, которые получают толчки от воздушных или эфирных вибраций и передают их во внутренность тела, где они ломаются на тысячу осколков.

Теперь, на чем же основана эта социальная необходимость иллюзии, которая, объясняя привычку ко лжи в об-

ратном заблуждению смысле, дает тем объяснение росту или уменьшению коварной преступности? Она тоже основана на необходимости социальной организации, то есть на логическом единстве в социальном смысле этого слова, что заставляет нас верить в ее бессмертие. Логическое единство как для обществ, так и для отдельных личностей состоит в образовании связи между намерением и решением, которые все более и более сближаются благодаря постепенному исключению тех намерений и решений, которые противоречат большинству других. Между индивидуальной логикой и социальной единственная разница в том, что намерения и решения, согласные между собой, нераздельны в одной и той же личности, тогда как в социальной они воплощены в отдельных личностях. Эта разница очень важна. Действительно, чтобы личности быть логичной, ей необходимо быть искренней. Желание уничтожить противоречие между своими действиями и мыслями само по себе способствует отвращению ко лжи. Всякая идея, всякий план, как только становится ясным его несогласие с более сильной верой или желанием, тотчас исчезает, и очищение внутренней системы происходит, таким образом, без труда. В социальной логике инициатива подобного исключения исходит от людей, которых не исключают, и которых надо изменять иногда силой, а чаще ловкостью. Впрочем, искание реального, запрещенного и истинного блага, например, земельной собственности, наследства, руки женщины, способно породить в личности логическое совпадение желаний. В обществе оно почти всегда способно только разделять желания и ставить это общество на нелогическую почву. Нераздельное владение землями, стадами, женщинами и рабами возможно только вначале, потому что последующий вынужденный раздел вызывает почти у всех неудовольствие. Отсюда является необходимость выдвинуть какой-нибудь мнимый объект — мистическое небо, патриотическую славу, художественно-прекрасное — который бы в пространстве идеально согласовал все те желания, которые сталкивают-

ся на земле. Подверженный галлюцинациям и лжеучитель одинаково имеют эту цель, и оба вызывают эту мечту. Она дает зрение слепым и заставляет их прямым путем идти к славе. Когда глаза откроются, они ощупью идут, как во тьме, требуя возвратить им мечту.

Дело идет, следовательно, о том, чтобы уничтожить коварство, изгнать плутовство и согласовать индивидуальную логику с социальной, то есть сделать последнюю свободной. Это нужно потому, что сильная нация поддерживает сильные, справедливые и законные индивидуальности. Но если система идей и, следовательно, желаний изолированной личности и может логически существовать под властью принципа позитивистов, то дело обстоит совсем иначе, как только что было сказано, в отношении системы идей и мнений народа. Индивидуум, вступая в товарищество, должен, следовательно, покоряться этой необходимости и исходить из иного постулата. Для большинства людей гораздо удобнее думать, что установленная религия является самой логической, самой вольной, то есть самой вероятной из систем. Пока этот высокий поток веры течет и орошает народ, безумно искать вдохновения и помощи долга. Но что делать, когда он высохнет? Появляется наука: приветствуем ее! Однако, чтобы быть истинно верующим, чтобы эта непоколебимая вера давала силу неизменно и спокойно относиться к другим, надо не только проникнуться значением известных истин, но еще надо веровать, что знание их есть величайшее благо, а незнание — величайшее зло, что засвидетельствовать их своим поведением есть первый и высший долг человека. Религиозный человек полон подобной веры. Сколько пройдет времени, пока научные и философские истины станут предметом таких убеждений?

Трудно надеяться, что дух лжи будет изгнан из наших обществ, разве только когда-нибудь они снова будут введены в какое-нибудь великое, постоянное и глубокое заблуждение и получат особое credo, которое их расположит к обаятельному идеалу. Мы надеемся, что это будет про-

изведением какого-нибудь могучего ума, более искреннего, чем Пифагор или Магомет. Но это будет возможно только тогда, когда иссякнет столь богатый теперь источник научных открытий. Тогда будет возможен прочный и окончательный философский синтез, под сенью которого смягченное человечество будет почивать в мире, свободное от всех проступков, как и от всех зол... В ожидании будем утешать себя нашим веком и не будем думать, что наше просвещение и открытия мы покупаем слишком дорогой ценой всех наших проступков, преступлений и всей нашей лжи, если даже самые почтенные иллюзии не стоят в наших глазах самых опасных истин.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ТОЛПЫ

I. Коллективная преступность толпы

Криминалисты как старых, так и новых школ слишком исключительно были заняты преступлением индивидуальным и не обращали достаточного внимания на коллективное преступление, а между тем изучение этого последнего могло бы в значительной степени содействовать правильному пониманию первого. Правда, время от времени подвергались изучению небольшие преступные шайки, всего чаще состоящие из трех членов и потому называемые «tierces» , о которых упоминает в одной из своих работ Joly; изучались даже и шайки более многочисленные, но при этом почти всегда в так называемом коллективном преступлении видели не более как простую совокупность преступлений индивидуальных.

Такая точка зрения допустима лишь в том случае, когда личности действуют рассеянно без всякой объединяющей их связи; но она становится несомненно ложной, если преступники действуют сообща и целыми массами, под влиянием всеобщего увлечения, и если при этом находят себе исход те силы и задатки (virtualites), которые остались бы скрытыми при действии в одиночку. Вот этот последний случай и интересует нас. Правда, мы коснемся и тайных организованных обществ с преступными целями (sectes criminelles), но лишь для того, чтобы лучше изучить преступные шайки и сборища, для которых первые так часто служат скрытой причиной.

По какому же признаку мы можем судить, что известная группа лиц, вместо того чтобы быть простым скопищем, вдруг становится одной колоссальной личностью, в которой тысячи лиц сливаются как бы в один смутный об-

лик? Без сомнения, по тому, что она приобретает свое собственное коллективное самолюбие, совершенно отличное от самолюбия составляющих ее членов, подобно, например, тому, как в Алжире каждое племя имеет свое собственное понятие о чести, совершенно отличное от понятия отдельных составляющих его арабов, что всего лучше и доказывает живую реальность таких племен.

Если простые народные скопища, эти случайные и недолговременные коллективные организмы низшего порядка, преобладают собственным самолюбием, то тайные организованные общества, хотя бы и преступные, почти всегда имеют его. Но в пылу совместного действия те и другие проявляют гордость и тщеславие, до крайности усиливаемые сознанием мнимого могущества, по крайней мере, до появления вооруженной силы.

Ничтожный знак неуважения к ним, самое малейшее проявление несогласия в чем-нибудь с ними вызывают их ожесточение. История показывает, что везде и всегда необузданностью и нетерпимостью народные скопища не уступали любому африканскому деспоту. Таким характером в особенности отличаются шайки, живущие, подобно профессиональным разбойникам, исключительно убийством, грабежом и поджогами. Тщеславие их доходит до смешного: они стараются блеснуть разными галунами и позументами, подобно тому, как торговые товарищества, организованные с целью эксплуатации публики, отличаются необыкновенной роскошью своих реклам, в которых нужно видеть не только обманчивую приманку, но и выставку тщеславия.

Каким же образом формируется толпа? Каким чудом масса лиц, так еще недавно рассеянных и совершенно индифферентных друг к другу, вдруг соединяется в одно целое, образует род магнитной цепи, издает одни и те же крики, бежит в одном и том же направлении, действует по одному и тому же плану? Единственно благодаря симпатии, этому источнику подражательности, этому животворящему началу социальных тел. Одного мановения руки

вожака достаточно, чтобы пробудить эту спящую силу и направить ее к определенной цели. Но для того, чтобы первичный импульс мог повлечь за собой дальнейшие последствия, для того, чтобы только что возникшая волна народного движения могла быстро и широко распространиться, необходимо, чтобы умы были подготовлены к тому предварительной, может быть, даже бессознательной, но хотя бы в общих чертах сходной работой мысли.

Медленно распространяющийся психический контагий, тихая и безмолвная подражательность, незаметно передающиеся от одного лица к другому, всегда предшествовали тем бурным непреодолимым вспышкам подражательности, которыми характеризуются народные восстания. Только широкая пропаганда идей Лютера в начале XVI века и идей Руссо во второй половине XVIII века сделала возможными и возмущение Мюнцером крестьян в Тюрингии в 1525 году, и образование скопищ Тилли и Валленштейна во время Столетней войны, и формирование Jourdario полчищ в Авиньоне и Comtat-Venaissin во время французской революции.

Общая вера, общая страсть, общая цель — такова жизненная основа этого странного живого существа, которое мы называем толпой, основа, в свою очередь, обусловливаемая тем двояким контагием, о котором мы только что говорили. От особенностей этих руководящих страстей, идей и целей зависит и различие между толпами в гораздо большей степени, чем от климатических и расовых отличий составляющих эти толпы членов. Мы встречаем здесь и преступность, зависящую от темперамента или, скорее, от характера, и преступность, так сказать, случайную; словом, находим то же самое, что давно уже было подмечено при изучении индивидуального преступления; но это различие в характере преступности выступает здесь с большей ясностью и определенностью. Без всякого сомнения, существуют сборища и тайные общества, при самом своем возникновении уже наклонные к преступлению подобно тому, как бывают так называемые преступники от рож-

дения. Факты первого рода объясняют нам истинное значение «врожденной преступности», под которой следует разуметь привычное и уже с самого начала наиболее охотно принимаемое направление к злым действиям тех сил, которые сами по себе могли бы быть направлены в совершенно другую сторону.

Правда, следует установить более или менее резкое различие между толпами и тайными обществами, хотя случайно и совершающими преступления, но созданными под влиянием мотивов, нисколько не преступных и не лишенных даже известного рода благородства, и между теми шайками, которые, как, например, Chauffeurs в 1880 году или Camorra и Mala vita, организованы с прямой целью убийства и воровства. Однако не подлежит сомнению и то, что толпы и тайные общества, хотя бы только случайно принявшие преступный характер, часто становятся наиболее опасными и разрушительными, так как они-то именно и распространяются наиболее широко и поражают наблюдателя странным сочетанием величия и силы с чудовищной жестокостью.

Sighele в своем недавнем и глубоко содержательном произведении Folia delinquente («Преступная толпа») совершенно справедливо замечает, что вопреки сказанной случайно Спенсером мысли социальное целое очень часто отличается от составляющих его индивидуумов, а не является только простой их суммой.

Я со своей стороны добавлю, что иногда оно представляет как бы произведение (produit), когда составляющие его элементы однородны, иногда же оно составляет род алгебраической суммы (combinaison), когда элементы различны. В первом случае совершенно одинаковые чувства, которыми воодушевлены все члены общественного целого, внезапно возвышаются до крайней степени напряжения, взаимно поддерживая и усиливая друг друга как бы путем взаимного помножения. Это-то обстоятельство и объясняет нам, почему коллективная преступность группы лиц, соединяемых в одно целое или благодаря простой

случайности, или в силу взаимного психического сродства, и действующих в одном и том же направлении, — почему эта коллективная преступность далеко превосходит среднюю величину преступностей частных лиц. Этим же обстоятельством объясняется и то, что коллективный эгоизм в тысячу раз властнее и интенсивнее, чем частные составляющие его эгоизмы.

Во втором случае социальное целое является совершенно своеобразным результатом, как бы равнодействующей множества расходящихся в разные стороны и даже прямо противоположных тенденций, представляемых составляющими его индивидами, соединенными в пылу лихорадочного возбуждения лишь на время их общего действия.

Но прежде всего заметим, что как бы ни была, по-видимому, благородна и законна та цель, которая создает толпу, образование последней во всяком случае представляет несомненный шаг назад в социальной эволюции, потому что чем теснее и крепче общественная связь, тем более она становится исключительной. Все эти люди, между которыми, как кровь между клеточками нашего организма, циркулирует экзальтированное чувство их солидарности, являющееся последствием их взаимного возбуждения, — все они тотчас же становятся совершенно чуждыми остальному человечеству, не входящему в их группу, делаются не способными сочувствовать страданиям других людей, еще недавно бывших их братьями и согражданами, а теперь ставших для них совершенно чуждыми или даже врагами, годными лишь к тому, чтобы их жечь, убивать или грабить. В этом можно видеть возвращение к нравственному состоянию диких, связанных между собой лишь союзом примитивной семьи, хотя я далек от того, чтобы видеть здесь проявление атавизма и говорю о нем только метафорически.

На этом основании благородство и возвышенность религиозных, политических и патриотических целей, преследуемых людьми, собравшимися в толпу или организо-

вавшимися в тайное общество, нисколько не препятствует быстрому упадку их нравственности и крайней жестокости их поведения, лишь только они начинают действовать сообща. Немецкие крестьяне XVI века восстали и вооружились во имя евангельского милосердия и братства, но лишь только они начали свои совместные действия, как один из их руководителей с горечью отзывался о них: «Теперь я вижу, что большинство из них только и думает о воровстве и грабительстве».

Эти «братские орды» (hordes fratemelles), разграбивши и предав пламени дворцы и аббатства и умертвив их обитателей, принуждали затем и мирных сограждан и даже близких к себе лиц следовать за собой, угрожая в случае несогласия смертью, опустошением и пожаром. Подобным же образом, когда ciompi, эти парии флорентинской демократии, поднялись в XIV веке с тем, чтобы добиться права на существование, они сначала обрушились на покинутые дворцы магнатов, а потом, опьяненные разбоем и увлекаемые взаимно друг другом, кончили тем, что стали безразлично жечь и грабить как дома своих друзей, так и дома своих противников.

II. Преступная толпа и индивид

Если толпа в сравнении с цивилизованной нацией является социальным организмом низшего порядка, то этот регрессивный характер ее с особенной ясностью, так сказать, a fortiori, выступает при ее сопоставлении с отдельным индивидом. Действительно, даже самые совершенные формы социальных организмов, какие только известны, всегда обладают значительно низшей организацией, чем те живые существа, из которых они слагаются. Полипняк представляет род растения, тогда как отдельный полип является животным; точно так же, как бы затейлива ни была организация роя пчел или муравейника, она, во всяком случае, окажется несравненно менее сложной

и удивительной, чем организация пчелы или муравья. То же самое можно сказать и относительно человечества: наши общественные учреждения представляют из себя механизмы, слишком грубые в сравнении с нашей собственной организацией, и никогда коллективный ум (iesprit collectif), проявляющийся в парламентах и конгрессах, не может сравниться с умом самого посредственного из составляющих эти учреждения членов ни по быстроте и верности суждения, ни по глубине и широте мысли, ни по гениальности начинаний и решений. Отсюда и поговорка: «Senatores boni viri, senatus autem mala bestia», хотя существует и другая, прямо ей противоположная: «Personne n'a plus d'esprit que Voltaire, si ce n'est tout le monde». Подобными противоречиями пресловутая народная мудрость изобилует в гораздо большей степени, чем какой-либо отдельный индивидуум, и это как нельзя лучше подтверждает нашу основную мысль. Последнюю из приведенных пословиц я считаю за бессмыслицу, придуманную чересчур горячими поклонниками народного суверенитета.

Таким образом, даже самый совершенный социальный организм оказывается всегда далеко не так хорошо организованным, как отдельные составляющие его элементы. В несравненно большей степени замечание это относится к толпе, являющейся одним из слабейших социальных агрегатов. Даже возникшая среди наиболее цивилизованного народа толпа является существом диким, мало того — бешеным, несдержанным зверем, слепой игрушкой своих инстинктов и рутинных привычек, а иногда напоминает собой беспозвоночное низшего порядка, род какого-то чудовищного червя, обладающего распространенной чувствительностью и извивающегося в беспорядочных движениях даже после отделения головы. Этот «зверь-толпа» (bete himaine) представляет самые различные модификации, из коих слагается как бы особая человеческая фауна, открывающая еще широкое поле для исследований.

По меткому замечанию ученика профессора Локассана, толпа никогда не бывает существом лобным (мыслящим), редко она бывает существом затылочным (чувственным), но почти всегда спинно-мозговым (или рефлективным); однако она слагается из индивидов лобных и затылочных. Foumial прибавляет также, что толпа, состоящая из взрослых, обыкновенно представляет в своих действиях характер чего-то детского или ребяческого: ее гнев и ее злодейство напоминают злые выходки испорченного ребенка, она часто разрушает ради самого процесса разрушения. В XVI веке, как и во время французской революции, как везде и всегда, мы видим толпы, образованные ворами, по-видимому, с единственной целью воровства, которые, однако, предпочитали воровству поджоги, а грабежу — совершенно бесполезные убийства.

Вообще коллективная преступность отличается жестокостью и иногда вероломством, представляя таким образом явление регрессивное в современном человечестве. Тайные общества способны к коварной и холодно обдуманной преступной деятельности, причем в нравственном отношении они оказываются ниже большей части своих членов. Подобным образом можно указать на большие корпорации и даже на целые народы, так сказать, отмеченные печатью вероломства и, однако, составленные из личностей прямых и честных: так, англичанин, без сомнения, несравненно более прям, честен и благороден, чем сама Англия.

Тайное общество, состоящее из отъявленных либералов, обнаруживает наклонность к нетерпимости и деспотизму; еще в большей степени то же самое можно сказать о толпе. Во всяком случае? и тайное общество, и толпа несравненно деспотичнее и нетерпимее, чем большинство составляющих их членов. В чем же нужно искать причину этого? Без сомнения, в том, что отдельные мнения, взаимно сближаясь и находя поддержку друг в друге, принимают характер непоколебимых убеждений и верований, а эти последние при дальнейшем росте порождают фа-

натизм: отсюда то, что составляет скромное желание отдельного индивида, в массе принимает характер страсти.

Толпа в целом, как дикари, не знает ни сомнений, ни колебаний, ни полужеланий, ни полуверований; она по существу отличается характером догматизма и страстности. Но зато подобно женщинам и детям она всегда наклонна к самым странным и иногда прямо бессознательным противоречиям: от Капитолия до Тарпейской скалы у нее один только шаг. Ф. де Сегур рассказывает об одной взбешенной толпе, которая в 1791 году в окрестностях Парижа преследовала богатого фермера, заподозренного в том, что он занимался наживой на счет общества; но кто-то горячо вступился за него — и «злодеи внезапно перешли от крайней ярости к не менее крайнему расположению к этому господину: они заставляли его пить и плясать с собой вокруг дерева Свободы, тогда как за минуту перед тем собирались его повесить на сучьях этого дерева».

Со стороны отдельного лица, осмелившегося не согласиться в чем-либо с толпой, она не выносит ни противоречия, ни сопротивления: под страхом наказания она принуждает его кричать вместе с собой «vive» и «a la bas», заставляет идти туда, куда сама идет, делать то, что сама делает. Но в виду вооруженной силы она робеет и при первом же выстреле разбегается, так как каждый из составляющих ее членов тотчас же теряет горделивое сознание хотя бы временного могущества и эфемерного величия, которые за минуту перед тем его опьяняли. Подобными резкими преемственными взрывами столь противоположных чувствований, подобными переходами от деспотизма к приниженности толпа как нельзя лучше обнаруживает присущую ей неустойчивость. Состоя из людей, в отдельности довольно здравомыслящих, толпа легко становится коллективно безумной. Все различные проявления ее безумия — и бред преследования, и бред величия, и бурное помешательство — как и у отдельных индивидов, находят свое объяснение в чрезмерном развитии гордости и эгоизма. Другой причиной этого безумия толпы яв-

ляется алкоголизм: всевозможные народные скопища, будут ли они отличаться грозным величием или комической веселостью, беспощадной жестокостью или энтузиазмом, — все они имеют постоянную наклонность к пьянству — даже тогда, когда состоят из относительно трезвых членов. Жажда их неутолима, и при разграблении жилищ их первая забота — ломать погреба и выкатывать бочки.

Несмотря на то, подобные сборища имеют своих искренних поклонников и своих горячих защитников. Многие, например, удивляются одушевляющему их единодушию и под наружным беспорядком видят какую-то высшую гармонию. С другой стороны, при виде великого массового движения и могучего человеческого увлечения как бы невольно возбуждается чувство изумления, как перед проявлением грозной стихийной силы. Подобное, ничем, в сущности, не оправдываемое отношение объясняется тем, что при этом забывают простую причину, лежащую в основании этих, по-видимому, грандиозных явлений, забывают подражательность, в силу чего решаются приписывать такого рода явлениям какой-то таинственный источник. В действительности же факты эти заслуживают тем меньшего удивления, что они в конце концов могут быть сведены к самой элементарной и наименее высокой форме подражательности.

В самом деле, почему для толпы доступна лишь одна форма проявления внутреннего согласия, именно полный унисон и безусловное единодушие? Почему ей совершенно чужда гармония различных тенденций и убеждений, которые могут существовать наряду одни с другими лишь благодаря взаимным уступкам и терпимости? Почему эта толпа никогда не знает середины между унисоном и какофонией, между однообразием свойственного ей полного единодушия и той анархией, которая возникает в ней, когда в ее собственных недрах слагаются враждующие фракции, ведущие между собой междоусобную войну?

Причину этого, конечно, нужно видеть в том обстоятельстве, что это однообразное единодушие всегда явля-

ется результатом лишь односторонней подражательности, результатом давления, оказываемого на толпу ее вожаками без всякого обратного воздействия с ее стороны; тогда как более сложная гармония, наблюдаемая в какой-нибудь цивилизованной нации, является результатом взаимных влияний между инициаторами и их подражателями. Только когда подобного рода гармония установится в целой массе лиц как бы путем взаимного отражения, она начинает крепнуть в сердце каждого из них. Если же мы будем удивляться единодушию толпы, то, нам, пожалуй, придется приходить в восторг и перед ее стремлением производить одни и те же жесты, испускать одни и те же крики, напевать одни и те же песни.

С другой стороны, наиболее свойственным для людей толпы мотивом, руководящим их действиями и достигающим нередко самой крайней степени напряжения, чаще других является один из мотивов низшего порядка, именно — самолюбие, и притом самая несовершенная форма последнего. В большинстве случаев это — стремление блестеть в данную минуту среди окружающих, стремление сосредоточить исключительно на себе взоры членов своего кружка; другими словами — желание получить вознаграждение за свои заслуги сейчас же, хотя бы в виде мелкой монеты звучных рукоплесканий, желание заслужить одобрение непосредственно окружающих, а не дожидаться бесшумной похвалы со стороны избранных лучших сограждан, удаленных по месту и времени, а иногда даже — лишь со стороны потомства.

Правда, и предоставленные самим себе, вне воздействия толпы, мы все-таки стараемся сообразоваться с мнением других, но эти другие — уже не лица, непосредственно нас окружающие, эти другие живут лишь в нашем уме, где они распадаются нередко на противоречивые группы и вступают между собой в коллизию. Для того, чтобы не поддаться влиянию непосредственно окружающих нас лиц, мы мысленно опираемся на суждение группы более широкой; осуждению наших друзей, примеру которых

мы не хотим подражать, мы противопоставляем всеобщее осуждение, которое обрушилось бы на нас, если бы мы последовали их советам. Эта борьба между противоречивыми суждениями, существующими лишь в нашем уме, ведется, так сказать, на равных условиях, и нередко победа остается за лучшими из них. Но если приговору окружающей толпы, обусловленному нашим отношением к ней и живо воспринимаемому нашими чувствами, нам приходится противопоставлять абстрактную идею другого приговора, произносимого где-то далеко от нас и не влияющего прямо на наши чувства, то почти роковым образом, исключая разве лиц со строго философским миросозерцанием, мы поддаемся искушению и приговор какой-нибудь сотни членов стачки или клуба предпочитаем приговору хотя бы миллионов честных людей, незаметно живущих в своих домах далеко от нас.

Конечно, разумнее было бы обратное отношение, именно приговор лиц, порицающих или одобряющих наши поступки лишь после глубокого обсуждения, предпочитать необдуманному приговору толпы, стремящейся неизвестно куда и зачем. Но, к сожалению, люди, как и другие животные, гораздо более возбуждаются под влиянием импульсов ближайших и, так сказать, непосредственно действующих, чем отдаленных и только предвидимых в будущем. Вот почему артисты и люди других профессий, работающие для скученной публики, например драматурги, актеры, ораторы, музыканты, близко заинтересованные в производимом ими эффекте, находятся, как мне кажется, в гораздо большей зависимости от своей аудитории, гораздо более вынуждаются приносить ей в жертву свои собственные вкусы, чем ученые, философы, романисты, поэты и даже живописцы, работающие для публики рассеянной. Современный писатель часто и смело манкирует вкусами публики, драматург — почти никогда и всегда робко; а наш театр и наша музыка, несмотря на всю оригинальность Вагнера, гораздо рутиннее, чем наша литература.

III. Заражение преступной толпы

Чрезмерное развитие самолюбия и сознания собственного достоинства, вызываемое скученностью особей, представляется фактом настолько существенным, что обнаруживается даже и в обществах животных. «Тот самый муравей, — говорит Forel, — который обнаруживает чрезвычайную храбрость, будучи окружен своими товарищами, ведет себя крайне робко и убегает при малейшей опасности, как только остается один, хотя бы в нескольких саженях от своего муравейника». Espinas по поводу сражений между муравейниками также замечает, что «воодушевление сражающихся прямо пропорционально их числу». Замечание это применимо и к человеческим армиям, по крайней мере до известной степени, то есть до тех пор, пока они вследствие чрезмерного увеличения перестают представлять из себя такой агрегат, члены которого находятся между собой в более или менее солидарном отношении.

Во всех этих случаях чрезмерное развитие самолюбия и самоуверенности имеет свою хорошую сторону; это, правда, исключения, но далеко не единственные. Птицы, намереваясь перелетать широкие моря, всегда собираются стаями, и, может быть, только благодаря взаимному возбуждению, поддержке и соревнованию, возникающему вследствие простого факта их скучивания, они становятся способными к чрезмерной затрате сил, требуемых подобными воздушными путешествиями. Для каждой из них в отдельности подобные путешествия были бы, наверное, не по силам. Чувство удовольствия, испытываемое высшими животными при сближении их между собой, в значительной степени обязано сознанию возрастания силы, бодрости и смелости вследствие простого факта их соединения. Совершенно подобно людям, многие птицы, например, воробьи и вороны, равно как и другие животные, часто собираются без всякой видимой цели и пользы, единственно ради удовольствия побыть вместе.

Что же может быть источником этого удовольствия, как не сознание прилива энергии и силы, на которое только лишь было указано? Все это не подлежит сомнению; но, к сожалению, несомненно и то, что в бурных народных скопищах указанному выше чрезмерному развитию подвергаются далеко не лучшие стороны ума и сердца составляющих их членов...

Итак, весьма вероятно, что в нравственном и умственном отношении люди в толпе (les homines en gros) стоят ниже, чем будучи изолированы (еп detail). В чем же заключается причина этого замечательного явления? Чтобы ответить на этот общий вопрос, необходимо помимо уже приведенных соображений дать ответ на следующие частные вопросы: во-первых, какие психические состояния наиболее заразительны по своей природе, и во-вторых, какие люди по самой природе обладают наибольшей способностью оказывать на других влияние?

Прежде всего, какие душевные состояния всего более крепнут в нас, если мы испытываем их вместе с другими окружающими нас людьми? Подобным свойством не обладают ни чувства удовольствия, ни чувства страдания, по крайней мере, поскольку они рассматриваются как состояния чувствительности (en ce qu'ils ont de sensationnel). Напротив, подобное свойство может считаться до некоторой степени характерным для таких психических состояний, каковы более или менее определенные желания или стремления, чувства любви или ненависти, положительные или отрицательные убеждения, доверие или недоверие, похвала или осуждение... Вот почему нет ничего заразительнее смелости, которая, в сущности, представляет комбинацию страстного желания с глубоким убеждением, или гордости, которая точно так же слагается из живого стремления к господству над другими с одной стороны и грубой уверенности в личном превосходстве — с другой. Что также может быть заразительнее чувств надежды или страха, о чем свидетельствуют, между прочим, паники и резкие колебания биржи (emballements), а равно и

массовая доверчивость биржевых спекулянтов, в отдельности — в высшей степени осмотрительных?

Вышесказанным объясняется также и то обстоятельство, что, если в шайке бунтовщиков, как обыкновенно и бывает, наряду с простыми горемыками встречаются настоящие злодеи, то эти последние задают всегда тон; потому что горе первых, как всякое страдание, не может передаваться через простое сближение, тогда как злодейские наклонности последних, являясь по существу тенденциозными, способны к широкому распространению, проявляясь то речью, то игрой физиономии и т.п.

С другой стороны, изучение народных скопищ, по-видимому, приводит к тому заключению, что ненависть в отношении заразительности вообще берет перевес над любовью, злословие — над похвалой, свистки — над аплодисментами и отрицательные убеждения — над положительными. Правда, и народные скопища иногда движутся порывами восторженного преклонения перед той или другой личностью или идеей, но распространению подобных отношений необходимо должен предшествовать тот тихий и медленно действующий контагий, о котором мы говорили раньше, и который, действительно, более благоприятствует добрым проявлениям, чем злым. Однако за первыми проявлениями подобного восторженного отношения бурно и широко распространяются проявления отрицания, осуждения, недоверия и злобы. Эта-то преимущественная контагиозность отрицательных отношений и объясняет нам коллективный атеизм, с которым мы так часто встречаемся у полуразбойничьих — полувоенных шаек (les grandes Compagnies) в период Столетней войны: участники этих событий в массе являются нечестивцами, с похвальбой пьют из украденных и оскверненных священных чаш, тогда как в отдельности большая часть из них были люди набожные и даже суеверные.

К несчастью, из всех человеческих действий самое заразительное — это убийство. Michelet, Taine и Max. du Camp художественно изображают то заразительное влия-

ние, какое оказывает зрелище убийства даже на честных людей, делая из них разбойников, как бы в силу какой-то эпидемии. Зрелище убийства гораздо заразительнее, чем зрелище полового акта. Инцидент, имевший место в Theatre — Realiste и вызвавший бурное негодование со стороны даже столь нескромной публики, служит прекрасным доказательством этого положения, в особенности если приведенный факт сопоставить с тем страстным увлечением, которым всегда и везде отличались зрители при виде боя быков или смертельных состязаний в цирке. «Нет ничего заразительнее убийства», — говорит Zeller по поводу революции в Италии, и всякий историк скажет то же. Однако и сладострастие (le rut) так же заразительно, как доказывают оргии древних мистерий, эпидемические нимфомании, подобные той, какая была в Loudun't, частные оргии злодеев и педерастов (см. об этом у Carlier), наконец, публичные и повторно совершаемые разбойничьими шайками изнасилования одних и тех же жертв, как это делалось вышеупомянутыми шайками в средние века. Средние века ввели еще новый вид публичных изнасилований, как репрессалий, так называемый le viol par represailles. Нередко также похоть и жажда крови действуют совместно, взаимно усиливая друг друга. Но в общем зрелище убийства заразительнее, чем зрелище полового акта, и это тем более замечательно, что представление последнего привлекательнее первого.

Подобная кажущаяся несообразность представляет факт довольно общий: из двух неодинаково контагиозных явлений нередко наиболее заразительным при непосредственном восприятии является то, представление которого наименее привлекательно. Правда, наш ум есть лучший судья относительно достоинства вещей, чем наши чувства, но народные скопища и судят, и воспринимают гораздо более своими чувствами, чем умом. Отсюда становятся понятными и частые проявления жалости и удивления, пристрастия и вражды, столь часто наблюдаемые в народ-

ных скопищах и обнаруживаемые совсем некстати и вопреки здравому смыслу.

Расскажите лицам, составляющим эти скопища, о позорной смерти г-жи Dubarry и о стоическом равнодушии перед гильотиной m-me Роланд или Марии Антуанетты — они, может быть, удивятся этим последним, но едва ли пожалеют о первой. Но представьте, что оба эти зрелища совершаются непосредственно перед глазами толпы, представьте, что толпа слышит раздирающие душу крики бывшей метрессы Людовика XV, которая умоляет своего палача о пощаде и бросается перед ним на колени, тогда как гордая жирондистка и королева проходят с высоко поднятой головой, тихие и безмолвные, — и вы можете быть уверены, что толпа менее будет способна к удивлению перед гордым благородством последних, чем к чувству жалости перед беспомощной мольбой первой. И, действительно, известно, что толпа, бесстрастно присутствовавшая при героически переносимых казнях, была так сильно взволнована казнью Dubarry, что готова была вырвать ее из рук палача. Такова уже особенность толпы, что грубая патетическая мелодрама волнует ее больше, чем самая трогательная трагедия.

Конечно, есть немало лиц, достаточно закаленных против вышеупомянутого опьянения кровью, подобно тому, как и в древнем Риме встречались личности, не поддававшиеся роковому обаянию цирка. Но в этом-то и заключается вторая причина умственного и нравственного упадка индивидов, собравшихся в толпу, что контагиозное значение людей в толпе далеко не пропорционально их умственному и нравственному совершенству. В каждой кучке лиц, а тем более в каждом значительном сборище, народные массы — этот vulgum pecus — увлекаются не избранными представителями, не сливками данного общества, а скорее его подонками. И действительно, остается не разъясненным, почему та или другая личность пользуется влиянием или престижем подобно тому, как неизвестно, почему тот или другой субъект, предпочтительно

перед прочими, обладает способностью к гипнотизации. Самыми выдающимися гипнотизерами большей частью являются лица с посредственным интеллектом, тогда как замечательные врачи нередко терпят неудачу в своих попытках гипнотизировать. Сколько раз человек, превосходящий других и умом, и сердцем, дозволяет овладевать собой самоуверенным посредственностям, бесцеремонно распоряжающимся им и заставляющим его делать то, что прикажут! Он робеет перед ними, боится их осуждения, ничего не делает против их воли и, однако, при такой угодливости часто не питает к ним ни малейшей симпатии. Точно так же в школах наибольшим влиянием и популярностью редко пользуются лучшие ученики, составляющие гордость своего класса, а гораздо чаще — лентяи, отличающиеся невежеством, необузданной гордостью и самомнением.

По-видимому, в этом отношении сила воли играет большую роль, нежели способности и степень развития; но, вероятно, к этому присоединяется еще и то неведомое, чисто физическое влияние, которое обусловливается особенностями в жестах, чертах лица и в самом строении тела. Весьма возможно также, что это физическое влияние находится в необъяснимой связи с половыми влечениями. Не от того ли зависит, что когда в толпу или в тайное общество замешиваются женщины и сила их обаяния присоединяется к угрозам и насилиям толпы, то сопротивление со стороны отдельных членов этому двойному влиянию становится почти немыслимым? С таким именно явлением мы нередко встречаемся во время великих революционных событий.

Как бы то ни было, в каждой толпе и в каждом тайном обществе, где люди сталкиваются (se coudoient) в собственном смысле слова, этот физический элемент обаяния личности роковым образом увлекает подражательность с ее логических путей и направляет ее к примерам худшим, в ущерб лучшим и полезнейшим.

IV. Различные виды преступной толпы

Установив и, по возможности, выяснив тот общий факт, что всякий социальный агрегат (le compose social), а в особенности беспорядочная толпа или партия, в нравственном отношении оказываются ниже среднего уровня составляющих элементов, мы попытаемся разобрать всевозможные модификации, представляемые этими агрегатами и, в частности, преступными толпами. В самом деле, эти агрегаты имеют между собой мало общего: достаточно сравнить празднование федерации в 1790 году с народным восстанием той же эпохи, или союз квакеров с клубом якобинцев, или, наконец, возмутившуюся толпу американцев, убивающих по суду Линча своих пленников, с теми народными восстаниями, которые при старом режиме возникали для освобождения пленников, и для которых взятие Бастилии было блестящим финалом.

На чем же основываются все эти различия? Играет ли при этом главную роль влияние климата или расы, физических или биологических факторов, или же скорее здесь сказывается влияние исторического процесса и совокупность всех социальных воздействий?

На этот вопрос гораздо легче ответить с большей или меньшей определенностью, чем на подобный же вопрос, относящийся к поступкам и преступлениям индивидуальным. Действительно, чем выше организация того или другого существа, чем более оно приспособляется к всевозможным действующим на него влияниям, тем сложнее и запутаннее кажутся эти влияния в глазах наблюдателя. Напротив, чем организация ниже, тем удобнее для каждого отдельного фактора определить свойственную ему роль. Так, роль света, теплоты, электричества, высоты, широты и влажности несравненно легче может быть изучена и определена с гораздо большей точностью у растений и низших животных, чем у млекопитающих, так как на первых все эти факторы влияют прямо, без всяко-

го противодействия (sans resistance), и не подвергаются внутренней переработке и задержке. Но толпы и тайные общества, как выше было доказано, являются организмами гораздо менее централизованными, чем отдельная человеческая личность, и, потому подобно низшим организмам, они расходуют свои силы по мере того, как их получают извне. Последнее обстоятельство дает возможность с точностью определить как влияние, так и направление каждой из этих сил. Вот почему в высшей степени поучительно рассмотреть коллективную преступность с этой точки зрения.

Что же мы узнаем при этом? Прежде всего то, что невозможно сомневаться в важном значении физических и физиологических факторов. Так, в нашем климате бунты никогда не происходят ночью, редко — зимой, и погода — дождливая или ясная, теплая или холодная — всегда оказывает влияние как на ход, так и на результат их: иногда, чтоб их рассеять, достаточно одного проливного дождя. Не лишено вероятия мнение Gouzer'a, что фазы Луны оказывают заметное влияние на возникновение этих бунтов, и что полнолуние в особенности им благоприятствует; но, впрочем, как мне кажется, этому мнению недостает еще вполне научной доказательности. Далее, не подлежит сомнению, что каждая раса налагает на эти народные движения своеобразный отпечаток, резко отличающий английскую стачку от французской и выборную горячку в Нью-Йорке от выборов в столицах испанской Америки, столь часто сопровождающихся кровопролитиями. Это зависит, нужно думать, от того, что в действиях отдельной личности влияние расы как элемента основного маскируется индивидуальными особенностями; тогда как при совокупном действии многих лиц одной и той же страны все эти индивидуальные особенности, так сказать, взаимно компенсируются, и влияние расы сказывается с особенной очевидностью.

С другой стороны, изучение коллективных действий не менее ясно доказывает нам господствующую роль при-

чин социального характера, их преимущественное значение перед вышеупомянутыми физическими факторами, которые играют чисто служебную роль по отношению к первым. Как мы сказали выше, душой толпы служит та частная цель, ради которой она возникла. Без этой цели и время года, и состояние погоды, и климат, и раса могут как нельзя более благоприятствовать образованию толпы, и, однако же, она не образуется, так как только упомянутая цель является вполне определяющей и характеристичной для нее силой, и только в зависимости от этой цели физические факторы могут оказывать на нее свое влияние. Между этими последними ничто не обладает таким обаянием как мерная и величественная музыка, если только ее можно отнести в эту категорию. Влияние музыки сказывается еще в глубокой древности и проявляется приблизительно одинаковым образом, на что указывает, между прочим, и то обстоятельство, что один из сохранившихся тиртейских мотивов, по исследованиям наших ученых, представляет поразительное сходство с мотивом Марсельезы. Но и Марсельеза может вдохновлять лишь те народные массы, которые уже наперед взволнованы одной и той же страстью. И только благодаря вековой связи исторических событий, благодаря продолжительной пропаганде и преемственной смене идей, благодаря более или менее широкому распространению в народных массах искусственных потребностей высших сословий эта общая страсть может сразу вспыхнуть в стольких сердцах и столь быстро окрепнуть в каждом из них, лишь только благодаря взаимному сближению дана будет возможность проявиться психическому контагию. Прибавьте к этому неясное воспоминание о прежде бывших восстаниях, по образцу которых бессознательно поступает большинство бунтовщиков, — и вы поймете, почему преемственные народные волнения одной и той же эпохи носят столь общий характер, совершенно независимо от времени и места, как во время Столетней войны XVI века, так и во время Фронды и в дни Великой французской рево-

люции. Это, в сущности, совершенно сходные проявления одной и той же бурной горячки, одной и той же нравственной эпидемии — то благотворной, то разрушительной, направляющей целый народ или даже целый материк к новой религии и к новой политической догме и придающей всем религиозным сектам и политическим партиям на громадном протяжении к югу и северу, в странах как кельтского, так и славянского или германского происхождения, общие существенные черты, вопреки всевозможным индивидуальным особенностям.

Не подлежит сомнению, что поведение толпы определяется ее составом, и что толпа, составленная из людей честных, даже находясь под влиянием временного внушения своих свирепых вождей, никогда не согласится совершить убийство из жадности или мщения. Не значит ли это, что если толпа убивает, грабит или совершает поджоги, то отдельные члены ее носят в себе, так сказать, физиологические задатки убийства, воровства и поджигательства? Это напоминает до некоторой степени так называемую virtus dormitiva опия.

В самом деле причиной факта является не одна только возможность его, а скорее стечение обстоятельств, содействующих реализации этой возможности, и это положение в особенности применимо к преступным наклонностям, которые и обнаруживаются только тогда, когда реализуются. Правда, можно указать на людей безусловно честных, организованных таким образом, что при каких угодно обстоятельствах они не способны склониться к преступлению. Но между этой как бы полной неспособностью к преступлению этих избранников, с одной стороны, и как бы роковой и непреодолимой преступной наклонностью тех нравственных выродков, которых мы называем преступниками по природе, — с другой, существуют тысячи переходов, представляемые громадным большинством обыкновенных смертных, которые или становятся преступниками, или воздерживаются от преступлений, смотря по обстоятельствам. Между этими обстоятельст-

вами самым главным является скучивание их в толпу или тайное общество, которые неотразимо влияют на них как бы путем гипнотического внушения. При подобных условиях люди, в нормальном состоянии пользующиеся репутацией честных, совершают настоящие жестокости, за которые на другой день они будут краснеть и искать оправдания в софизмах, в которых запутается их отуманенный ум. Точно так же самые заурядные мошенники, в отдельности способные только к кражам и никак не к убийству, в массе становятся жестокими убийцами, и причина этого заключается единственно в образовании преступного скопища, а это последнее, как мы знаем, формируется благодаря влияниям социального характера.

Этим последним и нужно приписать реализацию преступных наклонностей лиц, собравшихся в толпу; хотя это и не вполне оправдывает их, так как преступный акт, как бы из принуждения совершенный ими, в действительности соответствует если не обычному способу их действия, то по крайней мере скрытым особенностям их природы. Человек действительно нравственный никогда не позволит себе поддаться притягательному действию так называемого священного убийства — «divin massacre», по выражению Munzafa. При виде этих возмутительных и кровавых сцен он почувствует к ним непреодолимое отвращение и ужас и совершенно откажется признать в них хотя бы намек на художественную красоту. Если в качестве историка, артиста или поэта кто-либо и будет находить наслаждение в изображении этих сцен, то лишь в том случае, если никогда не видал их своими собственными глазами. Между рабским подчинением обаянию коллективного преступления и чувством отвращения к нему не может быть середины.

Образ действий толпы в значительной степени зависит от социального положения ее членов, от рода их занятий, от их сословия или касты, от того, живут ли они обыкновенно в городе или в деревне, скученно или рассеянно. Городские толпы в особенности отличаются конта-

гиозностью как по быстроте их роста, так и по интенсивности и силе. Taine прекрасно изображает чрезвычайную возбудимость скопищ, случайно собиравшихся в Palais-Royal незадолго перед взятием Бастилии. Эти скопища, по его словам, составлялись обыкновенно из лиц, так сказать, живших на людях, из обычных завсегдатаев ресторанов и театров, из представителей учащейся молодежи — словом, из лиц, постоянно находившихся под впечатлением живых влияний и внушений и потому сделавшихся чрезвычайно податливыми по отношению к этим последним. В то же время отчуждение этих лиц от семьи и традиции, отчуждение их, если можно так выразиться, от атавистического внушения вызывало в них обманчивое чувство полной независимости. Этот характер независимости сказывался также и в их чрезмерной впечатлительности, делавшей их крайне капризными и неустойчивыми.

Вот такие-то скопища, с нервным и как бы женским темпераментом, в которых действительно женщины нередко играют видную роль, и являются обыкновенно ближайшими виновниками революций в цивилизованных странах. Они способны к быстрым и резким превращениям, что гораздо реже замечается в сельских скопищах. Случалось, что остроумно и метко брошенное слово, стоическое или даже дерзкое поведение какого-нибудь маркиза, которого только что собирались повесить на фонарном столбе, превращало негодующие крики городской толпы в шумную похвалу и одобрительный смех.

Ничего подобного не бывает в крестьянских восстаниях. В этом случае народные массы гораздо менее поддаются возбуждению; но, раз поддавшись, они уже не останавливаются, а стремятся к своей цели с упорством раненого быка. Состав их проще и однообразнее, чем скопищ городских: составляющие их лица все знают друг друга, все они родственники или соседи, и потому связь между ними и крепче, и, так сказать, естественнее. Вот почему и влияние их поразительно. Женщины в этих скопищах встречаются редко, однако они играли некоторую роль в XV сто-

летии во время Гуситской войны, а равно и во время немецкой революции XVI века; но они являются здесь не куртизанками, а скорее боевыми бабами (viragos), подобно знаменитой Hoffmann, этой смелой и жестокой мегере, перед которой наши революционные мегеры (tricoteuses de guillotines) являются не более как куклами. За ней-то в 1529 году шла, следом за «евангелической» армией, толпа бунтовщиков в юбках, одетых в кирасы и с оружием в руках. По словам Jannsen'a, эта женщина «только и жила поджогами, грабежами и убийствами», она слыла за колдунью и над своими фанатическими сообщницами творила заклинания, чтобы сделать их неуязвимыми.

Как городские, так и сельские толпы одинаково подвержены и бреду преследования, и бреду величия, и умственным галлюцинациям; вот почему в их глазах так часто безобидный художник превращается в шпиона, занятого съемкой планов для неприятеля. Но городские толпы и чаще и сильнее, чем сельские, страдают так называемым «нравственным помешательством» (folie marale), и потому в них скорее всего следует искать наиболее совершенных образчиков коллективной преступности.

Особый и важный вид толпы представляет так называемая орда, подразделяющаяся на две обособленные разновидности: орду сухопутную и орду морскую; примером первой могут служить полуразбойничьи шайки XIV века, а второй — мавританские пираты, до нынешнего столетия свирепствовавшие на Средиземном море. В первых мы встречаем самый чистый исторический образчик орды, преступной как по темпераменту, так и по профессии. Этот профессиональный и, так сказать, международный характер их преступности был выражен настолько резко, что для них договор Бретиньи (traite Bretigny) имел такое же значение, как стачка или вынужденная приостановка работ для рабочих на наших больших фабриках. В состав их входили представители всех народов и всех классов общества. Своей жестокостью, тщеславием и жадностью эти орды вполне напоминают современных разбойников. Од-

ним из их развлечений служило вышибание камнями зубов у крестьян и отрезание рук; они безжалостно вымогали деньги, чтобы удовлетворить свою жажду роскоши, подражая избалованной знати того времени. В частности, роскошь туалета была доведена у них до крайней степени: «они гордились серебряными поясами, касторовыми шляпами и дамскими ожерельями». От них можно было откупиться, предложив им «четыре страусовых пера», из которых эти разбойники делали султаны к своим шляпам.

В высшей степени любопытным и достойным изучения является тот факт, что разбои на море существовали и считались как бы дозволенными долгое время после того, как сухопутное разбойничество было оставлено и подверглось всеобщему осуждению. В чем же заключается причина столь снисходительного отношения к такого рода поступкам, которые, по-видимому, должны бы быть одинаково ненавистны, будут ли они совершаться на суше или на море? Без сомнения, все назовут зверством поведение вооруженной шайки, которая, хотя бы во время войны, вторгается в какой-либо частный дом, грабит и расхищает его обстановку. Но если встретятся два торговых корабля, принадлежащие двум воюющим нациям, и один, как добычу, захватит другой, то в этом обыкновенно не видят ни воровства, ни грабительства. Это доказывается, между прочим, и тем обстоятельством, что в 1854 году Соединенные Штаты отказались присоединиться к Парижской декларации об отмене каперства (droits de course). Правда, между корсаром и пиратом есть различие, но сколько между ними незаметных переходов, и как легок переход от одного к другому!

Но чем же объясняется, что поступок, составляющий на суше преступление, на море считается дозволенным? Я думаю, что причина этого кажущегося противоречия заключается в той тесной солидарности, которая соединяет между собой членов одного и того же экипажа и резко отделяет их от остального мира. Корабль представляет из себя изолированный мирок, совершенно замкнутый

в себе, подобно первобытной семье или древним городским общинам, подобно им, подвергающийся постоянным опасностям, чуткий и враждебный к каждому пришельцу, который так легко может ему представляться врагом. Отсюда-то и проистекает то удивительное единодушие, которое наблюдается на каждом хорошо дисциплинированном морском корабле, и которое во время сражения выражается в настоящем героизме. Но этим же объясняется и тот факт, что в экипажах, составленных без разбора и недостаточно дисциплинированных, зверство коллективного эгоизма, свирепость и другие проявления разрушительных инстинктов превосходят всякое вероятие. Таким-то образом по мере того, как развивается чувство глубокой братской привязанности в узких пределах одного корабля, теряется всякая родственная связь с остальным человечеством.

Тем же, в сущности, объясняются и жестокости, совершаемые цивилизованными народами в их колониях; подробности об этом новом виде коллективного разбойничества читатель может найти в сочинении Colajanni «Politico coloniale».

V. Коллективная ответственность преступной толпы

Мы сделали попытку анализа коллективной преступности, но что сказать о коллективной ответственности? Это одна из наиболее трудных задач и, к сожалению, не разрешенных, хотя разрешение ее представляется существенно необходимым. Действительно, только та теория наказаний может вполне удовлетворить как современным требованиям, так и требования всех времен, которая обнимает как индивидуальную, так и коллективную ответственность, и которая дает возможность рассматривать и ту, и другую с одной и той же точки зрения. Но до сих пор, по-видимому, занимались лишь политической стороной

этой общей задачи, хотя и в этом частном смысле не достигли еще окончательного решения ее. Так, тщетно старались, например, установить более или менее точное различие между законными восстаниями, имеющими право на одобрение истории, и между преступными бунтами, заслуживающими более или менее строгого наказания. Далее, если относительно некоторых восстаний случайно и соглашались в признании их беззаконными бунтами, то становились в затруднение перед новым вопросом, — какого наказания заслуживают подобные преступления. Этим именно и объясняются резкие переходы от полной амнистии к поголовным казням. Так было и в прошлом.

Упомянутые выше полуразбойничьи шайки XIV века время от времени получали полную амнистию, вплоть до Duguesclirta, который окончательно искоренил их; эти амнистии были так обычны, что бунтовщики наперед рассчитывали на будущую милость. Коллективная преступность всегда характеризовалась почти полной уверенностью в безнаказанности, и это весьма способствовало ее развитию; так как чем преступление, так сказать, было коллективнее, тем более участники его были уверены в безнаказанности.

Эти вековые сомнения и колебания нравственных и юридических воззрений на вменяемость поступков, совершенных сообща целыми народными массами, будут вполне понятны для того, кто знает, какое большое участие принимает подражание в образовании нравственных понятий и привычек в общественной среде. Единственное вполне точное и ясное (я не говорю — возможное и самое лучшее) определение честности заключается в том, что честным будет тот, кто сообразуется с господствующими в данной стране и в данное время обычаями и взглядами, напротив, бесчестным — тот, кто не сообразуется с ними. Правда, человек, не соглашающийся в настоящем с обычными мнениями и считаемый за это злодеем, может в ближайшем будущем за то же самое прослыть апостолом или героем; но это — дело будущего. В настоящем же,

раз только он оскорбляет общественную совесть, как тотчас же подвергается ее осуждению.

Но если это так, если при переходе из одной среды в другую, от одной социальной группы к другой одно и то же действие перестает быть преступлением и становится подвигом или обратно, то как смотреть на грабежи, поджоги и убийства, как бы роковым образом совершаемые толпой, в которой каждый член возбуждается общим примером, подчиняется и следует общему мнению и, увлекаемый общим круговоротом этой маленькой тиранической группы, сразу как бы отрешается от всякого влияния остального общества, сделавшегося для него совершенно чужим? Нельзя ли сказать, что поступок каждого оправдывается участием всех, что всякая замкнутая группа стремится выработать свой собственный закон, свою собственную мораль, и что, следовательно, мысль о коллективной виновности всей этой группы заключает в себе противоречие? В самом деле, что такое так называемое национальное преступление, преступление, совершенное зараз всей нацией?

Это — или ничего не значащая фраза, или означает только то, что нация, подчиняясь новым увлечениям, оставляет обычаи предков, становится преступной в их глазах, но заслуживает похвалы в глазах современников.

Почему же то, что считается справедливым для большой нации, не будет таковым для маленького народа, сословия или племени, равно как и для толпы или тайного общества? По-видимому, преступления толпы, как и тайного общества, настолько же представляют спорный вопрос, как и преступления национальные.

Значение этого положения выступит с особенной ясностью, если принять во внимание ту подражательную связь, которая соединяет друг с другом не только членов одной и той же толпы или тайного общества, но также и сами эти агрегаты, последовательно развивающиеся одни по примеру других. При этом в значительной степени ослабляется различие между большими и малыми со-

циальными группами, обыкновенно противопоставляемыми одна другой: самая ничтожная из них, соединившись с себе подобными, может принять внушительные и даже грозные размеры. В XIV веке народные волнения во Франции явились как подражание английским, и по обе стороны пролива бунты следовали одни за другими прямо в силу подражательности: пример парижской буржуазии мало-помалу распространился на провинциальные города и деревни. То же самое наблюдается во время волнений XVI столетия, во время Фронды и в дни французской революции. Месяц спустя после 14 июля 1790 года, когда впервые якобинцы приобрели действительное значение в столице Франции, появилось уже до 60 подобных обществ с такой же целью, с подобным планом и даже одинаковым образом действий. Три месяца спустя, по словам Taine'a, их было уже 122, в марте 1791 года — 229, в августе 1791 — около 400; в конце сентября 1791 — 1000, в июне 1792 — 1200, а несколькими месяцами позднее, по утверждению Koderer'a, их было уже 2600. Отсюда следует то, что каждый член хотя бы слабейшего из этих клубов, член самой ничтожной из революционных групп, чувствовал себя увлекаемым могучим человеческим потоком, совершенно подавляющим его своей численностью.

Все вышеизложенное может служить убедительным доказательством крайней недостаточности понятия о добре и зле, основанного на мнении или воле одной какой-либо ограниченной общественной группы, на интересе одной какой-либо партии, или класса, или даже одного народа. Нужно подняться выше и, проводя последовательно присущее нам стремление к беспрерывному расширению общественного горизонта, а вместе с тем и социальной предусмотрительности, нужно расширить их до последних пределов человечества, как в пространстве, так и во времени, особенно в будущем.

Проникнутые глубоким чувством нашей братской солидарности как с умершими, так и живыми, и особенно умеющими жить в будущем, как с самым последним из ди-

карей, так и с отдаленнейшими из наших предков или потомков мы сочтем безнравственным всякое правило поведения, которое, не принимая во внимание ни нравственных понятий прошлого, ни отдаленных последствий наших поступков в будущем, освобождает нас от всяких обязанностей как по отношению к современным, но чуждым для нас общественным группам, так и по отношению к грядущим поколениям. Мы сочтем также преступным всякий поступок, который ради частных интересов и нескольких единомышленников, хотя бы они считались миллионами, поселяет тревогу и ужас в громадной общечеловеческой семье, волнует, например, всю Европу и при этом, так сказать, сознательно игнорирует эти обстоятельства.

Для нас несомненно, что в Африке и в Полинезии существовали и существуют еще в настоящее время преступные племена, что в классической древности также были преступные хищнические народы, и что, наконец, в наше время также встречаются преступные толпы и тайные общества, преступность которых по своей глубине далеко превосходит самые выдающиеся образчики преступности индивидуальной.

Fern в своем последнем сочинении замечает, что отличительная черта наименее опасных преступников, преступников по страсти или в силу обстоятельств, состоит в том, что они обыкновенно действуют изолированно, тогда как наиболее опасные преступники, преступники по привычке и по темпераменту, большей частью приобретают себе сообщников. Итак, прибавляет он, соучастие в преступлении само по себе должно считаться отягчающим вину обстоятельством. Это, конечно, справедливо, но, к несчастью, неприменимо целиком к преступным толпам, в которых напротив преступления порождаются страстью, и в которых обстоятельством, делающим большинство из соучастников преступниками, и является сам факт их скучивания. Но замечание Ferri вполне применимо к центральному ядру преступных скопищ, к этой гор-

сти сознательных преступников, которые других ведут к преступлению, а сами сблизились лишь вследствие взаимного сходства своей преступной натуры.

Таким образом, вопрос, в сущности, сводится к тому, чтобы провести ясную границу между вожаками и пассивными членами толпы (les meneurs et les menes). В теории провести это различие кажется трудным, но на практике это значительно легче. Естественно, что ответственность должна падать на первых, но и последних нельзя считать совершенно не подлежащими наказанию. Правда, может быть, что они поступали так не вполне свободно, а подчинились только влиянию неодолимой силы; но эта последняя и оказалась в отношении к ним неодолимой только потому, что они по природе были наклонны поддаться ей без сопротивления. Таким образом, причина их поступка лежит отчасти в них самих, отчасти — столько же или даже в большей степени — в другом или других. Здесь-то с особенной ясностью обнаруживается недостаточность схоластической теории, которая стремится обосновать ответственность на так называемой свободной воле. Кому может прийти в голову мысль о свободной воле толпы или даже тайного общества? Не очевидно ли, что автономия этих моральных организмов есть не что иное, как внутренняя необходимость (une fatalite interne)? Даже сами вожди не могут похвалиться этой свободой: их руководство часто является лишь замаскированным подчинением требованию обстоятельств, правда, созданных ими же самими. Таким образом, коллективная ответственность ни в каком случае не может быть пропорциональна коллективной свободе, на том простом основании, что такой свободы не существует. Но зато она должна строго соответствовать степени связности, органической стройности и единодушия или, говоря другими словами, степени коллективного сознания и тождества, обнаруживаемых толпой или тайным обществом в их действиях. Впрочем, как известно, преступные толпы, часто прямо безумные, не отличаются особенной логичностью своих действий.

Мне встретилась формулировка этих отношений, напоминающая своим изяществом математические формулы и потому охотно повторяемая многими авторами. В ней есть значительная доля правды, и потому она заслуживает рассмотрения. Утверждали, что коллективная ответственность находится в обратном отношении с ответственностью индивидуальной и вначале принимали это в том смысле, что чем ответственнее какая-либо толпа, тайное общество или другая социальная группа, тем более отдельный член ее становится не ответственным. Но что же такое, в сущности, толпа, секта или вообще какое-нибудь общество, если не агрегат индивидуумов? И что в конце концов может означать ответственность группы, если не ответственность всех ее членов безразлично, единственно в силу их соучастия в этой группе? Таким образом, различие между двумя видами ответственности, которые, как говорят, уравновешивают друг друга, в сущности, или ничего не означает, или значит только то, что каждый индивид в одно и то же время оказывается ответственным в двояком смысле: он ответствен за свои собственные поступки и в то же время отвечает за действия других людей, как за свои собственные, единственно в силу той солидарности, которая связывает всех соучастников в одно целое. И действительно, в принципе ничего нельзя иметь против того, что каждый индивид отвечает за последствия поступков, совершаемых лицами, с которыми он солидарен.

В самом деле социальным цементом является глубокое чувство солидарности, основанное на фикции, столь же необходимой, как и смелой, именно на предположении, что несправедливость (например, похищение собственности, нанесение ран и т.д.), причиненная одному из нас, оказывается несправедливостью по отношению ко всем остальным, и что ошибка, допущенная другими, является также и нашей ошибкой. Эта фикция, составляющая всю силу дисциплинированной армии и всякого благоустроенного общества, тем ближе к истине, чем более

напряженной является коллективная жизнь общественной группы. Следовательно, чем более толпа или тайное общество обнаруживают корпоративный дух, последовательность и стройность, чем более они проявляют единства, оригинальности и тождества, тем менее заслуживают уважения притязания отдельных членов, бывших солидарными в преступлении, уклониться от этой солидарности и в наказании. Все они без исключения должны считаться участниками в преступлении, совершенном хотя бы только некоторыми из них.

Однако никогда не следует забывать, что такое соучастие в преступлении другого лица носит отчасти фиктивный характер? и что коллективная ответственность, о которой идет речь, должна, кроме того, быть рассматриваема как целое, одна только часть которого тяготеет над головой каждого из соучастников. Напротив, при прежнем режиме, а нередко даже и в настоящее время на коллективную преступность смотрели и смотрят как на залог (l'hypotheque), который, по мнению юристов, во всем своем объеме лежит (greve) и на малейшей части заложенного имущества: est tota in toto et tota in qualibet parte.

По-видимому, благодаря этой точке зрения общественное негодование часто всей своей тяжестью обрушивается на трех-четырех бунтовщиков, которых только и арестуют из тысячи принимавших участие в бунте. Очевидно, что это слишком грубое воззрение должно быть оставлено; в противном случае формула относительно обратной пропорциональности между личной и коллективной ответственностью теряет всякое значение. Действительно, с одной стороны, индивид должен считаться менее ответственным за свои собственные поступки в силу своей принадлежности к целой преступной группе; а с другой стороны, он же оказывается и более ответственным как лицо, отвечающее за действия всей этой группы. Не явное ли это противоречие?

Поэтому вышеприведенную формулу нужно понимать в таком смысле: чем более та группа, часть которой он со-

ставляет, виновна в своей совокупности, тем менее виновен он в отдельности, так как на его долю приходится лишь небольшая часть общей виновности.

Но даже и в таком исправленном виде эта формула применима, и притом лишь крайне неопределенно, разве только к пассивным членам преступной группы; относительно же вожаков скорее применима формула как раз обратная. К первым она применима в силу того, что их индивидуальность тем более слабеет и даже вполне уничтожается, чем более крепнет, обособляется и централизуется организация толпы или тайного общества, этого бурного человеческого потока, увлекающего отдельных личностей. Эта увлекающая сила организованных групп в некоторых, правда, редких случаях может доходить до того, что личность человека изменяется самым коренным образом. Она выше силы гипнотического внушения, с которым ее сравнивали. Я не могу присоединиться к мнению Sighele, что, если даже и гипнотическим внушением нельзя превратить честного человека в убийцу, то тем труднее это сделать с помощью внушения в бодрственном состоянии (a Vetat de veille), с которым мы обыкновенно встречаемся в народных волнениях. Факты доказывают, что деморализующее действие мятежа или даже тайного заговора далеко превышает влияние какого-либо гипнотизера, и в этих случаях внушение играет значительно меньшую роль, чем принуждение, страх и нравственная трусость. Уж если где уместно говорить о смягчающих обстоятельствах, то именно в этом случае.

Что касается вожаков, то прежде всего заметим, что именно они освобождают ту гибельную силу, которая подобно страшному боа стягивает своими кольцами обезличенные и порабощенные человеческие личности. Своей душой они оживляют эту силу и по своему образу и подобию ее формируют. Вот почему их частная вина стоит скорее в прямом, чем в обратном отношении с общей виной? и за свои личные поступки они должны поплатить-

ся тем строже, чем тяжелее внушенные ими преступления других.

Таким образом, различие между двумя видами ответственности, как бы мелочно и искусственно оно ни казалось, не лишено, однако, практического значения. Его принимали инстинктивно во все времена и в самых различных смыслах. Если бы в отдельной личности, этом как бы случайном агрегате страстей и разнообразных, часто несвязных желаний, можно было с такой же легкостью, как и в толпе, этом случайном агрегате личностей, различать составляющие их элементы, то следовало бы и в первом случае отдельно рассматривать, с одной стороны, ответственность мозга в целом, а с другой — ответственность различных нервных центров, заведующих различными функциями. Эта мысль принадлежит Paulghan'у. Но возможно ли согласиться с мнением этого автора, что и здесь наблюдается также обратное отношение между двумя видами ответственности? Это мнение было бы справедливо только в том случае, если бы гармония целого покупалась ценой гармонии отдельных частей? и если бы центральное управление, так сказать, устанавливалось на счет местных автономий; но в действительности не наблюдается ли как раз обратное?

Значение коллективной ответственности в продолжение долгого времени постепенно умалялось, и прогресс уголовного права, по-видимому, состоял, в сущности, в индивидуализации как преступления, так и наказания. Но это только так казалось; в действительности же было лишь замещение древней формы коллективной ответственности новой формой такой же коллективной ответственности. Место ответственности наследственной и семейной заступает ответственность поистине социальная, при которой определяющим началом является сознательная воля. Было время, когда все родственники представляли как бы союз заговорщиков по рождению, подозрительных и враждебных по отношению к другим подобным союзам. Тогда можно было, не рискуя впасть в большую

ошибку, преступление одного из членов этого союза вменить в ответственность всем другим, так как все они более или менее способствовали этому преступлению. В настоящее время союз этот распался, и на его развалинах создались другие, причем с ростом свободной ассоциации все более и более растет сознание соучастия в частном преступлении и наказании всех без различия членов этих новых союзов.

Значительные затруднения представляет установление карательных и в особенности предупредительных мер по отношению к коллективным преступлениям. Что касается предупредительных мер, то самая лучшая полиция окажется бессильной в этом отношении, если не преследовать тех возмутительных злоупотреблений прессы, которые служат иногда прямыми побуждениями к пороку и преступлению. Что же касается карательных мер, то все будет бесполезно, пока будет существовать суд присяжных (la Jury). Его слабость в этом отношении и его малодушная наклонность оправдывать все, что носит хотя бы кажущийся политический характер, служили причиной, что часто коллективные преступления исключались из области его компетенции и передавались военному суду. Таким образом из одной крайности переходили в другую, и это всего лучше доказывает необходимость чисто уголовной магистратуры, составляемой из лиц, специально подготовляемых, которые бы вместе с желаемой компетентностью обладали и соответственными чертами характера.

Вопрос о том, нужно ли здесь наказание, разрешается сам собой. Странно было бы защищать мнимое бессилие уголовных наказаний именно в то время, когда анархические шайки начали совершать свои подвиги. Кому же придет в голову оспаривать пользу хорошей полиции и твердой судебной власти? Но какими принципами должны руководствоваться судьи? Здесь необходимо строго различать, с одной стороны, меры, принимаемые с целью прекращения коллективного преступления в момент

его совершения, и, с другой — те мероприятия, которые следуют уже за совершением этого преступления и имеют целью не допустить его повторения. В первом случае общество, защищаясь против толпы с помощью жандармов и солдат, напоминает человека, который, защищаясь от убийцы, может даже причинить смерть последнему. Но человек этот не обладает судебной властью. Подобным образом и общество защищается как может, не соразмеряя своих ударов и нанося их с лихвой: пули могут угодить как в вожаков, так и в пассивных членов толпы, как в наиболее виновных, так и в менее преступных, даже в простых зевак, случайно попавших в толпу. До некоторой степени к этой форме коллективной преступности можно приравнять тот случай, когда покушения, отделенные друг от друга известным промежутком времени, но связанные между собой единством происхождения из одного и того же адского замысла, представляют из себя грозный ряд готовых разразиться злодеяний и требуют энергического противодействия ввиду возрастания общественного страха.

Совсем другое дело, когда ряд этих злодеяний, по общему признанию, прекратился, и когда уже после этого перед судом представали виновники этих ужасов или кто-либо из них, выхваченный из среды своих соучастников. В этом случае уже нет надобности сыпать удар за ударом, нет надобности в свою защиту поражать направо и налево и, если даже общество требует отмщения, то нет уже надобности обращать на это особенное внимание. Однако наказание и в этом случае прежде всего должно быть примерным; не думайте, что известный индивид должен нести наказание соответственно той опасности, которую он представляет для общества: он лично может быть не страшен, но его безнаказанность может явиться источником новых опасностей. Для того же, чтобы наказание этого индивида могло послужить уроком как для него самого, так и для других, необходимо, чтобы вменяемые ему лично преступления, а равно и его соучастие в деяниях его

соумышленников были совершены при условиях, необходимых для нравственной ответственности, понимаемой в строго определенном смысле. Условия эти мною указаны, и к ним я не буду возвращаться. Иначе говоря, необходимо, чтобы этот индивид был виновен; потому что, я надеюсь, никто не станет оспаривать, что есть преступления, к которым идея виновности не приложима. Если, например, человек попадет в злодейскую шайку под влиянием припадка безумия, ясно выраженного бреда преследования или даже навязчивой идеи, если он находится в состоянии систематического помешательства, принимающего вид ничем не сдерживаемой отваги, то такой человек достоин сожаления, и его безнаказанность или полубезнаказанность не может служить поводом к подражанию. Но к этому влиянию безумия нельзя приравнивать иногда столь же неодолимое увлекающее действие, производимое на человека той шайкой, в которую он попал: он попал в нее по доброй воле, подобно тому, как некоторые произвольно опьяняют себя алкоголем. Таким образом, здесь он отчасти, если только не всецело, справедливо считается ответственным за свои поступки; и поскольку наказание признается справедливым, постольку же оно будет и полезным.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕСТУПНИК И ПРЕСТУПЛЕНИЕ

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ТОЛПЫ

Литературно-художественное издание

ЧЕЛОВЕК ПРЕСТУПНЫЙ. КЛАССИКА КРИМИНАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ

Габриэль Тард

ПРЕСТУПНИК И ТОЛПА

Редактор *В. Богданова*
Художественный редактор *Б. Протопопов*

ООО «Алгоритм»

Оптовая торговля:
ТД «Алгоритм» +7 (495) 617-0825, 617-0952
Сайт: http://www.algoritm-izdat.ru
Электронная почта: algoritm-kniga@mail.ru

Өндірген мемлекет: Ресей
Сертификация қарастырылмаған

Подписано в печать 17.10.2016.
Формат $84x108^{1}/_{32}$. Печать офсетная. Усл. печ. л. 22,68.
Тираж 1 500 экз. Заказ 7633

Отпечатано с электронных носителей издательства.
ОАО "Тверской полиграфический комбинат". 170024, г. Тверь, пр-т Ленина, 5.
Телефон: (4822) 44-52-03, 44-50-34, Телефон/факс: (4822)44-42-15
Home page - www.tverpk.ru Электронная почта (E-mail) - sales@tverpk.ru

ISBN 978-5-906880-43-7

9 785906 880437 >

Криминологические труды выдающегося французского психолога и социолога Габриэля Тарда (1843–1904) во многом определили развитие юридической психологии в XX веке.

В сборник включены самые известные работы ученого: «Преступник и преступление», «Сравнительная преступность», «Преступная толпа».

Как устроен мозг злодея? Как влияет на его поведение окружающая действительность? Как люди реагируют на происходящее на их глазах злодеяние? На какие преступления никогда не пойдет один человек, но с легкостью согласится толпа? Тард дает исчерпывающие ответы на эти вопросы.

ISBN 978-5-906880-43-7
9 785906 880437 >